

Е. ТЕОДОР БИРМАН

ПРОТОКОЛЫ С ПРЕТЕНЗИЕЙ

(Роман “Минестроне”)

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА | 3 |
| Я. ВСТАЛ С ПОСТЕЛИ | 4 |
| N++; ОБ АФРО-ЕВРЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ..... | 6 |
| НЕБОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ..... | 9 |
| ПОДОЗРЕНИЯ БАРОНЕССЫ..... | 10 |
| N++; СОСТОЯВШЕЕСЯ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ЭЛЬФРИДЕ ЕЛИНЕК | 10 |
| ОТСТУПЛЕНИЕ. СОН Я. | 11 |
| БАРОНЕССА, ФЕМИНИЗМ И ЖЕНЩИНЫ..... | 12 |
| И РЕЗЮМЕ БАРОНЕССЫ | 13 |
| А. | 13 |
| ПРОЗА И КАЛЬСОНЫ | 13 |
| Б. | 14 |
| N++; О ЛИБЕРАЛЬНЫХ ПРОФЕССОРАХ И ОСТРОВЕ ПИНГВИНОВ | 17 |
| В. | 18 |
| ВСЯ ПРАВДА О БЕСПОРЯДКАХ В ПАРИЖЕ..... | 19 |
| N++; РАЗУМ И СТРАСТЬ..... | 21 |
| О ПРЕОДОЛЕНИИ ЛЕГКОГО ГРИППА | 22 |
| СЛУЧАЙ С А. | 23 |
| N++; О ПРАВОСУДИИ..... | 24 |
| О ЛЮБВИ..... | 26 |
| N++; WHITE ANGLO-SAXON PROTESTANT (WASP) | 28 |
| РУССКИЙ WASP ИЗ РОДА В. | 29 |
| МИРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В. ПЛАН ПЕРВЫЙ – ПРОЧНОСТЬ ТРЕУГОЛЬНИКА..... | 30 |
| НАСЛЕДСТВО Я. | 31 |
| ШХУНА ЛЮДЕЙ..... | 31 |
| N++; О БОЛЬШОЙ БОМБЕ..... | 32 |
| N++; ШПИНАТ, КОЛБАСА, ХОЛОКОСТ..... | 32 |
| N++; О РЕКЕ ДОН И КАЗАЧЬИХ ДЕВАХ..... | 33 |
| Я. | 35 |
| N++; О ВОДКЕ И ВИСКИ..... | 36 |
| ЕЩЕ О ЛЮБВИ, ЕДЕ И ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ТОВАРАХ | 37 |
| N++; НЕ ВЕРЬТЕ КРЕЩЕНЫМ ХАЗАНАМ | 38 |
| ПРОЩАНИЕ С ВЕНИЧКОЙ..... | 41 |
| ОТЪЕЗД – ПРИЕЗД | 42 |
| N++; ГРАЖДАНЕ МИРА | 47 |
| СОБЛАЗН АМУНДСЕНА..... | 48 |
| N++; О НАЦИОНАЛИЗМЕ | 50 |
| РОДОСЛОВНАЯ ЕЛКИ | 51 |

| | |
|--|-----|
| НЕОЖИДАННОСТЬ..... | 52 |
| СИОНО-СИОНИСТ Б. | 52 |
| N++; О МЕСТЕ ЕВРЕЕВ В МИРЕ..... | 55 |
| N++; АРИСТОКРАТИЗМ И ХОЛОПСТВО..... | 58 |
| ДЕНЬ ГОВНОЧИСТА..... | 62 |
| УДЕРЖАТЬСЯ..... | 62 |
| ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ..... | 63 |
| N++; О СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ..... | 65 |
| ВРАСТАНИЕ В ПОЧВУ..... | 66 |
| ОХОТА НА ЗОЛОТОЕ ПЕРО..... | 68 |
| ПОСТРОИТЬ ДОМ, ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО..... | 69 |
| ВОЙНА И МИР I..... | 70 |
| ПОДЪЕМ..... | 72 |
| ПОЕЗДКИ НА ЮГ. МАСАДА И ГЕРЦЛИЯ-ФЛАВИЯ..... | 74 |
| ВОЙНА И МИР II..... | 77 |
| БАРОНЕССА И СИНДРОМ МОИСЕЯ..... | 79 |
| N++; ДЕЛО О СОЛДАТЕ И ЕГО УБИЙЦЕ..... | 80 |
| НЕПРИГОТОВЛЕННЫЙ КОФЕ..... | 80 |
| ПИСЬМО ХОРОШЕМУ СОСЕДУ..... | 81 |
| ВОЙНА И МИР III..... | 82 |
| СОН ЕВРЕЙСКОЙ СОБАКИ..... | 83 |
| N++; ЗЛАЯ ЕВРОПА..... | 84 |
| ОТСТУПЛЕНИЕ..... | 87 |
| N++; ДВА ПОДХОДА..... | 87 |
| НА НАБЕРЕЖНОЙ..... | 87 |
| ВОЙНА И МИР IV..... | 89 |
| “РУССКАЯ ВОЛНА” И БЛИЖНИЙ ВОСТОК..... | 90 |
| ЗАГАДКИ НОЧИ..... | 91 |
| НОВЫЕ ПОДРУЖКИ В. И СТАРЫЕ АНЕКДОТЫ В КНЕССЕТЕ..... | 92 |
| И СНОВА ВЫБОРЫ В ЕВРЕЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ..... | 95 |
| О ВОЙНЕ. БАНАЛЬНОСТИ. ПРОСТОТА СПАСЕТ МИР..... | 96 |
| РЕЧЬ ЛОРДА ЧЕМБЕРЛЕНА В РЕСТОРАНЕ СТАНЦИИ ПЕТУШКИ..... | 97 |
| ДВА ПОРТРЕТА ИЗ ГАЛЕРЕИ ПРЕКРАСНОДУШИЯ..... | 98 |
| ФОБИИ Я..... | 99 |
| N++; О СЕГРЕГАЦИИ И КОЛОНИАЛИЗМЕ НА ДОМУ..... | 99 |
| ПРОТОКОЛЫ ОСТРОВНЫХ МУДРЕЦОВ..... | 102 |
| ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ (НЕУДАВШЕЕСЯ)..... | 104 |
| ВСЕ – В СТАРТАП!..... | 104 |
| N++; СТАРТАПЫ. РАЗБОР ПОЛЕТОВ..... | 107 |
| N++; О ПРОГРЕССЕ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ..... | 107 |
| БЕСЕДА С В.В. | 108 |
| ЗАГОВОР..... | 110 |
| ВТОРЖЕНИЕ..... | 111 |
| ВОЗВРАЩЕНИЕ..... | 117 |
| О РАЗРУШЕНИИ ПОД ЗВУКИ ВАЛЬСА..... | 120 |
| ФИЛОСОФИЯ ИСПЫТАНИЙ..... | 121 |
| СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ..... | 121 |
| ВЕРНУТЬ РЕБЕНКА..... | 122 |
| ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ..... | 124 |
| ЕДИНОБОРСТВО В ЛИНЦЕ..... | 126 |

| | |
|--|-----|
| ДОМА..... | 127 |
| N++; О ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИИ КУЛЬТУР | 129 |
| ЗА СОБАЧЬИМ ДЕРЬМОМ..... | 130 |
| КОКТЕЙЛЬ Е.Е. | 134 |
| ДО ДНА ТОЛЕРАНТНОСТИ..... | 134 |
| ЧЕРТ ПОБЕРИ! ОПЯТЬ СНЫ..... | 135 |
| ПИСЬМО Б. | 135 |
| МИРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В. ПЛАН ВТОРОЙ – ДУБИНА НАРОДНОЙ ВОЙНЫ | 136 |
| МИРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В. ПЛАН ТРЕТИЙ – ДВА БЕРЕГА ТЕМЗЫ..... | 138 |
| О ПОЛЬЗЕ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ | 139 |
| ОДА ТЕЛЕВИЗОРУ..... | 140 |
| ТЕЛЕВИЗОР И ЧТЕНИЕ | 142 |
| N++; ПРЕССА ПОД ОГНЕМ КРИТИКИ..... | 142 |
| О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ | 143 |
| N++; О ДЕНЬГАХ. СТОЛКНОВЕНИЕ ПОДХОДОВ | 145 |
| N++; ОПАСЕНИЯ ЗА АМЕРИКУ | 146 |
| АСПЕКТЫ ЗРЕЛОЙ ЛЮБВИ..... | 146 |
| СЕКС, РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД..... | 147 |
| КУПАНИЕ В ГЕНИСАРЕТСКОМ ОЗЕРЕ..... | 148 |
| ПРОШЛОЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРЕЙСКОГО КАННИБАЛИЗМА..... | 150 |
| ПОРТРЕТ ВЕЛИКОЙ ВОЛНЫ | 151 |
| N++; ЩЕКОТЛИВАЯ ТЕМА И НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ | 152 |
| МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ | 153 |
| N++; О ГЛАВЕ “МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ” | 154 |
| N++; СЕСТРЫ, ЕВРОПА, ВОСТОК..... | 155 |
| МЫСЛИ О ТОМ, КАК НЕСХОЖИ ГОСПОЖА Е. С ГОСПОДИНОМ Е. | 156 |
| N++; ОТ СОЦИАЛИЗМА К МНОГОКУЛЬТУРНОМУ ОБЩЕСТВУ | 158 |
| N++; ЭСТЕТИКА БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО КОНФЛИКТА | 159 |
| ירושלים (ИЕРУСАЛИМ)..... | 160 |
| ЭПИЗОД С МУРАВЬЕМ..... | 162 |
| ВОПРОС БАРОНЕССЫ..... | 162 |
| N++; О РЕЛИГИИ..... | 163 |
| ПРОСТО СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕР | 164 |

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Однажды решив написать книгу, будущий автор взял псевдоним, заговорил о себе в третьем лице и рассудил, что новое для себя дело должен начать с учебы. Будучи человеком обстоятельным, он решил нанять двух учителей и – во исполнение задуманного – купил две книги, для чего вытащил из кошелька в книжном магазине розовую купюру, положил сдачу в карман и вышел из тумана книжных соблазнов на улицу Алленби. И, как всегда, когда он оказывался на этой улице пятничным утром, среди суеты и солнечных пятен, после очков на носу и книжной тесноты на полках, жизнь показалась ему протяженной, деревья зелеными, женщины приятно взволнованными. А его самого ждало приключение совершенно нового свойства – черпнуть движения из скользящего перед ним и вокруг него потока, упрятать его в пузырек из-под пенициллина величиной в две фаланги среднего пальца с мягкой серой резиновой пробкой, чтобы кто-то, когда-то, вооружившись шприцем с длинной иглой, мог извлечь из него пробу утекшего времени.

И все время, пока будущий автор воображал себя писателем, то есть бросался к тетради в клеточку, морил себя голодом по утрам, чтобы не усыпить нервного возбуждения, две эти книги – “Пианистка” Елинек и “Москва – Петушки” Ерофеева –

лежали на прикроватной тумбочке поверх Священного Писания. И если читатель заключит из этого, что стиль ценится автором выше святости, то последний станет возражать, утверждая, что святости и упомянутым книгам не занимать, что же касается стиля... но нет, пуще запаха вареной курицы не переносит он панегириков Вечной Книге. С купленной же парой книг автор поступал безобразно: как воришка в супермаркете, набивал он свои карманы фразами из них, ловчил – как бы ему унести все, отчаивался, садился в тоске на каменный пол, задумывался... И подобно многим неопитам, проникся в конечном итоге верой в безупречность своих наставников, поверил, что из причудливой оболочки безумных книг, как орхидея, растет цветок человеческой нежности. Поверил, что юные романтические души 21-го, а может быть, и последующих веков будут воспитаны в том числе и на этих странных книгах. Примечтался ему даже некий изобретательный книготорговец, которому придет в голову мысль подложить его книгу в нагрузку к этим двум в подарочный набор “Библиотеки для юношества” и перевязать их ленточкой – розовой для девочек, голубой для мальчиков.

Еще. Автор “Войны и мира”, граф Толстой, насколько известно, никогда не извинялся перед французским читателем за откровенно франкофобский характер своей книги, как не извинялся перед читателем русским за то, что часть и без того некороткого романа заставил его читать дважды – вначале по-французски в тексте, а затем по-русски в сносках. Мы же считаем для себя просто необходимым заранее принести извинения за своих героев, нередко проявляющих полное пренебрежение элементарными правилами политкорректности, когда речь идет о стране обожаемого автором флопера. В принципе же автор этой книги – заодно с ранее упомянутыми, самовольно выбранными им в наставники авторами (в дальнейшем нередко обозначаемыми как “госпожа Е.” и “господин Е.”) – выступает решительно за отделение литературы от политкорректности. В противном случае электростанции Еврейского Государства могли бы работать бесперебойно на книжном топливе из произведений классиков всех времен, племен и континентов, никогда не обходивших народ еврейский своим высокочтимым вниманием. Извинить своих героев, которые возмутительной несдержанностью в провозглашаемых ими тезисах по щекотливым вопросам нередко вызвали гнев автора, помогает последнему лишь вера в искренность своих персонажей, которые, как многие их соплеменники, склонны говорить и думать концепциями и тезисами. Перед ними, соплеменниками своими, автор не извиняется, к критике их относится настороженно. Он подозревает, что перед ними, может быть, вообще не следует никогда извиняться. От этого они могут разобидеться еще больше, а то и вовсе сесть на голову. Не всегда и не всюду приглашаемые участвовать в прениях, они все равно выскажутся без всякого к тому поощрения. Впрочем, и автор тоже хорош: в зрелом возрасте взялся писать книгу и кто его знает, не собственные ли тезисы оформил в виде чужих протоколов. И уж точно, решительно ни один человек во всем мире не просил его этого делать.

Чтобы совсем покончить с извинениями и неизвинениями, скажем заранее, что часть книги написана на компьютерном языке Си и никаких поясняющих сносок по этому поводу не содержит.

“И что это у вас там за претензия? Какая еще претензия? На что? На ваше умение пережеголять во франкофобии самого графа Толстого, что ли? Или это претензия, предъявляемая вами кому-то?” – спросят у автора. На что он предпочтет не ответить или, точнее, многозначительно промолчать, ведь умный и доброжелательный читатель найдет в его книге гораздо больше всяческой претенциозности, чем ею сознательно нашипиговал свое сочинение старательный автор.

“А почему “Минестроне”? Не означает ли это, что автор напичкал свой литературный суп всем, что оказалось у него под рукой?” Может быть. Почему бы и нет? Разве то, что находится под рукой, не лучший материал для романа?

Я. ВСТАЛ С ПОСТЕЛИ

Я. встал с постели. Было обыкновенное утро. Увидев в зеркалах полураспахнутых створок шкафа два своих отражения в полный рост, он привлек к себе жену и, указывая на правое отражение, уверенно сказал:
– Этот выше.

Сегодня пятница, и значит, сегодня состоится очередное заседание Кнессета Зеленого Дивана. В Кнессете за стеклянным столиком, располагаясь обычно на зеленом диване, заседают пятеро – Я., его жена Баронесса и трое друзей семьи – А., Б. и В. (мужчины).

Когда Я. впервые в шутку назвал жену Баронессой, ее светло-серые глаза взглянули на него с удивлением. Он не стал объяснять, а она ни о чем не спросила. Он привык к пониманию и сейчас краем глаза следил за ней. Вот она, как всегда быстро, схватывает нить его мысли. Еще несколько секунд – и она, нигде не задерживаясь надолго, пройдет по лабиринтам ассоциаций к неожиданному слову.

Старые страхи порой навещают Я., вдруг однажды она не захочет идти по тропам, которые он прокладывает. Для себя, для нее. Раньше он боялся, что любопытство и расположение ко всем без разбора подведут ее. Он упрекал ее в замедленной реакции. Хотя бы часть болванов, которых приходится отваживать ему, она могла бы вовремя отдалять сама, соорудив строгую физиономию хотя бы одной-двумя минутами раньше, а не когда эти ослы начинают чувствовать себя обнадеженными, говорил он.

А если болван окажется вовсе не болваном? Если сумеет заинтриговать ее чем-то? К черту – их семейная катастрофа растает где-нибудь по дороге. И еще он полагается на испытанную профилактику, – потенциальная угроза заранее вымочена им в притворно невинных замечаниях и насмешках.

В первый раз это был почти экспромт. Они были совсем-совсем молоды. Подошедшему к их столику в ресторане с явным намерением пригласить ее на танец молодому человеку, манжеты рубашки которого, как показалось тогда Я., слишком выступали из коротковатых рукавов пиджака, он поднялся навстречу с радостной готовностью.

– Меня? – спросил он. Она приснула от смеха, молодой человек ушел. Я. проводил взглядом его манжеты.

– “Рискованно”, – подумал он.

Шутка была из старого фильма, о чем он ей вскоре сказал – не хватало ему быть пойманным на плагиате. Нет, этот фильм она не видела. Признание не уменьшило эффекта, он был ее героем в этот вечер. Вывода он сделал два: во-первых, он и сам может придумывать такие выпады, во-вторых, делать это нужно с упреждением.

Он знает, она все еще приветствует эту игру, но не стоит терять осторожность. Если ты женат на пуме, ты должен быть всегда начеку.

В период его молодости, в атмосфере доступными акварелями раскрашенного аскетизма Большевицкой Империи, фильмы и книги расплывали туманы непредсказуемо-трагических женских характеров. И юный Я., отдавая дань моде и времени, тоже самоотверженно рвался к блужданию в тумане женской загадочности и экзотичности. Его мать осторожно назвала эти кинематографические и книжные существа и их более скромные живые воплощения “сложными девушками”. Полное отсутствие у его жены даже следов этих удивительных, дурманящих воображение качеств сначала несколько разочаровывало Я. Значительно позже, поняв чем обладает и как неожиданно легко ему досталась эта добыча, он решил сохранить свое открытие в тайне.

– О чем это вы рассуждаете без меня? – слышится сверху голос Баронессы. Она спускается по лестнице. Три пары глаз следят за ее появлением. Сначала показываются недлинные, но прямые ноги в шортах, затем верхний пролет лестницы прекращает скрывать легкий задик в профиль. Баронесса не терпит, чтобы холмики ее груди прыгали при ходьбе, тем более – вразнобой. Для этого приняты меры. Какие? Интерес Я. к секретам женской подтянутости своей жены никогда не ослабевал в нем. Его механистические догадки отменяются ею с необидной снисходительностью. Эти проблемы вызывают любопытство не только у него, замечает Я. Но когда в поле зрения светло-серых глаз жены попадают гости, последние будто поправляют галстуки, которых на них нет. Готовность к деловому разговору отражается на их лицах.

Выход Баронессы состоялся. Я. гасит улыбку, поворачивается лицом к присутствующим. Владельцы зеленого дивана принимают своих друзей, членов салонного Кнессета. Время – 17:17, вместо 17:00 намеченных, место действия – Еврейское Государство.

В этом государстве можно пропустить землетрясение, но никак не новости. Телевизионный иврит всем хорошо знаком. Однако для удобства членов Кнессета, прибывших в страну в зрелом возрасте, заседания проводятся на русском языке. Собственно, – альтернатива никогда не обсуждалась.

Кнессет не сразу осознал свою миссию, не сразу начал оформлять протоколы своих заседаний, присваивать им номера, резервировать в Сети. Рожденный в 21-м веке ребенок выплюнет соску, чтобы объяснить вам, что приращение счетчика на одну единицу может быть записано на языке Си, например, так: N++; Значит, если предположить, что до начала оформления протоколов было проведено N заседаний, то следующее заседание можно было бы озаглавить следующим образом:

N++; ОБ АФРО-ЕВРЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

– Ну, вот не преклоняюсь я перед Нельсоном Манделой, – говорит Я. – Конечно, освобождение одного народа от подчинения другому – дело, заслуживающее уважения. Но мне этого мало, – Я., не отличающийся высоким ростом, благодаря этим словам начинает будто возвышаться над Кнессетом. – А ты вот попробуй сделать свой народ... – паузой он обозначает важность того, что предполагает высказать, – красивым!

Теперь Я., кажется, и вовсе воспарил. “Продолжает полнеть”, – отметила про себя Баронесса.

– Подробнее, – попросил А.

Заинтересованность можно было прочесть и на лицах других присутствующих членов Кнессета, а присутствовали сегодня все.

– Пожалуйста, – от провозглашенного тезиса Я. переходит к аргументации. – Тому есть исторические примеры. В середине девятнадцатого века на русском военном фрегате “Паллада” прибывает к берегам Японии писатель Гончаров.

– Это тот Гончаров, который написал “Обломова”? – уточняет Баронесса.

– Да, тот самый, – отвечает Я. – Он всласть насмехается над затхлым азиатским раем, где живут в бумажных домиках и на угощение подают рис с теплой водой. Но вот японское болото оживает, и уже через пятьдесят лет его новенькие, с иголки военные корабли разбивают флот Российской Империи.

Было бы, разумеется, глупо заподозрить членов Кнессета в сочувствии японскому милитаризму. Но и к территориальным аппетитам Российской Империи они тоже равнодушны. Каковы были мотивы Трумпельдора (в будущем – одного из первых героев Еврейского Государства), толкнувшие его пойти добровольцем на русско-японскую войну, где он стал одним из ее героев, заслужил Георгиевский крест и потерял руку? Возможно, это были вовсе и не мотивы, а гордыня, толчок в спину нематериальной, невидимой, выбивающей из потока, не искалеченной войною руки. Толчок, которого вы до этого, кажется, только и ждали. Позже он отбыл строить Еврейское Государство.

– “Одной рукой, – заметил однажды по этому поводу Б., – и с тех пор это стало традицией”.

А Трумпельдор, отдавший за Российскую Империю только одну руку, за будущее Еврейское Государство отдал саму жизнь в стычке с Соседями. Так и сказал, умирая: “Хорошо умереть за родину”. Это было бы черт знает что, а не Еврейское Государство, если бы не нашлись скептики, утверждавшие, что штабс-капитан, георгиевский кавалер Трумпельдор перед смертью нещадно материл Соседей по-русски. А может быть, правда и то и другое, ведь от пули, попавшей в живот, не умирают мгновенно.

Груз ответственности за отношения Еврейского Государства с Российской Империей члены Кнессета постоянно ощущают на своих плечах.

– Певцам и поэтам России, – заявляет Я., – случалось куражиться, объявляя себя полуевропейцами-полуазиатами. А жители Еврейского Государства и без всякого куража – полуамериканцы-полуазиаты. И ничто так не укрепляет доверия друг к другу людей и народов, как глубокое осознание разделяемых ими культурных ценностей. И значит, можно уверенно заявить: есть у нас общее – наша полуазиатская сущность.

– Не только, – подхватывает Б. – Я недавно прочел, что один раввин (бывший преподаватель научного коммунизма в Советской Империи), верный Завету в его неинтерпретированном изложении, провозгласил: “Еврейская Империя от Нила до Евфрата, и никаких компромиссов”. Значит, нас объединяет стремление к имперскому будущему. Союз двух великих империй – такова прочная основа для долгосрочных добрых отношений между нашими странами.

– Не выпуская из виду Африки, вернемся к Японии, – продолжил Я. – Мало ей было воевать с Российской Империей, – через три с лишним десятилетия она затеяла войну с Америкой. Чем эта авантюра закончилась – всем известно. Но Япония опять поднялись, да еще как. И кто теперь скажет, что японцы как народ некрасивы?

– Успешные всегда красивы, это банальность, – соглашаются члены Кнессета.

– Три года назад я съездил, как вам известно, в Америку, – продолжает свою мысль Я. – Знаете, мне ужасно понравилась там афро-американцы. Своей открытостью, очевидной добротой, безалаберностью и даже, кажется, инфантильностью. Они показались мне точь-в-точь такими, какими их описал Фолкнер. Особенно симпатичны мне они были в Мемфисе, штат Теннесси. Две афро-американки – портье в гостинице “Best Western” около автобусной станции отговорили меня купаться в Миссисипи. Причин не объяснили, просто отсоветовали, и все, а мне хотелось. До сих пор не знаю в точности, почему мне нельзя было

купаться в Миссисипи, но предполагаю – отговорили они меня из лучших побуждений, а не объяснили почему – из патриотических. В самой автобусной станции афро-американка, продававшая билеты на автобусы, ни на одну клавишу компьютерной клавиатуры не нажимала, не сделав двух-трех танцевальных движений, причем пританцовывала она с совершенно серьезным и даже мрачноватым выражением лица. Когда я вышел из гостиницы и раскрыл карту, ко мне тут же подошел худощавый афро-американец и предложил помощь. Для этого ему пришлось спуститься с невысокой бетонной стенки-ограждения, на которой он сидел до этого, но ради меня он спустился. Он водил меня по улицам Мемфиса и рассказывал об Элвисе Пресли, он показал мне улицу, где вечером очень весело, где все поют и вспоминают Элвиса. Я спросил его, нет ли здесь чего-нибудь связанного с Фолкнером. Он ответил, что ему, безусловно, знакомо это имя, но на той улице, где поют, ничего такого нет. Он спросил у меня, сколько времени я в Америке. “Три недели”, – сказал я. “Для трех недель у тебя неплохой английский, – похвалил он меня и добавил: – Разборчивый (distinct)”. Я тогда этого слова не знал, но понял, что он хочет сказать мне что-то приятное. Он сказал, что сейчас без работы, вообще-то он очень любит работать, он хочет работать, очень хочет. Но не на любой работе, не каждая работа ему подходит, объяснил он и обезоруживающе улыбнулся. Эта работа должна быть... “Ну, в общем, – работа!” – сказал он. Он объяснил мне свое материальное положение. Средств, которые выделяет муниципалитет, хватает на оплату только трех дней ночлега. Не помогу ли я ему оплатить четвертый день? Я дал ему два доллара. Не знаю, хватило ли ему этого на четвертый день. Он был удивлен, но претензий не высказал. Мы расстались почти друзьями.

Если у вас закончатся чистые вещи в Мемфисе, могу порекомендовать вам прачечную, – продолжил я. – От автобусной станции идите прямо. Слева останется домик-студия, где Элвис Пресли записывал свои первые песни, небольшой парк с белками (не думаю, что вы застанете там маленькую девочку, которая гонялась за одной такой белкой с криками “Squirrel! Squirrel!”, когда я заглянул туда). С правой стороны вскоре будет прачечная. Так вот в этой прачечной работала афро-американка. Прелесть, как она работала, она всем улыбалась, перебежала от одного клиента к другому с объяснениями, развлекала детей тех, кто пришел в прачечную с потомством, пока их родитель возился с бельем. Она помогла мне опустить монету в автомат и выбрала для меня подходящий порошок. Когда я закончил и расплатился, мне очень хотелось оставить ей чаевые, но я не знал, сколько полагается, боялся нарушить местные стандарты и не дал ничего.

Я был в Америке в девяти городах, и везде бездомные афро-американцы выказывали мне неизменное дружелюбие, подходили знакомиться. Всегда вежливо, всегда – по-дружески. Был один случай в Вашингтоне, когда я не откликнулся на просьбу о финансовой помощи и на меня зло посмотрели, но это был не афро-американец. Это был колумбиец или венесуэлец. Я ведь не отличаю колумбийцев от венесуэльцев. Кроме Габриеля Маркеса и Уго Чавеса, я никого опознать не сумел бы.

В общем, за исключением пятна на совести, которое осталось от не выделенных мною чаевых в прачечной, – общение с афро-американцами оставило у меня самые приятные воспоминания, развило во мне чувство личной симпатии к ним, и впоследствии я много размышлял о том, что еще я мог бы сделать (не для афро-американцев, им я уже помог) – для настоящих африканцев. Мировая религия добрых намерений, потеряв сначала интерес к Богу после того, как все ведьмы были сожжены, позже утратив надежду на социальную справедливость после впечатляющего по своим масштабам коммунистического эксперимента, по закону сохранения фанатизма в обществе устремилась на создание многокультурного общества в Америке и Европе, совершенно забросив Африку.

– Да! Они наплевали на Африку! – воскликнул разгоряченный собственным красноречием я. Б., проследив за направлением его обвиняющего перста, решил, что он упирается в город Париж.

– Они, но не я, – продолжил я. с воодушевлением. – И вот к чему я пришел. Я пришел к идее АФРОСИОНИЗМА.

– Афросионизм – это любопытно, – заинтересовались члены Кнессета Сионизма Российского. – Значит, ты – пророк возрождения африканской нации, которая, как известно, является колыбелью человечества.

– Я. Теодор Герцль, – провозгласил Б.

– Если захотите, это не будет сказкой, – гордо выпрямился я. – Лично я верю в возрождение Черного континента. И у меня даже есть конкретный план.

– И в чем же он состоит? – осторожно спрашивает Баронесса, понимая, что не существует планов, не требующих расходов.

– Проблема, как всегда, в материальных средствах, – оправдывает я. ее опасения, – я предлагаю для этой благородной цели интернационализировать под

эгидой Организации Объединенных Наций все нефтяные запасы Ближнего Востока, а деньги от продажи нефти потратить на образование детей в Африке.

Идея встречается бурным восторгом в Кнессете Благородного Призыва. Кнессет тут же принимает резолюцию об увековечении памяти Я. Теодора Герцля Африканского.

– Это должна быть конная статуя – Я. Теодор Герцль Африканский на чистокровном арабском жеребце, – предлагает Б.

У самого Б. меньше возрастных накоплений в весе, чем у Я., и у него правильнее черты лица. Он лучше смотрелся бы на арабском жеребце. Но он не был ни в Америке, ни в Африке, и не его посетила идея афросионизма.

– А лошадь орловской породы не подойдет? – пытается сэкономить Баронесса.

Члены Кнессета Щедрого Созыва хватаются за голову.

– Ты разрушаешь пафос становления новой нации, – шумят они.

– Ладно, ладно, – отбивается Баронесса, морща нос.

– А где установим статую? – спрашивает склонный к определенности А.

Сухощавый А. легко ассоциируется с определенностью, хотя внимательный человек довольно скоро почувствует в этой его определенности некоторую ломкость. Впрочем, разговорить его не так просто. Он предпочитает внимательно и серьезно смотреть в глаза собеседника и слушать. И хоть он значительно выше всех остальных членов Кнессета Зеленого Дивана, очень худ и совершенно плосок, эта особенность придает ему нечто женственное. Кроме того, из всех мужчин – он единственный, на чьей коротко стриженной голове генетика не образовала даже малого полуостровка лысины.

– Конечно, в Уганде, – без раздумья отвечает Кнессет, – на несостоявшейся родине сионизма.

– Господа, я думаю, у меня есть и кандидатура, подходящая для реализации плана, – сообщает Я.

– И кто же это? – интересуется А., принявший близко к сердцу дела африканского континента.

– Отгадывайте, – предложил Я. – Личность, связанная отдаленными корнями с Африкой и владеющая русским языком.

– Пушкин! – объявил В.

Он тоже, как и А., обычно краток.

– Пушкин вознес Россию, а Европа его погубила, – Б. забрасывает эту несерьезную реплику, лишь бышний раз уязвить Европу, к которой у него накопилась масса претензий. У него, помимо претензий к Европе, очень живые глаза. Он явно не из тех, кто станет тщательно взвешивать формулировки и продумывать законченные фразы. Ему проще позже поправиться, если только вожжа не попадет ему под хвост и он не станет отстаивать безнадежную позицию, чем Я., его вечный оппонент, может воспользоваться, а может и нет – под настроение.

– Тепло, – сказал Я., – вы на правильном направлении. Этот пример лишний раз показывает, насколько африканское происхождение и владение русским языком могут оказаться полезными для великих свершений. Но для Африки и этого мало. Эта личность должна быть женщиной. Ведь где находятся самые счастливые страны мира? В Скандинавии. А почему? Да потому, что половина власти там принадлежит женщинам. А вторая половина все еще принадлежит мужчинам и склоняет их к суициду. В Африке, колыбели человечества, прежде всего, должен быть установлен самый разумный и справедливый строй в мире – матриархат. Оттуда он распространится на весь мир, как когда-то оттуда расплодилось человечество.

– Кондолиза, – озарило В.

Он единственный, на чьем теле можно разглядеть бицепсы, когда он надевает рубашку с короткими рукавами летом. Но и у него мускулатура выглядит несколько размытой не столько инженерной малоподвижностью, сколько отсутствием педантичности и недостатком постоянства в характере.

– Точно, – подтвердил Я., – с Америкой каждый управится. А вот Африку я бы отдал на воспитание именно этой женщине. А то она все возится с Востоком, а это совершенно бесперспективное место. На Востоке царит патриархат самого грубого свойства, нет никаких надежд изменить положение, а неравенство полов – просто свинское. Если Восток так любит справедливость, как он нам об этом твердит, и так последователен в ее достижении, как он нам это всякий раз доказывает, неплохо было бы ему проявить справедливость и последовательность хотя бы в вопросах одежды. Во-первых, даже самая радикальная из принятых на Востоке женских одежд, не скрывает полностью женские формы, а современная технология материалов вполне позволяет одеть женщину в коробку или две (одну для туловища, другую для головы). А во-вторых, мужчины Востока, как правило, так импозантны, что следовало бы и их во имя справедливости и чтобы не соблазнять женщин, упаковать в коробки или, лучше, в ящики, но только другой формы (например, со скошенными углами).

– Бог с тобой, – возразил В., – ты подумал о том, сколько взрывчатки можно спрятать в такой одежде?

– А Нельсон Мандела, между прочим, в детстве свиней воровал, – вспомнил А., видимо, оттолкнувшись от слова “свинское”, – он об этом сам рассказал.

– Вот, а Кондолиза в детстве играла на пианино, – заметил Я.

– Кондолизе, если она справится с задачей, тоже поставим памятник в Уганде, – предлагает справедливый В., – только не на коне, а сидящей за пианино.

– Кондолиза, играющая на “Стейнвее”, – соглашается Б., который умеет отличать домашнее пианино от концертного рояля, но предпочитает не мелочиться.

Я. с мольбой смотрит на Баронессу. Он надеется, что она не попытается по случаю сбыть свое собственное пианино Черниговской фабрики музыкальных инструментов, на котором юная Баронесса разучивала гаммы. Члены Кнессета решительно ничего не имеют против черниговского, может быть, оно даже лучше, уверяют они, но в данном случае речь идет о символах, и “Стейнвей” как символ – символичнее.

– Ваш “Стейнвей” в угандийском климате не проживет и дня, я читала, – бурчит Баронесса, – а мое черниговское и не такое вынесло.

– Уж, коль мы затронули тему пианино и женщин, не обсудить ли нам на следующем заседании “Пианистку”, – говорит, якобы невзначай, Я., выдавая свою затаенную страсть и подводя тем самым черту под заседанием, которому слегка не хватало серьезности, чего никак не скажешь о выдвинутых на нем высоких идеях.

Я. внешне ничем не примечателен в Еврейском Государстве. То его принимают за еврейского комика из Российской Империи, то кто-нибудь никак не может вспомнить, где он его видел. Но это он, вместе с Баронессой, владеет домом с садиком и Зеленым Диваном. Это его жена – Баронесса, и это лишь он один темпераменту Б. может противопоставить насмешливый анализ и какое-нибудь соображение с претензией на изысканность.

Вообще же, любой инженер из Российской Империи, а тем более еврей, а тем более член Кнессета Интеллигентного Созыва, когда речь заходит о культуре, сразу забывает и политику, и сионизм. А если речь идет о литературе, то тут уж циркуль падает у него из рук, кронциркуль вонзается ему в ладонь, а штангенциркулем он даже рюмку водки может смахнуть со стола от возбуждения. Возможно, виновато в этом то обстоятельство, что если бы Бог задумал одну ножку гигантского циркуля воткнуть в Зеленый Диван, на котором заседает уважаемый Кнессет в самом центре Еврейского Государства, а другую отодвинуть всего на каких-нибудь полторы сотни километров и провести круг, то оказалось бы, что не только вся Книга Книг в этом круге написана, но даже бассейн обитания Ионова кита, в ней упомянутого, в этот круг поместился бы. А может быть, дело в том, что когда говорили в России, что Пушкин – это наше все, то евреи это чувствовали острее других, ведь дорога в партийные органы была им заказана и вся их духовная жизнь сосредоточилась естественным образом на Пушкине. Как бы то ни было, следующее заседание Кнессета Культурного Позыва посвящается творчеству автора “Пианистки” – Эльфриды Елинек.

НЕБОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ

В среду у Я. обнаруживается стоматит. Его рот будто забит осколками бритвенных лезвий. Стараясь меньше шевелить языком, со стиснутыми зубами он обращается к жене:

– Д-давай отменим следующее ж-аседание. Ты з-же знаешь, что подумают эти ослы. Нелитературное использование языка – это первое, что придет им в голову.

Она летает по комнатам. У нее масса хозяйственных хлопот. Я. повсюду уныло плетется за ней. Наконец она и вовсе исчезает в саду. Он находит ее на скамейке в беседке, давящейся от смеха.

– Ладно, ладно, – поехали в аптеку, – говорит Баронесса.

Когда они покупают лекарство, Я. кажется, что продавец понимающе улыбается Баронессе.

– Начитанные все, – злится Я.

Стоматит пройдет не раньше чем через три дня, выясняют они у аптекаря.

– Так ты позвонишь? – нудит Я. – Не говори, что со мной.

– Что ты, что ты, – успокаивает его Баронесса. – Я скажу, что у меня молочница.

Переваливаясь, мелкими шажками она движется к двери в сад, затем выпархивает и скрывается за кустом Авраама. Желтая диванная подушка, летящая ей вслед, приземляется на зеленой траве.

– Трава чуть пожелтела, – замечает Я. – Вечером полью, – решает он.

Заседание откладывается на неделю.

ПОДОЗРЕНИЯ БАРОНЕССЫ

Баронесса задумывается. Увлечение Елинек отличается от обычных его увлечений, которым она не придает большого значения. Он так необычно суетлив. Он, расшаркиваясь, предлагает ей место между Флобером и Чеховым. Он утверждает, что “Пианистка” – это “Мадам Бовари” 20-го века. Он восхищается удивительным узором слов и симфонией действия. И взглядом со стороны. Со стороны, но не из кресла Господа Бога, откуда взирают на мир литературные титаны, пока хозяин кресла спит.

Нет, она здесь же, в комнате, притаилась запятой или даже точкой на краю сдвинутого к двери серванта. Она следит, как танцуют парами мать и дочь, мамочка с дверью, дверь с сервантом и снова мать, но теперь – с телевизором. И лишь одинокой тоненькой балериной на цыпочках, в белом платье, трогательной в своей щемящей беззащитности, выходит на сцену картонная коробка из-под обуви со своим содержимым – плетьюми и жгутами для истязания плоти.

Учительница музыки так раздражающе нереальна, но жива, говорит он, что если успеть, когда она садится за рояль, выбить из-под нее эту вращающуюся попо-поддержку, она непременно грохнется на пол, цепляясь за инструмент. А если притаиться за ее спиной у раскрытого шкафа, видно, как жмутся в панике друг к другу платья, однажды побывавшие на ее плечах, как цепляются за свои вешалки, чтобы погибнуть, но не даются чужаку в руки.

Он сравнивает Елинек с киллером, притаившимся на чердаке и разглядывающим через оптический прицел случайных прохожих. Никто не уйдет от вклепленной в затылок убийственной фразы. Желчь этих фраз зовет его к самоотверженности, утверждает он. Это как? Физиология у Елинек – лишь несущая волна, модулированная ее завораживающим видением мира, объясняет он. И ненависть ее – термоядерный взрыв любви. Достоверность невозможного соблазняет и манит его в этой книге, утверждает он.

Иногда, говорит Я., ему кажется, что это из его мозгов, как из бочки, выбита пробка, и это его слова, предварительно сдавленные, выплеснулись на экран, с которого он порой читает, или на страницы книги, разделенные случайной закладкой. Баронесса смотрит на него с опаской и удивлением. Не он ли рассмешил ее однажды, заявив что любит мужскую прозу и женское пение? Она осматривает сундук. Он цел, как цел и висящий на нем замок. Если его открыть, то можно убедиться, что и содержимое сундука невредимо. Стоит ли беспокоиться из-за теней? Из-за призраков, поселившихся в доме? Она умна и хорошо знает – не все в жизни можно направить по твердым маршрутам, как паровозик с вагончиками в игрушечной железной дороге.

Хотя стол в гостиной сдвинут к самой стене и место осталось только для спинок двух стоящих вплотную к ней кресел, Баронесса ощущает, что неожиданная соперница сидит именно там. Да, именно на одном из двух кресел у стены восседает странная гостья – высокая строгая австриячка с двумя косами вокруг надменной головы и наблюдает за ними – за ней, за ее мужем, за членами Кнессета. Баронесса, отворачиваясь от стола, инстинктивно защищает затылок ладонью.

Она решает еще раз прочесть “Пианистку”.

N++; СОСТОЯВШЕЕСЯ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ЭЛЬФРИДЕ ЕЛИНЕК

Я. открывает заседание, цитируя едкие строки “Любовниц”.

– Это не колками подтягиваются струны гитары, – комментирует он, – это натягивается тетива боевого лука. Цели обозначены, стрелы отравлены, пленных не брать! “Любовницы” – прелюдия, увертюра творчества писательницы, здесь ее амазонка впервые сбрасывает навязанное мужчинами тряпье с рюшами и воланами. Она называет настоящими именами все части своего тела и не стесняется провозгласить их назначение. Ее книги – не дамская проза с идиллией женской раздевалки, где холмы и треугольники не прячутся друг от друга.

Б. согласен с Я. “Ах, Баронессе бы хоть часть подобной смелости”, – думает он.

– Это не манифест феминизма, – утверждает Я., – это литература амазонок. Феминистки – лишённые вкуса варвары женского пола, состоящие из локтей и колючей проволоки, они разрушают культурную ткань жизни, ткавшуюся тысячелетиями.

– И кто же такая амазонка? – допытывается Баронесса, улыбаясь мужским толкованиям женских идеологий и не желая мешать мужчинам разбираться в них, но пока не получает ответа.

Признавая достоинства “Любовниц”, Кнессет Литературного Созыва соглашается с решением Нобелевского комитета о присуждении Елинек премии за “Пианистку”. Кнессет недолюбливает Нобелевский комитет, не в такой степени, как Организацию Объединенных Наций, но недолюбливает. Кнессет предпочел бы сам раздавать Нобелевские премии, если бы нашелся подходящий источник финансирования.

Многоумный и оттого сухой А. предлагает поверить алгеброй великое произведение госпожи Е. Он предлагает интегральный показатель плотности текста.

– Берем наугад любые три страницы из разных мест и подсчитываем в них следующие параметры... – говорит он.

– Подсчитывать будут в Китае, так дешевле, – вмешивается Баронесса.

Я. отказывается подсчитывать афоризмы и метафоры. Метафоры бывают тупые, а афоризмы плоские, говорит он. Считать нужно красивые повороты речи, неожиданные применения терминов, свежие идеи, пружины сюжета, интенсивность эмоций.

– А благие порывы? – спрашивает Баронесса.

– Благие порывы не имеют отношения к искусству. За благими порывами идите в синагогу, в церковь, хоть к самому черту, – отрезает Я.

– И все это отнести к количеству слов на этих трех страницах, – развивает А. математическую теорию плотности текста.

– А кто будет определять, что красоты – это красоты, а пружины – пружины? – Баронесса, как всегда, возвращает высокие умы к скучным подробностям жизни.

Конечно, такая задача по плечу только Кнессету Мудрейшего Созыва, отвечает Кнессет.

Китайский счет возвращается неоплаченным, Кнессету и без него ясно – показатели романа зашкаливают, стрелка пробила корпус прибора, светящиеся цифры сначала показали все девятки, а затем и вообще ушли в минус.

ОТСТУПЛЕНИЕ. СОН Я.

Я. вспоминает свой вчерашний сон. Сон начался с телефонного звонка.

“Реклама, опрос, пожертвования”, – морщится во сне Я. Но как часто бывает и наяву, необъяснимая обязательность перед телефоном берет свое, и он поднимает трубку.

– Будете говорить с Веной, – звучит голос в трубке.

– Что за чушь, давно нет никаких телефонисток, – удивляется Я., не осознавая во сне, что и никаких знакомых у него нет в Вене.

– Госпожа Е. у телефона, говорите, – опровергает очевидное голос телефонистки.

– Здравствуйте, господин Я., – говорит усталый, но твердый голос.

– Здравствуйте, госпожа Е., – отвечает А., то есть Я., покрываясь холодным потом.

“Попался. Доболтался. Это иск, иск за вторжение в частную жизнь прославленных литературных произведений. На миллион долларов или евро”, – в ужасе соображает Я., мучительно вспоминая курс доллара и евро. Он мысленно распродает все свое с Баронессой имущество (перегоревшую правую лампочку ближнего света в машине менять уже не стоит) и все равно остается должен несколько сот тысяч долларов. Так долларов или евро, никак не сообразит он во сне.

– У меня не очень хороший английский (значит, мы говорим на английском, соображает Я.), пожалуйста, говорите не быстро, – тянет время Я. – И, если можно, с еврейским акцентом, так мне будет понятнее, – он очень хочет понравиться ей.

На другом конце что-то всхлипнуло. “Закрывает трубку рукой”, – соображает Я.

– Я обожаю вашу стилистику, госпожа Е., – льстит он.

Телефонная трубка молчит.

– But violence, I'm not sure I like it. Frankly, I don't like it at all, – вспоминает Я., что говорить он должен по-английски.

Снова молчание.

– А вот сцену у зеркала, там, где рука пианистки бритвой проходится по причинному месту, я бы немного изменил, – Я. явно теряет чувство меры и снова переходит не то на иврит, не то на русский. – Вместо бритвы я вложил бы в руки героини иголку с ниткой.

Молчание. Пауза.

– Я умею делать аккуратный узелок на самом кончике нитки, – он, кажется, намерен присутствовать при этой сцене.

Хватит ли на это либерализма Баронессы, сомневается Я. Пожалуй, не хватит. Баронесса терпима к чужим чудачествам, но только до тех пор, пока они не коснутся ее самой, решает он. В подтверждение Баронесса поворачивается к нему во сне, он получает легкий пинок коленом, неудобное объятие и просыпается.

БАРОНЕССА, ФЕМИНИЗМ И ЖЕНЩИНЫ

Баронесса задумывается о сущности феминизма. Она подходит к вопросу с практической стороны. Вопрос первый: что она при этом теряет? Она отказывается от искусства водить за нос мужчин искренним восхищением ими. Она перестанет выкладывать мяч прямо на ногу нападающему и, невидимая, как греческая богиня, придерживать вратаря за трусы, а потом снова возникать восхищенной болельщицей на трибуне.

И взамен? Сидеть, например, в телевизоре с длинным лицом и терзать мужчин колючими вопросами. Не дожидаясь ответа, ровным голосом – снова вопрос. Подавить протест. И никакого удовольствия от того, что это насекомое стискивает сейчас кулаки под столом.

Феминизм, кажется, не для нее, сомневается Баронесса. Она в принципе любит, когда Я. пускается в рассуждения о женщинах. Комичность его абстракций служит ей чем-то вроде проверки собственной женской сбалансированности.

– Женщины подразделяются на два типа, – заявляет Я., – на тех, кто после мыльной оперы, набрав воздуха в легкие, говорит длинное “а-а-х”, идет на кухню, и думает уже о кипящем супе, и тех, кто тоже готовит суп, но продолжает думать о мыльной опере.

Баронесса не спрашивает, к какому типу она относится – во-первых, она это знает, во-вторых, она вообще возражает против того, чтобы служить примером в изложении какой бы то ни было философии. Я. украдкой бросает на нее взгляд. Он говорит ей (уже в открытую), что она удивительно хороша собой, когда внимает ему. Она не отвечает. “Ну, я не красотка, но я... симпатичная”, – к восторгу Я. однажды неосторожно заявила она. Они будут вместе покатываться от смеха, когда он в лицах изобразит ей эту ее скромность.

Тем временем Я. продолжает рассуждать.

– Соблазнить женщину второго типа мог бы даже этот кот, если бы захотел, – говорит он, указывая на кота, который в ответ поднялся с места, подошел к Я. и, вопросительно взглянув на него, мяукнул.

– Умница, – сказал Я. и взял кота на руки, – ты сумел бы соблазнить чувствительную, поэтичную женщину? – спросил он.

Кот, решив, что речь не идет о чем-то съедобном, потерял интерес к речам Я. и лизнул шерсть. Я. опустил его на пол, почесав за ухом.

Плечи Баронессы подрагивают от смеха, пока она нарезает овощи для салата, насладившись попутно маленьким облачком помидорного аромата, которое поднялось над кухонным мрамором, когда отстегнулся от помидорного пупка стебель, на котором созрел помидор. В это время Я. елозит шваброй наверху в спальнях. Смех Баронессы вызван быстрой рецензией Я. на вышедшую недавно в свет душевспасительную дамскую книжку с идейным кровосмешением и мазохистским человеколюбием (по его словам, естественно). В запальчивости он назвал ее мыльной оперой для баб, инфицированных повышенным интеллектом. Эта книга представляется ему кремом, взбитым из слез с соплями (его выражения). Он даже ввел понятие – “БД с IQ”. На вопрос Баронессы, что такое “БД”, он ответил с энтузиазмом – баба-дура.

Он, по-видимому, достиг цели, потому что Баронесса хоть и морщит нос, но смеется. Это их привычный способ общения – мысль, увеличенная и распятая в кривом зеркале, выглядит наряднее и забавней. Баронесса ведь так хороша и естественна в глазах Я., всегда в своем собственном стиле, который Я. определяет как либеральный декабризм. Сама она от всякого вранья увивливает, как кошка от теплой ванны с мыльной пеной. Потому развлекать ее фейерверками преувеличений – его первейший супружеский долг, считает Я. Книгу он не дочитал, сама же Баронесса прочла ее от начала до конца совершенно спокойно. И мыльные оперы она тоже смотрит порою, расслабляясь у телевизора и совмещая с обработкой ногтей. Она поясняет неразумному Я. в ответ на его недоуменные вопросы, что мыльные оперы созданы для женщин так же, как футбол для мужчин. Ведь в футболе не больше интеллектуальной изощренности, чем в мыльной опере, но футбол отвечает воинственным мужским потребностям, а мыльная опера отвечает женской потребности в чем-то мирном. В высказываниях Я. Баронесса ценит прежде всего форму. Для содержания у нее имеются собственные веса, более точные, чем те, которыми располагает Я. Его веса к тому же трудно успокоить, считает Баронесса, из-за эмоционального перекала в его характере. Она снисходительна к нему. В глубине души, уверена Баронесса, и он знает, что его небрежность к сути вещей – жертва форме. Вот и в “Пианистке” его увлечение литературной формой заслоняет счастливчику Я. крик женской трагедии и терзаемой плоти. Он эгоистично присваивает себе эстетику, пренебрегая неблизкой ему женской драмой,

прочувствовать которую до конца ему не дано в силу его гендерного (полового) устройства.

Вообще же все эти раскованные пассажи на женскую тему она считает неуместными в компании. И эти рискованные шовинистские шуточки – только для них двоих.

Интересно, задает себе вопрос Я., почему ему так легко сходят с рук издевки по поводу женщин? Она настолько уверена в себе? Хорошо ли это?

Чувствительная книжка Баронессу не задела, отмечает Я. У пумы самой природой изъят ген смирения. Оттого, может быть, улыбается про себя Я., она не ищет противоядия в корнях бунта.

И РЕЗЮМЕ БАРОНЕССЫ

– Так все-таки феминистка Елинек или нет? – спрашивает Я. жену.

Ее лицо становится серьезным. Этот вопрос заслуживает серьезности. Вычислительная машина ее интуиции безупречна. Она размышляет сейчас дольше, чем обычно. “Видимо, по второму разу просчитывает”, – думает Я.

– Нет, – наконец решительно объявляет Баронесса, – она – не феминистка, она – женщина.

– За Елинек, Женщину и Амазонку, – поднял бокал Я.

– За нашу Эльфриду, – добавил В. с оттенком фамильярности.

А.

Хотя женщины считали А. суховатым, были с ним вежливы и не более, именно они пытались разными способами сигнализировать ему о подстерегающей его опасности. Женские хитрости, которые она применяет, примитивны до тошноты, говорили они друг другу. Она, разговаривая, подходит к нему на четверть метра и смотрит прямо в глаза. Женщины, живущие по понятиям, по женским понятиям, смотрят в глаза только друг другу, говорили они. Но А. как будто шел навстречу неизбежному. В ней была упругость и обаяние зрелой женственности. Ее обращенная к нему улыбка не была ни смущенной, ни властной, в ней просто было понимание того, что должно было свершиться. И тому, что казалось ему предначертанным, он и не пытался противиться.

В браке она не подавляла и не помыкала им, как опасались его сотрудницы. Снисходительно улыбаясь, принимала она его неубывающую со временем тягу к ней. Он не подозревал ее в супружеской неверности, и, кажется, для этого действительно не было оснований. И уже среди женщин стало складываться мнение, что эта парочка нашла друг друга и что они, по-видимому, друг друга стоят. В это время и начался ее новый роман. Собственно, не она затеяла его. Значительный, разведенный Он, с седеющими бакенбардами стал отмечать ее на перекурах в коридоре. Она и не курила, она приходила туда немного развлечь себя разговором. А. хоть и высокий, но худой, к тому же младше ее, и до того казался в этой паре меньшей величиной. В сравнении же с ее новым частым собеседником совсем проигрывал. Было ясно, что этой вальяжной респектабельности ему и не достичь никогда и противопоставить ей – нечего. Теперь женщины мобилизовались было на спасение их брака. Считая седеющие бакенбарды более слабым звеном, они стали с ним сухи и официальны, они рассказывали друг другу, что он нарочно становится курить поближе к лестнице, чтобы заглядывать под юбки молоденьким женщинам. Их уловки не помогли.

Впервые увидел А. в ее глазах что-то похожее на слезу, когда она обернулась и взглянула на него, бледного и равнодушного, прежде чем закрыть за собой дверь навсегда.

Он даже где-то понимал ее. Эта система уравнений не содержала неопределенности. У нее были однозначные вычисляемые корни. “Математику обычно заказывают работу люди, имеющие дело с природными явлениями, чтобы придать законченную форму тому, что они знают заранее”, – сказал он однажды о своей профессии.

Начались смутные времена. Ее новый муж удачно вписался и в них. А. засобирался в Еврейское Государство, где по дошедшим слухам, даже уже и не слухам вовсе, маячила в лучшем случае неопределенность. Тогда он и совсем уверился в ее правоте, хотя никому не говорил об этом.

Он не испытывал горечи. В его жизни была любовь.

Фабрика программирования вдруг надоедает Я. Им овладевает с детства знакомая ему жажда общения с чистым листом, на котором через два-три часа появится фотография настроения, сколок вечности. Его карьера непрофессионального программиста более или менее удалась. Почему бы не попробовать ему стать непрофессиональным автором опуса без особой идеи, может быть, и без особых достоинств, и с бессмысленной целью – бросить в океан бесконечности бутылку с запиской “И мы были”, пустить по ветру соринку, которая исчезнет из виду в потоке времени и судьбу которой знать не дано.

В программировании академический подход требует программирования сверху. Сначала общий план, затем разбивка на модули и т.д. Это всегда казалось Я. несусветной чушью. Выдумать из головы готовую сложную систему? Такая идея могла прийти в голову разве что Марселю Прусту. Высшее достижение Еврейского Государства, считал Я., – это царящий в нем бардак. Вот ведь, лучшие в мире планировщики, немцы, спланировали две войны, обе тут же сбились с первоначального плана. И уж точно, не планировали они поражений, которыми эти войны закончились. Программирование Я. начинал с маленьких кирпичиков, которые рано или поздно ему пригодятся. Затем прояснялись связи между ними. Кирпичики и их связи иногда приходили во сне ночью. Постепенно вырастал общий план, о котором он думал все время и который непрестанно корректировал.

Так строилось Еврейское Государство, он надеется, что оно останется непредсказуемым даже после того, как в нем наступит вечный мир. И так же он построит свою книгу, у которой нет ни темы, ни героев, нет вообще ничего. Для начала Я. назначает трех героев – X, Y, Z. Он раздает им по одной реплике. Но видимо, и X, и Y, и Z рождаются евреями, потому что все они тут же требуют слова и перебивают друг друга. Я. ничего не остается, как только с удивлением следить за этим неугомонным народом. Правда, возникающие в нем слова навалены, как чемоданы на тележке в аэропорту. Не все сразу, решает он. Главное, чтобы чемоданы прибыли по назначению. Косноязычие сойдет за стиль.

Однажды в детстве школьный приятель уговорил Я. пойти с ним в танцевальный кружок. Я. предстал перед учителем танцев. После короткого экзамена он был отпущен, а на лице учителя прочел то, что понял и без его холодной гримасы, – есть много признаков непригодности к искусству танцев, но у Я. в наличии – все. Он остался в танцзале ждать приятеля на стуле без сиденья, зато с торчащими гвоздями, которые должны были это сиденье удерживать. Когда они вернулись домой, и Я. переодевался в одежду “для улицы”, он обнаружил, что брюки сзади – в треугольниках надорванной ткани, а значит, сквозь прорехи светились его светло-синие кальсоны, пока он шел через весь город. Долгие годы происшествие в танцевальном кружке было для него скрываемым от всех символом его позора. Когда старшеклассником он попробовал написать рассказ и затем перечел его, он снова увидел в нем свои кальсоны, васильками проросшие на его штанах. Он зарекся от писания прозы, как от танцевального кружка.

Так что же случилось сейчас? Ах да, прожит кусок жизни. Он перечитывает написанное и, по крайней мере, не видит кальсон. Грезы о новом способе самовыражения, открывшемся ему, придают жизни новый вкус. Есть, видимо, какая-то связь между этими грезами и вопросом, который он задает Баронессе.

– Как стать сексапильным? – спрашивает он ее. Не дожидаясь ответа, на который он и так не рассчитывает, Я. декламирует перед зеркалом ее предполагаемый ответ: – Нужно поменьше есть, заняться спортом, убрать вот это, – якобы ее пальчиком показывает Я. туда, где не должно быть брюшка (глазами намеком показывает туда же). – Неплохо бы и вырасти, – добавляет он, глядя на себя в зеркало.

Улыбка с его лица переходит на лицо Баронессы. И он уже смотрит на нее с укоризной.

– Стерва, – объявляет он ей обиженно, пока она давится смехом.

– Я же молчала, – возражает смеющаяся невинность. Она из осторожности не добавляет на сей раз свою излюбленную сентенцию о том, что стерв больше любят.

– Искусство и женщины не приводят к комфорту души, – резюмирует Я.

Баронесса с ним охотно соглашается.

Б.

Б. не случайно промолчал, когда речь шла о “Пианистке”. Члены Кнессета по нескольким его репликам знали, что он был когда-то женат и его бывшая жена, концертирующая пианистка, осталась в Российской Империи. Было очевидно, что большего он сказать не готов.

Он впервые увидел ее на одном из праздничных ужинов в небольшой питерской квартире своих родственников. Ее попросили сыграть. Она не отказывалась, но и не рвалась, просто сыграла две вещи: одну, знакомую всем, – для всех, другую –

видимо, для себя. В этой другой никто из присутствующих не различил ни одной мелодии, но темы были, наверное, чем-то важны ей.

Она запомнилась Б. Запомнились тонкие руки, которые нужно было куда-то девать, когда они заканчивали свои проходы по клавишам. Запомнилась легкая сутулость и тени, кажется, ничего не означавших улыбок, которые пробегали по ее лицу, никому не адресуясь и ни к чему не относясь. Знаки внимания резковатого, энергичного Б. (“живчик” – определение любящей школьной учительницы) она встретила с удивлением, но и с радостью. Очень быстро Б. заявил ей, что хотел бы жениться на ней. Она сразу согласилась.

Может быть, думал он, ему при его темпераменте и горячности не хватило терпения пробиться к ней, возможно, удалось бы даже переформировать ее заново. Он мало разбирался в музыке, а она, кажется, оставалась равнодушна к волновавшей его жизни. Два года прошли, а в их браке так и не появилось то, что есть в связке двух альпинистов, идущих по узкому заснеженному хребту: если один соскальзывает, другой прыгает на противоположный склон, чтобы двум спортсменам, уравновесившим таким образом друг друга, повиснув на хребте, спастись. Не было перетоков тепла, не было быстрого сговора одним лишь обменом взглядов, без единого слова. Может быть, у нее другой жизненный ритм, нужно было просто запастись терпением. Брак – это бег на длинную дистанцию, говорил он себе потом.

Однажды он попросил ее спеть что-нибудь. Он вспомнил, как зелененьким (“сикалявым” – дразнил он) голоском напевала его младшая сестра, пробегая одновременно по клавишам пианино:

– Га-аварят, мы бяки-буки,
Ка-ак выносит нас земля?.. –

и все вокруг начинали улыбаться.

– Ах, ты бедная моя трубадурочка! –

баском подхватывал он, –

– Посмотри, как исхудала ты... дурочка! –

напевал он ей в самое ухо.

Но Пианистка не пела, никогда не пела, даже не напевала... Что означала ее вечная молчаливая полуулыбка? Может быть, ее воображение спокойно бродило в тех тихих с мужской точки зрения переулках, где происходит действие женских романов, и она просто не успела преодолеть стеснение и рассказать ему о том, что она там видит? Не знала, что эти рассказы, услышанные из уст любимой женщины, воспринимаются как убаюкивающий шелест дождя?

Коленки сестры – в вечных ссадинах. “Я срезаю углы”, – объясняла она. В какой-то момент ее взросления она была выше других сверстниц в музыкальной школе, и ее усадили за виолончель. “Эту дуру нужно вечно держать между ногами и только один раз за весь концерт делать на ней – бры-ынь”, – рассказывала она о своем участии в сборном концерте музыкальной школы, на который был приглашен известный композитор, оставивший участникам концерта автограф на их учебниках. Этот автограф, как свое высшее музыкальное достижение, она с гордостью показывала гостям. Иногда виолончель поднималась по лестнице дома их родителей, неся на себе его сестру. “Моя лошадь”, – говорила она. План избавления от “лошади” был разработан ею при соучастии Б. Обычную школу становится слишком трудно совмещать с музыкальной, согласились родители после того, как она пропустила неделю в школе из-за гриппа. Выбор был сделан в пользу школы общеобразовательной. Когда на следующий день ее подружка по несчастью со скрипкой в руках долго орет снизу из колодца двора: “Выходи! Я знаю, ты дома. Что мне, одной тащиться туда?” – она приседает на полу, обхватив руками футляр виолончели. “Чтобы эта дура, – говорит она о виолончели, – не хлопнулась на пол в самый неподходящий момент”. Вечером они вместе поливали из чайника тряпку перед входной дверью. “Только тряпку и освежили за весь день”, – ворчала мать. Виолончель вскоре продали, пианино осталось.

Он не помнил, когда появились два одеяла на их постели. Помнил только, что отметил – так удобнее. Когда кто-то из знакомых пошутил по поводу того, как смотрела его жена на своего консерваторского профессора, когда он попросил ее сыграть в учебной программе местного телевидения, Б. вспылал, наговорил резкостей, глаза жены смотрели с укором, в них готовы были показаться слезы.

Сестру ему почти не приходилось защищать в школе. Мальчишку, дернувшему ее за косу (было больно, объяснила она), увели в медкабинет вытаскивать из ладони ученическое перо “звездочка”. Девочку, попавшую в нее камнем, привела жаловаться мать, в ее руках были клочья волос пострадавшей. Когда сестру уговорили выйти из туалета, где она заперлась, ее все еще горящие справедливым гневом глаза на фоне распухшего носа заставили жалобщиков молча развернуться и уйти. Еще приходила жаловаться мать маленького мальчика, пристроившегося по малой нужде прямо у стены дома, чтобы сэкономить время и быстрее вернуться к игре в футбол. Возвращавшаяся из школы сестра, внезапно появившаяся из-за угла, ловко извернулась и щелкнула мальчика по отросточку, прокомментировав: “Пп-и-у! летает!”

Что-то уже сдвинулось в нем и через полтора месяца он соврал ей, что любит другую женщину. Известие было принято ею в том замкнутом молчании, в котором проходила их жизнь в последнее время.

– Где же твоя новая любовь? – осторожно и с опаской спросила его мать вскоре после развода.
– Уже разлюбил, – коротко ответил Б.

Честность его сестры – ее врожденное качество, она родилась с ним, как с глазами и голосом, оно прикреплено к ней прочно, как ухо, и она никак не может привыкнуть к мысли, что только что рожденный ею ребенок может иметь имя, которое носят годами взрослые люди. Она долго называет его “этот чудак” и смотрит на вновь образовавшийся кусочек жизни с удивлением постороннего, а на себя в зеркало: я – мать?

Не сыграла ли в их неудаче какую-то роль ее мать? Нет. Пожалуй – нет. Женщина она была практичная, расчетливая, но не злая. Когда однажды они ехали к ней на день рождения, Б. предложил смять угол большой коробки конфет, которую они везли ей в подарок, и съесть две штуки, чтобы образовались две пустые ячейки.

– Скажем, что кто-то из нас в последний момент случайно сел на край коробки и эти две конфеты раздавились. Извинимся.

– Зачем? – спросила пианистка.

– Иначе она отправит коробку в свой подарочный фонд, передарит ее кому-то по случаю, и мы этих конфет сегодня даже не попробуем. А очень хочется, – добавил Б.

Его жена покраснела и не засмеялась, а он на это надеялся. Вспомнив этот эпизод, сидя на Зеленом Диване, он хоть и старался не делать сравнений, но все же сделал: Баронесса тоже не засмеялась бы? Наверное, переложила бы коробку подальше от него, но потом не сдержала бы смех. Ее ведь всегда смешат чужие проказы.

Детей от Пианистки у Б. не было, чему он был рад после развода. Но через много лет это стало болезненной занозой в его памяти. Этот кусок его жизни не оставил материальных свидетельств своей значимости. Теперь он никак не мог вспомнить точно ее голоса. Лицо восстанавливали фотографии. Голос, не заключенный предусмотрительно ни в какую емкость для хранения звуков, должна была хранить память. Должна была, но не сохранила.

Фотографии помогли вспомнить спортивную гостиницу в хвойном лесу за городом, в которой они сняли номер. Вечерами они возвращались со спектаклей через затихший зимний лес, весь в глубоком снегу, по утоптанной дороге, а утром он отдергивал портьеру с начинавшегося от пола окна в полстены, и сразу за этой стеклянной полустеной лежал белый снег до самой опушки леса. Бельями были и простыни, и наволочки. Утром она не зарылась в одеяла и подушки, когда свет из-за убранных портьер залил комнату, отразившись от снега и ее тела. Мир сверкал холодом и чистотой.

Другая фотография представляла их у моря во время свадебного путешествия, которое длилось только три дня. Они сняли совсем маленький деревянный флигелек, где было место только для кровати. А больше им ничего и не нужно было. Они оба смотрели в объектив, а за ними было море. Даже на фотографии видно, как она молчалива, но глаза у нее здесь очень живые – она разучивает пьесу для моря, флигеля и высокого узкого ложа.

Себя на фотографии Б. оглядывает лишь мельком. На ностальгию по собственной юности у него недостает терпения.

Глупая история, в очередной раз подводит он плачевный итог.

С Я. и его женой Б. познакомился в Еврейском Государстве в классе изучения иврита. Он стал часто приходить к ним и чувствовал, что ему были рады.

N++; О ЛИБЕРАЛЬНЫХ ПРОФЕССОРАХ И ОСТРОВЕ ПИНГВИНОВ

Услышав предложенную тему, А. в задумчивости положил ногу на ногу. Б. сразу закипятился. Он сослался на Рабле, Рабле сослался то ли на Гаргантюа, то ли на Пантагрюэля. Согласно признанным авторитетам, лучшее средство для подтирания – кошка.

– Нет, – бушевал Б., – кошка полезна, она ловит мышей, она красива. Задницу нужно вытирать либеральными профессорами. Где вы видели либерального профессора, который бы хоть раз в жизни поймал мышку?

– И все – уроды, – добавил немногословный В.

– Не преувеличивайте, – возразила справедливая Баронесса.

– Может быть, это возраст сказывается, но я тоже, кажется, расстанусь со своей либеральной молодостью, – грустно заметил Я.

– Когда начался твой отход от либерализма? – спросил его Б.

– С начала последней интифады, – ответил Я. – Но заметил я его на ступенях Элизейского дворца.

– Где? – переспросил А.

– На Острове Пингвинов, – уточнил Я.

Галломан Б. разъяснил аллегорию Анатоля Франса, поймав вопросительный взгляд А.

– Нет, – продолжил тем временем Я., – я не был в гостях у Императора Острова Пингвинов, не стоял на ступенях Элизейского дворца, на них принимали с нежностью Доброго Дедушку маленькой Интифады, а потом с них почти сталкивали нашего Генерал-пианиста, а я был среди зрителей, на зеленом диване перед телевизором SANYO 28''.

– Я помню эту сцену, – сказал Б., мрачней. – Как хотелось мне тогда, чтобы Генерал-пианист сказал Императору что-то в высшей степени дерзкое, например вот так: “Милостивый государь, мне выпадали на долю нелегкие задачи, я ликвидировал террористов на вражеской территории, переодевшись женщиной. Переодевшись политиком, я играл на рояле перед всей страной, но никогда, слышите, сударь, никогда не паду я так низко, чтобы глотать лягушек на Острове Пингвинов”. И с этими словами он достал бы из-под носового платочка в нагрудном кармане пиджака маленький дамский пистолет и... вернувшись домой, чтобы успокоиться и привести нервы в порядок, исполнил бы на 1-м канале фортепьянный концерт. Желательно собственного сочинения.

Таков Б. Такого высокого стиля жаждет он в управлении государством. Тем временем в свежем воздухе, текущем из сада, запахло дипломатическим инцидентом. Несдержанность Б. может ввергнуть нас в пучину конфликта на европейской арене, считает Кнессет. Мало нам арены Ближневосточной. Но Б. уже понесло.

– Одна итальянская журналистка утверждает, что Слизняк мечтает о Нобелевской премии мира, – говорит Б. – Добивается доступными ему средствами.

Кнессет Зеленого Дивана самым убедительным образом просит Б. не использовать терминологию британских бульварных газет. Кроме того, после смены императора, возможно, по законам галльского конформизма сменят тон и либеральные профессора, и особенно еврейские среди них. Из-за того же, что Б. повторяет британское оскорбление (Кнессет намеренно подчеркивает происхождение термина), нормализация отношений будет осложнена. Но не так просто остановить разошедшегося Б.

– Когда обстреливаются наши дома (дом в Ришон ле-Ционе, в котором живет Б., пока, к счастью, не обстреливался), взрываются наши автобусы (последний раз Б. пользовался автобусом несколько лет назад, когда туристом ездил смотреть замки Луары вместе с А.), – в этих обстоятельствах они требуют от нас сдержанности и пропорциональной реакции.

– Как хотелось бы мне каждый раз, когда это происходит, – продолжал Б., – пульнуть по Элизейскому дворцу и изучать пропорциональную реакцию, и записывать результаты в маленький блокнот.

Теперь уже и весь Кнессет Боевого Призыва охвачен воинственным духом. Кажется, даже Баронесса раскрасит сейчас помадой лицо в боевые цвета.

Нет, не зря любят в Еврейской Армии русских солдат! Всем видно, что В. в мыслях своих уже подхватил на плечи два “касама” и бодрой трусцой взбирается на холм, туда, где Секре-Кер напоминает ему знакомые луковки соборов Российской Империи. Он оглядывается с полдороги. Ба! Да отсюда можно и прямой наводкой!

Первой от милитаристского угара, как и следовало ожидать, очнулась Баронесса. Нет, она не станет подобно Французской Деве бегать по баррикадам со знаменем, и тем более с обнаженной грудью.

– А как жаль! Он запечатлел бы ее в бессмертных полотнах, – мечтает Эжен Б. Делакруа.

– Нет ничего прекраснее разъяренной Французской Девы, – вдруг вне всякой связи говорит Б. (Баронесса и Я. понимают его). Он на глазах меняет курс, он уже выписывает индульгенцию тому, кого минуту назад готов был обозвать лакированным галльским петухом. Баронесса окончательно тушит чуть не разгоревшийся пожар войны.

– Они, обитатели Острова Пингвинов, сами немного напуганы своими демографическими перспективами. Вот и клюют нас иногда. А Большая Бомба у нас от кого, забыли? И вообще, будешь болтать глупости, – продолжает она осаждать Б., – тебя не впустят в твой любимый город. – Имя этого города на букву П. Баронесса произносит жеманно и в нос, и Б. сникает окончательно.

– Это все либеральные профессора Острова Пингвинов, – оправдывается он. – Они вдохновенно вещают, и взором внутренним прорицают непрорицаемое, и зовут к высокому, и тает что-то в юных студентках, что обладает свойством таяния в них, а это и есть момент истины либерального профессора банальной сексуальной ориентации. И если он не дурак, а он – не дурак, то этого момента он не упустит. И это за наш счет, и совершенно безопасно, мы ведь не станем взрывать его автобус, не будем стрелять в упор в его детей от других либеральных профессоров. А если этот либеральный профессор – женщина, то она либо дура, либо бескорыстная дура, что еще хуже, – добавил Б. в запальчивости.

– Среди либеральных профессоров умных женщин вообще быть не может, – бурчит Я., – хотя бы потому, что умные женщины умеют гримировать свой интеллект и не ходят с ним, как с саблей, по улицам. Иначе они или не так уж умны, или не так уж женщины.

Проблема женского интеллекта, как всегда, захватывает Я., и он отклоняется от темы заседания. Это обидная ложь, возмущается Я. обидной ложью, будто мужчины боятся и не любят умных женщин. Они их очень любят и совсем не боятся. Но их эстетическое чувство бывает оскорблено неподходящей огранкой женского интеллекта, когда кажется, что она (огранка) выполнена тюремным дантистом по технологии изготовления стальных коронок. Этими словами подтверждается негативное отношение Я. к феминистскому вероучению в его классическом легированном виде. Произнося слово с корнем “эстет”, Я. опасливо озирается. Он опасается простодушия Швейка и его солдатской прямоты. Ведь с тех пор, как он объявил миру, что все эстеты – педерасты, этого никто не осмеливается оспорить. В этом вопросе Я. – феминист наизнанку: он мечтает отвоевать у сексуальных меньшинств Иудею эстетических претензий, отнять Иерусалим изысканности и необузданных фантазий.

Но Б. с темы не сбивается. Говоря о студентках, он почувствовал, что в чем-то он сочувствует либеральным профессорам. Он представил себя профессором в Сорбонне, а в аудитории, в четвертом ряду справа, сидит Баронесса и смотрит на него широко открытыми глазами.

Я. на сей раз не принимает мер. Он проявляет снисходительность к другу, снисходительность и понимание. Баронесса ценит его снисходительность и понимание. Снисходительность и понимание обращаются в фарс, фарс обращается в насмешку. Равновесие устанавливается в нужной Я. точке. Портьера на стеклянной двери, ведущей из спальни на балкон, и букет на картине над изголовьем широкой постели, возможно, отметят сегодня в поведении супружеской пары, в деталях вечернего ритуала приготовления ко сну легкий аромат соблазнов и побед.

В.

Большой, добрый, с виду простак, В. представляется женщинам легкой добычей. Однако он так никогда и не был женат.

Его первой устойчивой связью была Простушка. Как это обычно с ним случалось, он и здесь был не ведущим, а ведомым. Она старательно осматривала его перед выходом на работу, гладила его рубашки, однажды даже попыталась погладить его брюки. Но этого он ей не позволил, тут он уперся. “Если женщина гладит брюки мужчины, то это верный признак его слабоумия”, – объяснил он ей. История с брюками стала и последним аккордом их взаимоотношений. Дело в том, что она стала все больше обнаруживать признаки ревности, системной ревности, определил бы А. Сцену ревности на пароме из-за разговора, который он затеял при ней со случайной попутчицей, “сложной девушкой”, он стерпел. Но когда носовой платок, который он держал обычно в правом кармане, был дважды обнаружен им в левом, он сообщил ей об этом странном явлении.

– Я никогда не роюсь в твоих карманах, – обиженно говорила она. Она искала не деньги (это ему и так понятно, зачем говорить об этом, морщился В.), она искала следы других женщин. Она не совала рук в карманы его брюк, это не в ее правилах, у нее тоже есть принципы. Она поднимала их за штанины, там, где у некоторых из них имеются потрепанные манжеты, а у некоторых – просто

потрепанная брючина (она намекает, что могла бы устранить эту неполадку, подшив полоску из специальной плотной ткани). Придерживая уголки брючных карманов, она вытряхивала их содержимое на кровать.

То, что она не запомнила взаимосвязь карманов и вытряхнутых из них вещей, скорее говорит в ее пользу, отметил про себя В., но эта мысль и стала роковой – он испугался, что ищет повода не прекращать ставшего привычным хода дел, ленится выйти из колеи, в которой не хочет катиться всю жизнь. Он ушел.

Самая трагическая ошибка, которую может сделать женщина, это осквернить мужские брюки, стяг мужской независимости, деловитым прикосновением к ним.

ВСЯ ПРАВДА О БЕСПОРЯДКАХ В ПАРИЖЕ

Казалось, конфликт с Островом Пингвинов был предотвращен благодаря трезвости Баронессы и прогальским сантиментам Б. Казалось.

Б. позвонил в понедельник и сообщил, что он и А. не смогут прийти в следующие выходные, так как должны вместе выполнить одну небольшую, но весьма заманчивую работу. Во вторник В. сообщил, что он чрезвычайно занят в следующие выходные. В среду Я. и Баронесса переглянулись между собой, и в тот же день Баронесса заказала на четверг два билета в Париж.

Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять: в эти выходные Париж будет наводнен подрывными элементами, сомнительными агитаторами и пламенными провокаторами народных масс.

И точно, в пятницу полнеющий господин, похожий в своей турецкой кожаной куртке сразу на нескольких еврейских комиков, и его не лишняя приятности спутница лет не то тридцати, не то сорока, в легкой голубой куртке-пальто, поднимались в лифте Эйфелевой башни, ведя беседу о том, с какого уровня лучше виден город Париж. Господин в куртке, рассуждая, выкладывал, казалось бы, вполне банальные и очевидные аргументы, говоря, что если забраться очень высоко, то развернувшаяся панорама будет потрясающе широка, но детали на широкой панораме естественным образом покажутся мелкими, а если опуститься ниже, то обзор скукожится, зато даже каждую букву рекламы собачьего корма можно будет прочесть без труда. Не вполне понятно, почему именно собачья еда пришла на ум еврейскому комику. Его подруга согласно кивнула, укрывая от ветра голову белым пушистым шарфом. Было очевидно, что она не склонна без необходимости подвергать сомнениям рассуждения своего спутника, а прохладный ветер, видимо, отбил у нее желание интересоваться источниками его ассоциаций. Собачий корм так собачий корм...

Через час или чуть меньше эта пара, явно не терявшая времени зря, уже поднималась на борт прогулочного катера, отправлявшегося на обзорную прогулку по Сене, а на Эйфелевой башне не слишком высоко, но достаточно хорошо видимое отовсюду развевалось сшитое, кажется, из гостиничных простыней полотнище. На одной простыне было написано красной краской: "Наши Императоры продают сионистам Большие Бомбы по тридцать сребреников штука". На другой простыне была нарисована большая черная бомба. Посредине ее, наводя ужас, красовалась огромная белая буква "А", которая, видимо, в целях экономии краски не была нарисована поверх черной бомбы, а образована наложением вырезанного из газеты бумажного трафарета на белую простыню. Хвостовое оперение бомбы создавало очень живую иллюзию ее свободного падения. Эта бомба сейчас непременно упадет на землю, где разгуливают нарядно или по-походному одетые люди, которые хотят подняться на Эйфелеву башню и вовсе не желают, чтобы на них падала большая черная бомба с белой буквой "А".

Прогулочный катер плыл между близкими берегами. Скорость движения катера, подобранная организаторами экскурсии, и ракурс, под которым проплывал выставленный на берегах архитектурный соблазн, были так же совершенны, как и сам соблазн. Что это за мрачные башни, спросил господин в коричневой куртке экскурсовода, к группе которого он явно не принадлежал. Здесь содержалась перед казнью Мария-Антуанетта, с удивленным неодобрением в голосе, но все же ответил экскурсовод. Господин в коричневой куртке сочувственно кивнул. Холодный ветер вскоре согнал экскурсантов с верхней палубы катера в его застекленное чрево, за ними последовал и их инструктор. Когда подозрительная пара осталась одна наверху, не менее подозрительные действия стали совершаться на палубе. Мужчина доставал из сумки небольшие пластмассовые кораблики, вставлял в каждый из них в качестве мачты миниатюрный деревянный шампур для фальшивых шашлыков, которые можно готовить на кухне, кладя их на сковородку на любом этаже многоквартирного дома. Его спутница наживляла на мачту парус, который был не только парусом, но еще и листовкой, и осторожно выбрасывала кораблики в реку так, чтобы они не попали в пенные водяные валы, очень живые у самой кормы, но затихающие и

расходящиеся вдаль, будто там, поодаль, они сторонятся и опускают головы перед долженствующей вот-вот выйти из пучины особой королевской крови.

Расчет злоумышленников верен – никто не станет читать расклеенные по стенам или разбросанные по тротуарам дацзыбао, кораблики же спустя некоторое время будут выловлены детьми, и содержащиеся на “парусе” гнусные, нарочито несложные стишки будут прочитаны сначала самими детьми, а затем по памяти продекламированы ими родителям, знакомым и даже учительнице и одноклассникам в школе.

*Император Элизей,
Без сомнения, – еврей.
Нам об этом говорит
Весь его поганый вид.*

В этот же день на холме чуть пониже Секре-Кер сидел на траве, скрестив ноги, молодой человек почти атлетического сложения и вполне добродушного вида, явно не сочетавшегося с содержанием объяснений, которыми он снабжал обступившую его молодежь. Эти объяснения касались устройства и технологии изготовления самодельных ракет “касам”, которые, по словам добровольного лектора, вполне долетят отсюда до Элизейского Дворца, где засели тайные пособники сионистов, прикрывающие свои бывшие колониальные преступления якобы проснувшимся в них раскаянием. Цель этого фальшивого раскаяния, объяснял молодой человек, заключается в маскировке нового изощренного колониализма. Ведь это правда, проникновенно добавлял он, что парии из бывших колоний продолжают чистить сортиры своих вчерашних и нынешних господ. А чтобы отвлечь их от этого очевидного факта, изо всех сил стараются новые колониалисты посеять в чистых душах эксплуатируемых масс убеждение, будто они (это колонизаторы-то, ха-ха-ха!) денно и ночно пекутся об этих самых массах и об их угнетенных братьях в той части планеты, где отравляется благословенный воздух Средиземноморья зловонными испарениями некоего сионистского образования. Молодой человек не блистал красноречием, а потому и не растрчивал его, сосредотачивая внимание слушателей не на идеологических аспектах, которые слушателям и без него были близки и понятны, а на вопросах практических, толково и коротко разъясняя подробности технологии и баллистики. Его практицизм проявлялся и в том, как он пробегал порой оценивающим взглядом по лицам слушателей, выбирая еще одно перспективное, с его точки зрения, мужественное и вдохновенное лицо, к которому он обращался теперь с объяснениями чаще других.

Тем временем в Сент-Антуанском предместье другая пара, высокий сухопарый мужчина с несколько постным выражением лица и его приятель с одухотворенной внешностью профессионального революционера, также не теряла времени зря. Окружающим их слушателям они представились членами испанской организации борцов за право на возвращение мавров в Испанию. Часть прохожих, которая находила идею справедливой и актуальной, а также не была обременена различными обстоятельствами, требующими их немедленного присутствия в других местах, постепенно образовала небольшую толпу. Высокий испанец на весьма облегченном и спотыкающемся, а потому понятном окружающим английском, с математической обстоятельностью и точностью доказывал обступившим его слушателям, как непобедимы бывают вчерашние отверженные, когда бурлит единый необоримый поток борьбы за социальную справедливость и катит валы гнева третируемых и попираемых национальных меньшинств. Ему вторил революционер, чей горячий живой взгляд и страстная речь зажигали слушателей, зовя их не верить либеральным профессорам, прикидывающимся друзьями обездоленных. Прислушайтесь, кого они кусают в своих фальшивых речах, и вы поймете, кто им по-настоящему близок. Что общего у вас с этими лощеными господами, прикидывающимися вашими друзьями? – спрашивал он, все больше воодушевляясь. – Разве они живут среди вас, вместе с вами ходят наниматься на те грязные работы, на которых не увидишь ни их самих, ни их таких же фальшивых деточек, со школьной скамьи безбедно перебирающихся на скамьи Сорбонны, где они учатся осуждать ваших притеснителей, а затем будут стричь с вас же денежки за свои статейки в газетах о ваших непризнанных правах, попоранном достоинстве, за вашу защиту в судах, куда ваши же братья потащат вас за мелкую кражу, за их угнанный автомобиль, за который защитники ваши уже получили страховку и купили другой автомобиль, подороже?

У этого оратора было, видимо, глубокое историческое мироощущение, потому что он не раз прерывал поток своей аргументации призывами возводить баррикады на улицах. И действительно, слушатели стали тащить мусорные баки, уличную мебель и зонты из кафе, приволокли отключенную и приготовленную для ремонта стиральную машину из прачечной, несколько старых дисплеев, не менее старых компьютеров, горизонтальных IBM-овских и тоже старых минитауэров, письменный стол из

туристического агентства и доску с объявлениями о съеме и продаже квартир. Испанский революционер с живыми глазами с любовью производил сортировку строительного материала и периодически мечтательно поглядывал на вершину возводящейся баррикады.

Слухи о баррикадах в Сент-Антуанском предместье растеклись по городу. Вскоре сюда прибило и пару с Эйфелевой башни и прогулочного катера, и добродушного, с виду молодого, лет тридцати с небольшим, здоровяка со славянскими чертами лица, добровольца-энтузиаста касамостроения. Они, как показалось некоторым в толпе, вначале удивились друг другу, а затем обрадовались. Женщина взобралась на вершину баррикады, сорвала с себя голубую куртку и белый шарф. Стоя на ветру в голубых джинсах и белой кофточке, она размахивала шарфом и курткой. Пламенный революционер попросил высокого испанца прилечь на баррикаде у ног женщины, ракетного лектора с обрезком канализационной трубы, напоминающей заготовку для "касама", встать ниже и правее, а сам с нескольких точек сделал фотографии, с довольным видом поглядывая на миниатюрный плоский экран цифрового фотоаппарата. "Эжен Б. Делакура. Свобода, ведущая народ. Туда ему и дорога", – бормотал он на незнакомом публике языке, который был принимаем ею за испанский. Личность в турецкой кожаной куртке, выглядевшая среднестатистическим несколькими еврейских комиков, держалась от толпы подальше, в позе этого джентльмена ощущалась настороженность, обе руки – в карманах куртки.

Несколькими часами позже эти пятеро с аппетитом обглаживали в самолете, совершавшем рейс по маршруту Париж – Тель-Авив, предложенные им на маленьких подносиках "чикенз". На маленькие булочки можно было при желании уложить стружку масла из маленького пакета. Мужчины попросили для себя тоже маленькие бутылочки красного вина, а женщина пила апельсиновый сок. Закончить еду можно было маленьким пирожным и чашечкой кофе.

В это время подоспевшая полиция реквизировала на холме у Секре-Кер два готовых к употреблению "касама". Сделать это ей удалось элегантно, без лишнего шума, так что сведения о ракетах не просочились в прессу и не сумели нанести ущерба туристической отрасли Острова Пингвинов. С меньшей элегантностью были разогнаны защитники баррикад в Сент-Антуанском предместье. Еще две недели они жгли автомобили в пригородах Парижа.

N++; РАЗУМ И СТРАСТЬ

Разум ведет к компромиссу, страсть ведет к победе, разум приближает старость, страсть – поражение. Страсть и разум вечно стучатся к нам в дверь и требуют выбора.

– Россия и Германия – это особая тема, но есть у нее и совершенно другой аспект, – говорит Б., – немецкие и русские евреи в Еврейском Государстве. Русский еврей (остн-юде классик) в представлении немецкого еврея – национальный позор. В лучшем случае – оборвыш, варвар и фантазер, в худшем – говно, из-за которого нас не уважают приличные дойчен. Немецкий еврей подозревает, что жизнь, в конечном счете, сколько ни пытайся привить ей порядок и смысл, сколько ни драй ее щеточками и скребками, покроется жирными пятнами рук остн-юден, устроится по прихотливой и нелепой фантазии варвара. У него с давних времен два любимых образа в сердце – дойчен как близкий образец и евреи Востока (не путать с остн-юден) как далекий сантимент самобытности. Но ведь на то он и еврей немецкий, чтобы наступать в порядке и отступать в порядке. Старая добрая... нет! Новая добрая дойче машинэ, заправившись бензином, едет прямо и держит дорогу так, что кажется – не дорога ведет машину, а машина поворачивает дорогу. Дорога, по которой катит дойче машинэ, ведет в прессу, университет и в систему правосудия. Там мы поставим наш добротный замок – Дойчюдебург.

Первый обратный взгляд остн-юден на дойч-юден мы находим в мемуарах нашего первого президента. Он был по профессии химик, и во впечатлениях его – налет его профессии. Дойч-юден кажутся ему просушенным концентратом, торфяным брикетом европейской культуры.

– Даже в том, что писал Герцль, меня задело обилие заискивающих интонаций, – подтвердил Я.

– А слышали вы о движении Гуш-Шалом (то есть Блок Мира), в основном состоявшем из бывших дойче профессорен? В годы перед Войной за Независимость они полагали, что не нужно нам Еврейского Государства, Палестина должна стать духовным очагом еврейского народа, в ней Соседи должны оставаться большинством, в своем, соседском государстве, иначе Соседи могут обидеться и вспыхнет Война.

– Так ведь вспыхнула же Война, – сказала Баронесса.

– Конечно, вспыхнула – сказал Я., – мир никогда не вспыхивает. В Еврейском Государстве уцелевших в Холокосте называли мылом. А в Германии в это время имел хождение анекдот. Что такое реабилитация евреев, спрашивал себя один остроумный

немец (остроумных немцев надо ценить). Это – как из мыла сделать еврея, отвечал этот немец себе и другим немцам, не столь остроумным, но ценящим хорошую немецкую шутку. В факте хождения этого слова в Еврейском Государстве была обида. Их унизили, и они платили за унижение уже униженным. Унижение не имеет отношения к разуму. Обида за унижение – страсть чистой воды.

– Нациям, в отличие от отдельных людей, позволяется (и даже считается полезным) говорить о себе в превосходной степени. Особенно, народам не слишком удачливым, – продолжил Б., – поэтому в Еврейском Государстве день Холокоста назвали днем Катастрофы и Героизма Европейского Еврейства. Вот я хочу спросить наших дойче профессорен, где их Гуш-Шаломовская действительность? Или на языке настоящей дойче философии: “Все действительное – разумно”? Так? Так! “Все разумное – действительно”? Так? Так! С вашим Гегелем спорить не станете? Тогда я спрашиваю, почему же ваше видение ситуации не совпадает с действительностью? Где мир на Ближнем Востоке? И сам себе отвечаю – в заднице, где будет и нынешний немецкий пацифизм. Боже, благослови Америку, пока и она еще не ссучилась, – страсть накрыла Б., что находит отражение в его речи.

– Вот и наши благословенные профессора, – продолжает Б., – в своих каменных домах иногда кажутся мне похожими на черные обелиски, блестящие и холодные, как памятники европейским интеллектуальным поветриям. С провинциальным отставанием от кладбищенской моды. А в их черных мантиях я узнаю распоротый жидовский лапсердак.

Я. взглянул на Баронессу. Что она думает о разуме и страсти? Она молчит. Как обычно в таких случаях. И Я., тоже как обычно, считывает чуть заметные знаки на ее лице. Мы едем на Восток, говорил он ей перед отъездом в Еврейское Государство. На Востоке женщина должна знать свое место, говорил он, заглядывая ей в глаза. Ничего похожего на покорность никогда не ночевало в этих глазах, поэтому так легко им ответить чистым и честным взглядом: я буду образцовой женщиной Востока. Я. улыбается, она остается серьезной, но через пять секунд искоса смотрит на него, и теперь уже оба давятся от смеха.

Так как насчет разума и страсти? Этот иероглиф на ее лице ему хорошо знаком: не надо противопоставлять – любимый ответ жены.

Я. неожиданно поехал, будто холодную и мокрую рубчатую занавеску озноба порыв ветра приклеил к его спине. Позже он чихнул, еще позже – закашлялся.

О ПРЕОДОЛЕНИИ ЛЕГКОГО ГРИППА

Капли воды сбегает по свежeweымытому стакану на темный кухонный мрамор. Scotch Whisky рыжевато подмигнул Я., поймав солнечный луч. Но он не так рекомендуется при легком гриппе, как сдержанный и не склонный к эксцессам чай. Потому, наверное, и затаился в изысканной, полупрозрачной темно-зеленой бутылке коньяк, скромно именующийся не содержащим титулов званием Brandy.

Я. нарезал хоть и свежих, но сереньких в силу своей обыденности помидоров и огурцов и осыпал их как праздничным конфетти – рубленой зеленью из коллекции, собранной на еврейских полях быстрыми тайландскими руками и упакованной в прозрачную плотную коробку, через которую придирчивый взгляд способен сразу разглядеть первые признаки увядания овощной фотомодели.

Оливковая ветвь с плодами изображена на другой элегантной бутылке. Правда, нарушая элегантность, пробка на нее навинчена криво и сидит на горлышке, словно кепка на голове подвыпившего фабричного в черно-белом фильме. Для тех, кто не читает на иврите, написано на этикетке по-английски Extra Virgin Premium, что делает непререкаемо понятным – речь идет об исключительно полезном и здоровом продукте. Этой амброзией, вытекающей через пластмассовое дозирующее устройство, Я. поливает овощи с неторопливым достоинством.

Теперь, когда Я. никуда не спешит, он разглядывает, что же написано на полупрозрачной упаковке, на которой вчера в супермаркете он прочел только то, что было написано крупными буквами – FRENCH STYLE BREAD. Ломти нарезанного еще в пекарне хлеба через прозрачный клин упаковки выглядят аппетитно в легкой хлебной изморози, со своими миндальными(?) включениями (french!). Эти осколки миндаля наверняка попытаются выковырять вертлявые детки. На непрозрачной части упаковки – черно-белая фотография, будто размытая временем, на которой без труда можно разглядеть заведение с надписью KAFE DE FRANCE и людей, сидящих за столиками на тротуаре. На хлебной упаковке строгий ивритский шрифт сообщает, что хлеб выпечен в артистическом стиле Буланжери вручную. Как великий Микеланджело сам выбирал глыбу мрамора, из которой изваял еврейского царя с повисшим фаллосом и необрезанной крайней плотью, так пекарь, сообщает строгий текст, лично выбирает компоненты для выпечки хлеба, а затем следит за всем процессом до самого выхода хлеба из печи.

Вот и видно, ворчит Я., что он не следил за нарезкой, ведь эту корочку следовало бы разрезать еще как минимум на три части, и Я. любовно разрезает корку на три ломтика. А на другой стороне упаковки содержатся советы шеф-повара с графическими рисунками. И текст к рисункам выполнен уже не строгим шрифтом, а мягким, домашним, каким пишет руководитель проекта протоколы на технических совещаниях. На одном рисунке на ломтиках хлеба лежит непонятно какого сорта сыр (не сыр же нам рекламируют), присыпанный зеленью. А рядом с ломтиками лежат оливки. А на другом рисунке – печь, не микроволновая, конечно, а из красного кирпича, сложенного аркой, не стрельчатой, а мягко-округлой. Цвет кирпичей на графике, конечно, неопределим, но Я. знает, что эти кирпичи красные, он видел такие печи во многих местах не во Франции, а у нас в Еврейском Государстве. От ломтиков хлеба поднимается графический пар в полторы волны, а длина волны на рисунке – примерно 12 мм. Про серые в графическом исполнении языки пламени известно, что они бывают красные, а иногда бледно-голубые.

Нам при гриппе рекомендуют зеленый чай как лучшее средство при безобидных болезнях. Но Я. хочется алого цвета в чашке, и он выбирает между красным чаем из неизвестного ему ройбуша с добавлением пассифлоры (от нее, если ее посадить в саду, избавиться можно только с помощью мачете для рубки сахарного тростника) и полевых роз, полезные свойства которых (мы знали их под именем шиповника) нам знакомы с раннего детства, ведь выковырянные из них семена, брошенные друзьям за шиворот, способны вызвать столько жизнерадостного детского смеха. Но победу по очкам, справедливый судья, Я. присуждает чаю гранатовому, ведь ему в один голос объяснили по телевизору и экспортеры гранатов, и их производители, что гранат так же эффективен в борьбе с холестерином, как красное вино. Взял бы он и меду, если бы не боялся его липкости.

С чашкой чаю, на которой изображена история игры в крикет, Я. идет к окну. Вот вертолет проплыл вдоль щели жалюзи за стеклом закрытого окна как бесшумная стрелока. Или это он подыграл ему, чуть приопускаясь и вытягиваясь, чтобы удержать его полет на заданной высоте 9-й снизу жалюзи и 32-й параллели по глобусу. Он сдвигает жалюзи и открывает окно в сад, чтобы услышать звуки внешнего мира. Кто там шуршит в кустах? Отсюда не видно. Наверное, это аккуратная кошка закапывает следы своей жизнедеятельности.

К завтрашнему дню ему нужно выздороветь, чтобы перейти от пассивной созерцательности к активному созидательному труду и прочей положительной жизни.

СЛУЧАЙ С А.

А. задержан полицией за избиение и попытку изнасилования. Эта новость в Кнессете Зеленого Дивана вызвала бы абсолютный шок, если бы подобные происшествия не случались даже с героями Большого Кнессета. Шок все же имел место.

Б. принялся было иронизировать.

– Когда мы вместе были за границей, – рассказывал он, – поджидая однажды А. на выходе из общественного туалета, я удивился, чего это он застрял там. Я заглянул внутрь и увидел, что А. отходит от автомата с презервативами. Я удивился, никаких приключений у нас там не предвиделось, с чего бы он именно сейчас вдруг решил приобрести эту штуку? Видимо, торговый автомат вызвал у него какие-то ассоциации, а купив презерватив, он все эти годы размышлял, как его использовать. И вот, видимо, решился.

– Мне легче поверить, что сам автомат воспользуется своим товаром таким вот образом, – сказал Я.

– Чушь, – заявил В.

Баронесса, округлив глаза, молчала.

– Это было в Париже? – спросил В.

– Не помню, – соврал Б.

– Если бы вы занимались подготовкой артиллерийских позиций, мысли А. были бы заняты делом, – объяснился интерес В. к тому, где именно имело место данное происшествие.

– Это было в пору Больших Надежд, нам тогда воинственные мысли в голову не приходили, – ответил Б.

Баронесса посмотрела на В. с опаской: уж не припрятаны ли у него где-нибудь в пригородах Парижа еще пару “касамов”? Задетый добряк может быть опаснее злодея, подумалось ей. В. – самый молодой из членов Кнессета, он служил в элитной части Еврейской Армии. Однажды, будучи на сборах резервистов и уже подвыпив с товарищами в армейской палатке, он в доказательство своей мужественности пообещал, что раздавит пальцем большого крылатого таракана.

Веселая компания тут же отправилась на поиски. В темноте они растянули простыню и шли с ней против ветра, пока не услышали характерный слабый удар.

Изловленный таракан был доставлен В. Взглянув на него, В. едва успел выбежать из палатки, чтобы не обдать струей блевотины ее подрагивающую на ветру стену. С тех пор как Кнессету стало известно об этой истории, его члены подозревают В. в сочувствии пацифизму.

На следующий день выяснилось, что А. отпущен, но на телефоны он не отвечал и на очередном заседании Кнессета не появился. Лишь на следующей неделе Б. столкнулся в супермаркете с матерью А. Однажды она пришла на заседание Кнессета, когда это был еще вовсе не Кнессет и даже зеленый диван еще не был куплен. Она прислушивалась к доносившемуся субботнему хорошему пению йеменских евреев, приветствовавших приход невесты-субботы. Трудно сказать, разобралась ли она в тонкостях различий между идеологией и практической деятельностью Симона Петлюры и Степана Бандеры, но самозабвенное хорошее пение напомнило ей родную Украину, и, кивнув в сторону живой изгороди, отделявшей дворик съемной квартиры Я. и Баронессы от их “йеменских” соседей, она спросила:

– Эти не будут убивать евреев?

Теперь ей было ни до Йемена, ни до Украины.

– Я с первого взгляда на нее увидела и сказала А.-иньке, что эта женщина – хищница, хуже его бывшей жены. Но вы же знаете, как он умеет отмалчиваться. И вот они повздорили, и она заявила на него такое, – говорила она. – Слава богу, все позади, она забрала заявление.

После этого Б. сразу отправился на квартиру к А. и понемногу вытряс из него сведения о происшедшем. А. встречался с ней всего три недели, он ничего никому не рассказывал потому, что сомневался, может быть, мать права. Поняв, что так оно и есть, он решил расстаться с ней. Когда он сказал об этом своей новой подруге (видимо, в присущей ему математической манере, комментировал Б.), та просто взбесилась. На его искреннюю попытку как-то смягчить разрыв она выкрикнула: “Пошел к черту, кретин!” – и оттолкнула его, но сама при этом не то поскользнулась, не то подвернула ногу (она пришла на высоченных каблуках) и упала. На следующий день за ним прибыла полицейская машина. Сутки он отсидел в КПЗ, но она забрала заявление, сказав полицейским, что он, может быть, и не имел намерения ее насиловать, ей это, пожалуй, показалось, а толкнул он ее не так уж сильно, в общем, она не хочет давать делу ход. Видимо, полицейские быстрее меня раскусили ее и не стали с ней связываться, говорил А. мрачно. Еврейские женщины – сушие дьяволы. Тюремь этой страны набиты оклеветанными мужчинами, я успел там познакомиться в камере с одним таким, добавил он.

У партии, борющейся за права мужчин, видимо, появился еще один горячий сторонник, комментировал Б. А. сексуально ориентирован на тип женщины-мины, от коровьей лепешки до настоящей противопехотной. Такое заключение Б. вывел не только из этого случая, но и из собственных наблюдений за тем, на каких дамах задерживается взгляд А.-иньки. Женская половина человечества для него – хуже русской рулетки, которую сами русские называют американской. Любой его брачный сезон, говорит Б., должен проходить под неусыпным наблюдением близких. Отпускать его одного в мир, где свободно разгуливают женщины с надушенными арканами, все равно что отпустить лунатика гулять по сирийским минным полям на Голанских высотах. Представляя себе, продолжал злословить Б., как неохотно расставались с ним полицейские. Для них тотально законопослушный А. – идеальный подследственный: заяц с шеей жирафа, убегающий в низком кустарнике, охарактеризовал Б. своего приятеля.

N++; О ПРАВОСУДИИ

С оглядкой на свежую душевную травму товарища Б. все же поднимает тему правосудия.

– Столько разговоров о системе правосудия по телевизору, а у нас что, даже позиции никакой нет по этому вопросу? – говорит он. – Нам вообще есть дело до этого? У меня, например, украли “Субару”. Я тогда долго ходил вокруг места, где оставил ее, все не мог поверить, что ее нет. Поплелся в полицейский участок, спросил, может быть, я оставил ее в неподобающем месте и они ее отбуксировали? Полицейская – это была женщина – рассмеялась. Мы вообще не занимаемся буксировкой в этом районе, твоя машина уже на “бойне”, сказала она. Это была моя первая машина в стране, и хоть у нее к тому времени уже был поврежден задний бампер и левая передняя дверь, представить ее на “бойне” разбираемой на части мне было больно.

– А у нас сняли водопроводные краны и раковину в доме во время строительства, – сказал Я., – и нам пришлось заселиться, не дожидаясь электричества, чтобы оттуда не унесли еще чего-нибудь.

– По телевизору речь не об этом, – вмешался В., – там больше о том, кто круче – Высокий Суд или Большой Кнессет.

Я. вспоминает свои дежурства в “Добровольной Народной Дружине” во времена Советской Империи.

– Мы бродили по улицам, – говорит он, – с повязками на рукавах, как у нацистов, только без свастики, и мы ни к кому не приставали. Болтаться по улицам и беседовать было приятно, но иногда становилось зябко или сыро, и мы шли согреться в милицейский участок, к которому наша дружина была приписана. И вот там я обратил внимание на то, как быстро милиционеры разбирались со всякими забудыжными субъектами в мятой одежде. Их выпроваживали как надоедливых дальних родственников, родных, но опостылевших. Подвыпивший интеллигент, напротив, достаивался длительной аудиенции с подробным заполнением протокола. И вот тогда я понял, что милиционеры – тоже люди и общаться они предпочитают с приличными людьми. Я понимаю их, когда они целой бригадой следователей выясняют, куда именно положил руку министр, беседуя наедине со служащей министерства, какой именно пальчик коснулся какого в точности холмика. “А вторая рука, ну вспомните, неужели в это время приказ по министерству подписывала? Ах, так, в этот день у вас были месячные, поэтому вы вторую его руку больно прижали к письменному столу. А не то б и она скользила где-нибудь, как рука слепого скрипача, ощупывающая упругость струн... но вы ведь этого не хотели, правда?” Разве можно сравнить такую работу с работой какого-нибудь дурака-следователя, который возится с ублюдком-наркоманом, вырвавшим сумку из рук старушки? Ну, такой пусть и возится, дебил, с такими же кретинами, как он сам.

– “Больше исков – больше законников, больше законников – больше исков”, – приводит Б. где-то почерпнутую им юридическую мудрость. – Меня всегда удивляло, как при такой замечательной судебной системе, о которой рассказывает нам телевизор, существуют целые криминальные империи, сети торговли наркотиками и женщинами, подпольные игорные дома. Это ведь не иголки в стогу сена. При этом полиция утверждает, что ей такой швалью как домашние воры вообще заниматься не стоит – на следующий день судьи выпускают их на свободу. А что происходит с журналистами, всегда такими едкими? Когда дело касается судебной системы, они становятся державными, как Верховный Судья. Может быть, судьи и вправду так мудры, что в каждой судейской семье выращивают одного-двух журналистов прикрытия?

– У меня долго не шло из головы дело, – сказал Я., показывая рукой на свою голову, из которой не шло дело, – об одной семье, где муж убил жену и, будучи приговоренным к пожизненному заключению, снова женился, передал квартиру новой жене, после чего та выставила из квартиры двух его дочерей от убитой им жены. “Дыра в законе”, – разводили руками юристы. “Дыра в законе”, – повторяли за ними журналисты тоном, каким говорят о черной дыре в далеком космосе, и тоже разводили руками. Наверное, я не прав, но, когда говорят о “власти закона”, меня совсем не тянет закатывать глаза и делать такое лицо, как будто речь идет о девичьей чести моей бабушки. Или будет общественность беспомощно разводить руками по поводу бессмысленно, но законно растраченных миллиардов, но если поймать кого-нибудь на краже коробки спичек в супермаркете, то уж теперь его от правосудия ничто не спасет. Или вот один британский политик в ответ на упреки англичанам, не дававшим выжившим в Холокосте добраться до Палестины, сначала объяснил политические резоны, а затем добавил: “Правосудие и справедливость не всегда совпадают, и англичане это хорошо понимают” – и тонко улыбнулся в усы. Я не англичанин и никак не могу постигнуть, что означает эта фраза и почему этот англичанин подчеркнул ее значимость такой тонкой улыбкой. И вообще – в сентенции о верховенстве законов мне чудится что-то глубоко тоталитарное и бездушное. Формальная система, бюрократичная, дорогая, подверженная многочисленным остановкам и притормаживаниям, умеющая наваливаться на один избранный объект и не замечать другого, – эту-то систему убеждают нас окутывать ореолом святости? Ореолом пусть не святости, но хотя бы искреннего уважения, я, пожалуй, готов окутать совесть, но никак не систему правосудия. Совесть следует ставить выше правосудия, – заявил Я., очень гордый своей душевной привлекательностью, ставшей в этот момент столь очевидной для всех.

Он самодовольно улыбнулся. Он, кажется, готов сделать сногшибательное заявление.

– Великая англосаксонская цивилизация, – говорит он со значительностью в голосе, – в этой области породила нечто противоположное себе самой – неповоротливого, малоэффективного монстра.

– Я за коллективную ответственность, – выпаливает вдруг А.

Все смотрят на него с удивлением. Как это связано с его недавним приключением? Кажется, никак. Он дешево отделался. Но ведь далеко не всегда все так счастливо заканчивается. Ему запросто могли бы навязать досудебное соглашение с парой месяцев общественных работ. Он так одинок, думает Б., может быть, ему было бы хорошо посидеть еще недельку. И чтобы его с жаром защищала

эта красавица-адвокатесса из телевизора, опекающая мафиозный клан. Впрочем, мафиозным называют его тележурналисты, и между прочим, без всякого на то юридического основания.

– Знаете, – Я. вступается за А., – может быть, в этом и есть что-то. Может быть, это тот самый саморегулируемый на самом нижнем уровне механизм, подобный механизму свободного рынка в экономике, который и в экономике не всегда красив, но без которого не получается. – Я, наверное, не сторонник правового общества, – добавляет Я., – или, может быть, уж слишком сдвинуты пропорции между законами и традициями в сторону законов, – поправил себя он. – Ведь представьте себе, если бы эта талантливая адвокатесса жар своего темперамента и силу своего убеждения потратила в школьном классе, а не в зале суда, ей-богу я и сам бы пошел в этот класс и сел бы за первую парту.

– За первую парту лучше посадить А., – заметила Баронесса.

– Он высокий, посидит на последней, – Я. явно увлекся, и Баронесса считает необходимым вступить за закон.

– А ведь ты сын адвоката, – замечает она.

– Отец был забавным адвокатом, – ответил ей Я. – О своей работе юридического консультанта на предприятии по производству уж не упомяну чего он отзывался с пренебрежением, называл ее перекалыванием денег из одного большого кармана в другой, видел в ней скорее что-то вроде спорта. А домой к нему, бывало, заглядывали всякие бедолаги, укравшие коробку спичек в магазине. Он их за коробку спичек, а может, и бесплатно подучивал, как увернуться от навалившейся на них судебной машины. Богат он, как ты знаешь, не был. Правда, дело было в Российской Империи Большевицкого периода, деньги не были так уж важны по причине их всеобщего отсутствия.

– Между прочим, и пенитенциарная англосаксонская система ни к черту не годится, – заметил Б. – Она только размножает преступников. А ведь у англичан же был и другой опыт. Мне чрезвычайно интересна бывшая каторжная Австралия, где злодеи получили еще один шанс построить заново свою жизнь в условиях изоляции, а не сидеть в клетках и отвечать оскалом на щелчки бичей. Австралия сегодня, говорят, самая флегматичная страна в мире, где не только почти забыли о преступлениях, но даже не рыгнут в лицо в баре. Я, правда, там не был, но так говорят, – добавил он. – Скучнее, чем в Австралии, только в Швейцарии, единственное развлечение там – спускаться на лыжах с гор. В Австралии, правда, есть скачки лилипутов в сумках кенгуру.

– Никогда не слышала о таких скачках, – удивилась Баронесса.

– Ну, значит, это мне пригрезилось, – ответил Б., – значит, там и этого нет, и уж подавно – скука смертная. – Б. даже зевнул, заразившись от собственного красноречия.

– Отчего же англосаксы этого не исправят? – интересуется Баронесса.

Как женщина, она вправе задавать такие вопросы.

– Не забывайте, – говорит Я. в задумчивости, и его взгляд, кажется, устремлен куда-то поверх правосудия, – англосаксы ведь и генетически – те же немцы, только их, в отличие от немцев, заклинило на свободе.

Что-то, кажется, все же надломилось в прямом А. после ареста. В его рассуждениях о юридических аспектах системы налогообложения – теме, которую он неожиданно поднимает, – проявляется этот его изменившийся подход к жизни.

Укрывательство от налогов не должно рассматриваться как уголовное преступление, заявляет он. Одно дело – украсть у частного лица, совсем другое – увильнуть от поборов государства, которое потом эти средства расходует так, что воровство кажется меньшим злом. Инстинкт уклонения от налогов – такая же естественная общечеловеческая слабость, как любовь. К попавшемуся на неуплате налогов нужно относиться как к жертве несчастной любви. То есть обязать его заплатить налог и штраф, конечно, нужно. Но после этого – пожалеть, погладить по голове, успокоить. Сказать, что эта дама недостойна его высокого чувства, в следующий раз все может сложиться гораздо счастливее. Есть что-то глубоко фашистское в сладострастии, с которым набрасываются на жертву несчастной любви к своим, не чужим, деньгам. А. теперь выглядит возбужденно-приподнятым, что уж совсем на него не похоже.

Б. внимательно смотрит на приятеля. Он складывает два плюс два: А. недавно сделал ремонт в квартире. Он наверняка нанял левую бригаду и теперь терзается угрызениями совести, а еще больше – страхом попасться и угодить в рецидивисты. “Рецидивист А.-инька”, – порой ласково называет его теперь Б., при этом А. неизменно бледнеет.

“Сложные девушки”... Легче всего представить их сидящими вполборота, с улыбкой, подразумевающей свободу. Они вполне могут сказать что-то такое, от чего их сокурсники почувствуют себя еще младше, еще неопытнее. Отчаянно молодые люди будут подстегивать свою незаурядность, но понапрасну, их подруги все равно будут казаться старшими сестрами, которые сейчас ласково потреплют им вихры и уйдут в мир зрелых мужчин. В их манере сидеть была искусственность, которую мы принимали и ценили.

Когда Я. впервые встречает будущую Баронессу, она – первокурсница, на два года младше его, и он тут же начинает называть ее “зеленкой”, стараясь нарастить разрыв. Сидит она прямо, болтает ногами, край очень короткой юбки прижимает к стулу между коленками одной рукой, а иногда и двумя. Она, не смущаясь, молчит и внимательно слушает его, не улыбаясь. Она вообще мало улыбается, сразу начиная смеяться. И он старается вовсю, чтобы еще и еще раз услышать ее смех, ведь ее смех – это его признание.

Ее одежда не имеет никакого отношения к моде. На ней короткая шубка и сапоги. меховая шапка-шлем с меховыми шариками на длинных шнурках превращает ее совсем в школьницу. Она постоянно скользит на снегу, и после двух падений он уже не отпускает ее локоть. Он позже будет, возвращаясь к тем дням, высказывать ей насмешливые догадки по поводу причин этого странного скольжения, она же будет упорно обвинять гладкие подметки австрийских сапог, попавших на украинский снег. Австрийские сапоги, прежде чем были надеты на ее ноги, сделали крюк, придя в посылке из Еврейского Государства. Этот крюк не следует афишировать, объяснили ей родители. Но они ничего не сказали о марках на конвертах писем, приходивших оттуда же, и она однажды принесла их в школу, где кто-то о заграничных связях семьи прилежной и ответственной девочки, выбранной за эти качества комсоргом класса, тут же догадался. Впрочем, времена на коммунистическом календаре уже были вегетарианско-диетические. Престарелый вождь по складу своего характера не был зол и последние остатки коммунистической агрессивности выплескивал в стрельбе по кабанам. Никаких неприятностей не последовало, полномочия комсорга класса остались за будущей Баронессой Еврейского Государства. Еще несколько лет эти сапоги должны будут неизменно скользить на снегу, пока не будут заменены югославскими. Югославия, все знали, в те времена – ни нашим, ни вашим, и подметки у их сапог несколькокие.

В темноте улиц он ловит иногда ее взгляды искоса снизу вверх. Для этого глаза открываются шире, получается это естественно. Техника намеренного кокетничанья (“в угол, на нос, на предмет”, – расскажет она ему позже о своих упражнениях перед зеркалом) ею освоена не была. Ей напели уже о нем что-то хорошее, ее бабушка утверждает, что он из “хорошей семьи”, и она сама прочла недавно книжку о знаменитом физике. Они спокойны, эти взгляды, в них нет ни осторожности, ни отчужденности. Он тогда еще не знает, что страсти и закравшиеся в мысли соблазны никогда не отражаются на ее лице. Видимо, сформированный ею на ответственной должности комсорга класса кодекс девичьей чести сковал навсегда лицевые мышцы, ответственные за передачу этих сигналов во внешний мир. Позже Я. научится распознавать эти движения ее души по охватывающей ее легкой замороженности. Зато ее легко смутить и рассмешить, и уж тут он уверенно жмет на педали.

В провинциальном ресторане звучит музыка. Здесь, среди сигаретного дыма и подвыпивших офицеров, появляемся и мы, тогда еще совсем молодые. А с нами эти волшебные создания, которым предстоит стать настоящими женщинами, для чего они обменяют тайну своего удивительного строения на нашу жажду знаний о нем. Когда она сбрасывает ему на руки шубку, под ней оказывается широкий пояс, стягивающий талию, как корсет, все та же короткая юбка и обтягивающая кружевная блузка. Явно ненамеренная простота одежды дополняется короткой неизощренной стрижкой. Она не умеет растягивать ресторанный ужин на весь вечер и съедает ее почти сразу, вина почти не пьет. Тут-то и подходит к столику первая жертва их будущего единства. Она долго смеется галантности, с которой он встретил ее несчастливому кавалера. И он начинает осознавать – что-то очень серьезное для них обоих происходит в этом ресторанном зале.

Она пахнет духами “Красная Москва”. Затосковав однажды, он попросит ее надуть им письмо. Пришедший авиаконверт содержит письмо с подтеками как от слез, а его запах заполняет комнату студенческого общежития, как пар русскую баню. Жидкость, которой она мажет лицо и от которой так жжет губы, называется “календулой”. Она, по ее словам, улучшает кожу лица, которая, как и само ее лицо, по его мнению, ни в каком улучшении не нуждается.

Вступая в отрочество, он не раз обращался к Провидению с просьбой, не позволит ли оно ему подглядеть в щелочку, как выглядит его будущая жена.

И вот теперь он спрашивает у Провидения тихо:

– Не она ли это?

– Она, – ответ Провидения.

N++; WHITE ANGLO-SAXON PROTESTANT (WASP)

– Мы говорим цивилизация – подразумеваем Америка, говорим Америка – подразумеваем WASP.

Уж не засобирился ли Б., скроивший эту фразу по лекалам раннего коммунистического энтузиазма, в Америку, интересуется Кнессет.

– Перегретый сионизм запросто приводит людей на постоянное место жительства в Лос-Анджелес вследствие переизбытка чаяний, недостатка терпения и разочарования в идеалах, – поясняет Я.

– Нет, – отвечает Б., – не засобирился, я только воздаю должное. Окончательный поворот корабельного курса Еврейского Государства в направлении Нового Света в сионизме имеет то же значение, что Возрождение для Европы.

Б. прав, соглашается Я., история Еврейского Государства очень любопытна в этом плане, продолжает он. Родившись из европейского национализма, социализма и европейского же Холокоста, оно медленно, но определенно американизируется. Младшая Сестрица тайком мажется помадой Старшей, копирует перед зеркалом ее походку, нацепив на плечо М-16, распевает ее боевые гимны. Как и Америка, Новое Еврейское Государство заложено горсткой сумасшедших героев. Любопытно, наша страна, кажется, единственная в мире, которая любит Старшую Сестру совершенно искренне. Это идет из глубины, из произнесенного признания, что именно по ее правилам соблазнительно жить. Мы любим Старшую Сестру за принесенный ею в мир непревзойденный азарт жизни.

– В любви есть элемент зависимости, – заметил А. мрачновато.

– Любовь не обязательно бывает взаимной и вечной, – добавляет Б., следя, чтобы на его лице не отразились никакие эмоции.

– Что делать, – резюмирует Я. и замолкает так, чтобы ясно было, что он не просто умолк, а умолк со значением, предполагающим, что каждый из присутствующих возьмет тайм-аут на размышление.

Он продолжил после паузы.

– Американская модель оказалась идеальной питательной средой для евреев. По сути своей Еврейское Государство – это американская модель в национальном варианте. И в этом плане оно, кто знает, вполне возможно, является следующим этапом в развитии цивилизации, связывающим американскую идею свободы со старым подтягивающим корсетом национальной идеи, отмытой от нацизма. Что же касается взаимности, то это, как и в любой любви, качели, подвешенные на оси времени, – опустятся, поднимутся. Да и не так много у Старшей Сестры знакомых, в такой же степени помешанных на свободе.

– Я предлагаю вместо всех использующихся индексов состояния государства ввести в употребление один, универсальный – индекс эмиграционного баланса с Америкой, – сказал А.

– Здорово! – воскликнула Баронесса, отметив, что А. давно пора поощрить.

– А вот, кстати, Япония, – заметил ободренный А. – Ведь и она мононациональна и тоже устроена неплохо.

– Там это все-таки замешено, кажется, не столько на свободе, сколько на чисто японском понятии долга. Где евреи и где долг? К тому же евреи два тысячелетия находились на западной кухне, – сказал Б., – то в качестве дрожжей, то в качестве отходов, то в качестве топлива.

– А мы в детстве мечтали бросить дрожжи в сортир, посмотреть, что из этого получится, – сказал Я. с оттенком мечтательности, который порождает воспоминания детства.

Б. посмотрел внимательно на Я., который, кажется, все еще был погружен в ностальгию по детству, в которую он так неожиданно окунулся, и заметил ему не без злорадства, что насчет дрожжей в сортире он сейчас сказал двусмысленность весьма недипломатического свойства.

Я. вернулся из детства и, ощутив весь груз ответственности за каждое произнесенное им слово, заносимое в протокол заседания Кнессета, стал оправдываться.

– Во-первых, дрожжи сами по себе ненамного съедобнее и ненамного лучше пахнут, во-вторых, мы ведь сейчас не на Западе, а на Востоке, – сказал он.

– Час от часу не легче, – сказал Б.

Баронесса посмотрела на Я. с иронией, и он сначала засуетился, желая оправдаться, но потом промолчал, вид у него был озадаченный. Баронесса заносила его слова в протокол. Как ты говоришь, политкорректность – это гладить по головам и мыть руки? – словно спрашивала она его всем своим видом.

Члены Кнессета молчали, прислушиваясь к далекому звуку сирены, – знаку наступающей субботы для ортодоксов, для членов Кнессета – метроному, отсчитавшему еще неделю их жизни.

Услышав сирену, В. вдруг задумался, посмотрел на большие цифровые часы, показывавшие 19:17, потом спросил Я., нет ли у них под рукой английского словаря. Словарь оказался, В. заглянул на страницу с алфавитом, произвел какие-то расчеты и сказал:

– Так и есть – туз плюс две шестерки – 23, одна сирена – 1, время – 19:17. Итого: 23, 1, 19, 17 – WASP. – Округлое лицо В. приняло выражение начинающего шулера.

Существует стойкое предубеждение, что шулеры должны быть узколицы, подумал Я.

– Что за мистика? – поинтересовалась Баронесса.

И остальные смотрели на него вопросительно, насмешка на их лицах будто приоткрыла слегка дверь квартиры: что за глупый скандал на лестничной площадке этажом ниже?

– Тут небольшая история, и, если хотите, я вам ее расскажу, – сказал В.

– Конечно, расскажи, – попросил Кнессет.

РУССКИЙ WASP ИЗ РОДА В.

– Речь пойдет о моей русской бабушке, я вам о ней уже немного рассказывал. Отец ее, мой прадед был из тех, кто, как теперь говорят, сделал себя сам, и за заслуги должен был получить дворянское звание, как это было с отцом Ильича, но тут начались революции, и он уже видел в этом не доставшемся ему дворянстве ну как бы...

– Перст providения? – спросил Б.

– Что-то вроде этого, – согласился В. – Революции он сочувствовал, хоть и был против жестокости. На следующий день после того, как красные взяли город и он решил, что уже безопасно, вышел он на прогулку и, проходя мимо собора, заглянул туда и ужаснулся – там лежали мертвые. Он разглядел погоны. Он тогда вроде как убедил себя, что это погибшие в боях еще не убраны, хотя зачем было убитых офицеров отделять от солдат и свозить в собор? А бабушке моей сказал: “Русская элита гибнет, держись теперь поближе к евреям”. Когда я стал старше, и бабушки уже не было в живых, я задумался: он ей про евреев всерьез сказал или это была мрачная ирония. Спросил у матери, а она ответила мне, что впервые слышит об этом от меня. Значит, если она матери вовсе не стала рассказывать, то это была, скорее всего, ирония. Бабушка же этот якобы наказ отца выполнила буквально.

Ну вот, была у них семейная легенда–быль о вероотступнике в их семье, который формулу Великого Инквизитора, как ее потом Достоевский формулировал, “тайна, чудо, авторитет”, не принял. Он искал Бога без посредников – в труде, в свободе. Семья на эти его поиски смотрела косо, мода на то, чтобы доставать своего Бога как расческу из бокового кармана, тогда еще не привилась, и он со своей верой отделился от семьи, уехал куда-то, да так и пропал. В революции видел прадед мой сначала эту трицу, Бог, Труд и Свобода, бабушке моей об этом говорил. Ну, потом разобрались, конечно, но не о том речь.

Так вот – бабушка. Я помню ее уже совсем старушкой. Днем она сидела в кресле-кровати, на ночь кресло для нее раскладывали, потому что квартира была маленькой и тесной. Говорят, в глубокой старости люди возвращаются к языку, на котором говорили в детстве. Я слышал, здесь в домах престарелых вдруг заговорит старушка на идише, польском или русском, и ее дети, тем более внуки, не понимают ее. А моя бабушка вернулась к пасьянсам, раскладывала карты. И вот однажды лил с утра проливной дождь, гроза. Я от скуки играл с нашей пятнистой кошкой. Знаете, бывают такие – все будто в желтых и черных заплатках на белом фоне. Как раз в тот момент, когда я пытался достать ее кочергой из-под дивана, сверкнула молния. Я повернулся к окну и увидел, что бабушка как будто испугалась, откинулась на спинку кресла-кровати, карты выпали у нее из рук, часть упала на пол прямо передо мной, и только три были открыты – туз и две шестерки. Я бросился к родителям и по пути увидел настенные часы. Они, естественно, были не цифровые, как эти, – показал В. рукой на часы, – но положение стрелок я точно запомнил – было 19:17.

– Ну и ну, – хотел было Б. продолжать иронизировать, – значит, кочергой из-под дивана ты извлек Бога, Труд и Свободу?

В. так смущенно улыбнулся, что Б. не стал продолжать.

– Бог, труд и свобода? – переспросил Я. в задумчивости.

– А знаете, у меня есть идея, как разделаться с Ближневосточным кризисом, – неожиданно заявил В., казалось вне всякой связи с предыдущим.

К этому заявлению все отнеслись с серьезностью. Хотя разрешение Ближневосточного конфликта с помощью мистики (присутствующие решили, что тут,

видимо, будет какая-то связь) представляется Кнессету Зеленого Дивана не более чем забавным, но ведь все остальное уже испробовано и не дало никаких результатов. Впрочем, как оказалось вскоре, план В. с мистикой вовсе не связан.

МИРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В. ПЛАН ПЕРВЫЙ – ПРОЧНОСТЬ ТРЕУГОЛЬНИКА

Пока В. сосредотачивался и пил чай перед тем, как произнести речь, которой, вполне возможно, предстоит стать исторической, Б. заполнил паузу своими рассуждениями.

– И христиане, и мы многое поняли за последние две тысячи лет, – сказал он. – В нашей практической жизни мы давно уже идем с ними по одной и той же дороге, живем по тем же принципам, и, значит, хотим того или нет, – идем к одной цели, даже если не вполне понимаем, в чем она состоит. Нас самих преследуют уже скорее тени призраков, чем сами призраки, нами больше движут эмоции и обидные воспоминания, и я предлагаю заключить с христианским миром священный пакт, например, о Свободе Бога, которому мы обязуемся не навязывать больше собственные толкования его намерений. И подписание этого пакта отметить особо помпезным актом – например, маршем Вашингтон – Иерусалим через Нью-Йорк и Тель-Авив.

– Там, кажется, океан по дороге, – напомнила Баронесса.

– Как-нибудь переплывем, – отмахнулся Б., – было бы желание.

За этой заполненной паузой все как будто забыли о В., и он напомнил о себе покашливанием.

– Собственно, я думаю в том же направлении, – сказал он. – Наш спор с Соседями имеет уж очень линейную форму, в нем просто заложена конфронтация. Я предлагаю вместо прямой линии использовать очень устойчивую геометрическую фигуру – треугольник: такой, какой ставят на дороге позади автомобиля, если нужно сменить проколотое колесо.

– Что это значит? – А. напоминает о себе, раз члены Кнессета коснулись геометрии. Особенно, когда ею пытается манипулировать В., свешивающий ноги со скалы жизненных установок, в той ее части, которая окрашена А. в предупреждающий желтый цвет. Эта область обозначена им как зона легкомыслия.

– Я предлагаю вернуть в регион крестоносцев, – сказал В. осторожно.

– Организовать орден Крестоносцев-Сионистов? – спросил Б.

– Именно, – ответил автор инициативы. – В конце концов, они ведь тоже часть местной истории. Провозгласить нужно не одно, не два, а три независимых государства – наше, Соседей и Крестоносцев-Сионистов. Ведь в этом споре важны не столько территории, сколько идеи. Если территорий не хватит на земле, можно построить искусственные острова в море, как в Японии.

– Сионовенеция на пол Средиземного моря. У меня тоже есть идеи на этот счет, – сказал Я., – но об этом потом, а тут и в самом деле количество враждующих сторон, – увлекается он идеей В., – возрастет с двух до трех, наступит полная сумятица и неразбериха, и нет более надежного места, чем то, где царят сумятица и неразбериха.

– А для начала, – предлагает Б. к новому плану свои добавления, – в завершение марша Вашингтон – Иерусалим подарить Крестоносцам-Сионистам Назарет, а Соседи подарят им Вифлеем.

– Для начала, как только просочатся в прессу слухи об этом плане, нам нужно будет где-нибудь прятаться, – сказала Баронесса.

– От кого прятаться? – спросил В.

– От всех! – ответила Баронесса с уверенностью.

Я. смеется – средиземноморский климат благоприятно сказывается на способности к воображению.

– Впрочем, – Я. вдруг стал серьезен, – ситуация может и так повернуться, что приглашение христиан-евангелистов в страну станет неизбежностью. Кто знает? Жизнь полна сюрпризов. Сказали бы мне лет двадцать пять назад, что Большевицкая Империя может развалиться в одно мгновение, я только посмеялся бы – бетонный шар можно перекатить с места на место, но разрушиться он не может. И вот случилось же. Уж если суждено делить страну с кем-то, что, между прочим, всегда имело место в этих краях, не лучше ли делить ее с теми, кто ждет от этого наступления царства Божьего, чем с теми, кто царство Божье видит в том, чтобы утопить нас в море?

– Вы, между прочим, вели речь о “Боге, труде и свободе”. И как же с первым пунктом, – интересуется Баронесса, – что с Иисусом?

– Движение и свобода божественны сами по себе, – парирует Б. – Нам важно, что путь, нащупанный WASP, как перчатка к руке подошел еврейскому духу. Да и Иисус – он ведь нам тоже не совсем чужой. Ему повезло – его раскручивали Петр и

Павел, самое успешное еврейское рекламное агентство всех времен и народов, – поясняет Б.

НАСЛЕДСТВО Я.

Я. думает, что в своей книге он не коснется следующих поколений. Он не станет писать о детях. Детям нужно помочь встать на ноги и рассказать о себе. Свою жизнь они выстроят по собственным правилам, сами расскажут о ней. Так рождаются семейные саги, так движется мир. Так даже, может быть, создаются роды с их историей, гербами, домами, построенными на наследственной земле, даже если этой земли хватает лишь на маленький дом с небольшой лужайкой. Разве для благородства нужен королевский указ? Его растят в себе. Разве для этого нужно состояние? Достаточно неунижения бедностью. Нужно достоинство, нужна независимость, для благородства необходима свобода. Дар свободы и бремя ответственности создают защитные бастионы устойчивости. Устойчивость делает человека беспечным. Здесь много беспечных людей, и этой обретенной беспечностью они ни за что не пожертвуют, считает Я.

ШХУНА ЛЮДЕЙ

Нужно нам попытаться понравиться изысканным европейцам каким-нибудь поэтическим описанием, насыщенным словесными пилястрами и контрфорсами в русском стиле и еврейской манере, решил Я., прочтя хорошую книгу европейского автора и непрестанно размышляя о возможностях политического сближения с Европой. А решив, написал:

У меня глаза глядят от глядения,
У меня вот здесь болит от ранения,
У меня усы растут от волнения,
Пробуждает меня – удивление.
(Я. из неопубликованного)

Здесь, между прочим, никаким постмодернизмом еще и не пахнет и все еще пока понятно. А уже и после этого сочиненного им четверостишия ходил он гоголем, неделю слышать не мог “на холмах Грузии...”. Пресно, говорил. Но грустнел, объясняя свою грусть тем, что стихи в этом плане – вещь ужасно невыгодная. В них слишком много позволено, и потому трудно отличиться. Но зато из самых завалищих стихов можно выкроить совершенно незаурядную прозу. Возьмем что-нибудь попроще. Например, вот это:

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом...

Прежде всего, нужно выбросить рифму. Проза и рифма, как гений и злодейство, – вещи несовместные. Итак, начнем. “Лукоморье. Зеленый дуб”. И вот мы уже в интеллектуальной ловушке – мы ведь понятия не имеем, что такое это “лукоморье”. Здесь слышатся слова “лук” и “море”. Это толкает нас к осознанию инвариантности всего сущего. Это может быть и море лука, и лук в море. И дубы ведь не растут у моря. Какой мощный образ. Феллини. Девять с половиной. Литература для писателей. Не этот ли зеленый великан стряхнул с себя по осени лук в море? “Золотая цепь тяжело свисает с его ветвей”. Ну, этот полунамет мы уловили сразу. В наши утонченные времена, с нашим чутким вкусом как можно не уловить, что только полный дуб может навесить на себя тяжелую золотую цепь. И мы сочувственно пожимаем плечами. Мы сочувствуем несовершенству флоры в не меньшей степени, чем несовершенству людскому. Человек и природа – едины. Но продолжим. “Серый кот в черной мантии и черной же треугольной шляпе с кисточкой мягкими шажками крадется вдоль золотой цепи”. Стоп. К каким ассоциациям подталкивает нас автор? Всякий кот, самый серый, самый полосатый, с самого появления своего на свет божий знает об этой жизни все, что требуется о ней знать. Ему учиться – только свою самодостаточность разрушать ржавчиной людских проблем. Нацепив на него аксессуары людской образованности (сам кот этого ни за что бы не сделал), автор подготавливает нас к глубокой трагедии духа. Боже, как это увлекательно – творить сложную, многозначную прозу, богатую аллюзиями, реминисценциями, парафразами, эфеминизмами!

Там, на далеком горизонте, где, кажется, кончается лук в море, мы различаем шхуну. Она плывет. Ее паруса наполнены ветром человеческих исканий. Эта шхуна настоящая, а вы как думали?

N++; О БОЛЬШОЙ БОМБЕ

В отличие от миллионов и миллионов людей на Земле, знающих о Большой Бомбе Еврейского Государства только из газет и телепередач, все члены Кнессета Осведомленного Созыва неоднократно ездили на автобусе к Красному морю в Эйлат и по дороге видели серебристый купол Храма Загадки Еврейской Большой Бомбы. Ее (бомбы и загадки о ней) испытания регулярно производятся на полигоне Соседского воображения. Раз в год ставит вопрос о Бомбе в Организации Объединенных Наций лично Большой Фараон. Нации выражают обеспокоенность. Если бы не Старшая Сестра с ее успокаивающими сеансами мирового психоанализа, быть бы Большому Скандалу. Молчит по этому поводу Император Острова Пингвинов, потому что это его предшественники делали вид, будто передают Еврейскому Государству выкройку жандармской фуражки, а не секреты Большой Бомбы. Он не любит об этом вспоминать, чтобы не навлекать на себя гнев Соседей, а мы, утверждает Кнессет Зеленого Дивана, любим, – и по прямо противоположной причине.

– На Храмовой горе есть очень похожий купол. Только золоченый. Там не прячут Большие Бомбы с золочеными головками? – шутит Баронесса.

– Да ладно! Мало нам Безумного Аримана, – порицает Кнессет Баронессову шутку и, переводя разговор на персов, отвлекается на убийство Грибоедова. В этой теме Кнессет Зеленого Дивана находит утешение, утверждая, что вот ведь не во всех неурядицах в мире виноваты евреи, кое в чем виноваты армяне. Ведь именно защищая армянина, погиб русский поэт Грибоедов, труп которого еще три дня волочили по улицам возбужденные персы. А отсюда плавно скользят мысли Кнессета к внешней политике Российской Империи.

– Увы, – сетуют члены Кнессета, – жителям Еврейского Государства, не связанным происхождением с Российской Империей, она по международному шаблону, с удовольствием поддерживаемому самими русскими, представляется непредсказуемым бурым медведем, который чем дольше не покидает берлогу, тем лучше для всех. Ведь никогда не знаешь, что сулит тебе встреча с ним. Хоть он и зашиб мощной лапой нацистского монстра, и он же, свернув лапу в кукиш, показал его Старшей Сестре, помогая образованию Еврейского Государства. (Ради этого самого кукиша, конечно.) Увы, затем годами он делал ставку на Соседей, рычал, не отпуская будущих жителей Еврейского Государства в Америку. Теперь вот завел хитроумные шашни с потомками царя Кира, двухсотлетняя власть которого (его и его потомков) над Землей Обетованной в давние времена, между прочим, не оставила ни одной еврейской жалобы в протоколах полицейского участка истории.

– Что ж, выпьем за царя Кира, однажды вернувшего нам Иудею, – налил Б. бокал Баронессы. – И за Петра Великого, который рубил окно в Европу, где хорошо и прохладно. А не прорубался в жаркий Ближний Восток, на котором только тускнеет и портится медвежья шкура.

N++; ШПИНАТ, КОЛБАСА, ХОЛОКОСТ

– Я утверждаю, что антисемитизма, как такового, вообще не существует в природе, – неожиданно заявил Я., соорудив хитрую физиономию.

Это заявление было встречено как ничего не значащее вступление к чему-то другому, с подвохом. Или как подвох к чему-то оригинальному, появление чего перед слушателями непременно должно начаться со скандала, подобного удару ноги, выбивающему входную дверь. И только Б. мысленно сравнил это вступление с веселеньким четверостишием, которое американский автор непременно поместит в качестве эпиграфа к популярному учебнику компьютерного языка Си для чайников.

– А что есть? – вежливо поинтересовался А.

– Что есть? – переспросил Я. – Есть, например, охотничий инстинкт. У евреев есть удивительная склонность вечно ставить себя в положение дичи. Мир – не филиал Гринписа. Нужно быть готовым оскалить пасть с настоящими клыками...

– И выпустить когти, – добавил Б., взглянув на Баронессу.

– ... а не только проповедовать охотникам питание салатом из шпината, рыгнув со страху паштетом из гусиной печени, – закончил Я. прерванную приятелем фразу. – Тот факт, что евреям порой удается занять удобное место за чужим столом, – продолжал он, – не делает этот стол их собственностью. Но немедленное их желание состоит в том, чтобы естественностью своего поведения и непринужденностью своего участия в застольных беседах создать у владельцев стола ощущение, что новизна положения заключается не в нарушении привычного

ритуала, а в придании ему восхитительной новизны. В хозяевах стола это будит порой охранный инстинкт собственника, особенно у хозяев, страдающих косноязычием.

– Пройденный этап – мы ведь здесь, – сказал А. не без гордости и даже не без еще более нехарактерного для него оттенка самодовольства.

Б. улыбнулся. Соус его улыбки включал близкие по вкусу слабые ингредиенты скепсиса и насмешки, но ощущался и более острый привкус хищного самоедства.

– Я много раз слышал историю о том, как на всякий случай была занята очередь за документами на отъезд, на отправку багажа, – сказал он. – Очередь подходила, нужно было решаться. Очередь в USA выглядела соблазнительнее, но двигалась медленнее. Ну и решались. А здесь нас ждало определение: “колбасная волна”. Колбасной выглядела она и по форме. Она продвигалась палочка за палочкой, колбаска за колбаской. Я тоже был частью этой исторической связи, – закончил Б., немного понизив голос.

– Старик-Премьер буркнул тогда: “Ну и пусть колбасная. Бойцов мы из них сделаем здесь”, – напомнил Я. – И выставил на дороге в USA заградительный блокпост.

– Прав был Старик, – согласился Кнессет, вспомнив Старика, о выделении средств на содержание которого в доме для престарелых бурно спорила в это время Денежная Комиссия Большого Кнессета.

– Как прав оказался во времена Большой иллюзии, тоже буркнув с экрана телевизора: “Море – то же море, Соседи – те же Соседи”. Мы его тогда не любили за эти слова, – добавил Я.

– Очень не любили, – подтвердила Баронесса.

Кнессет Зеленого Дивана без всякой просьбы со стороны выделил некоторую сумму для Старика. По предложению Баронессы.

– Мы отвлеклись, – говорит А., – а как же Германия, как же Холокост?

– Германия – одно из самых неподходящих мест для евреев, – говорит Я.

– Высадите евреев на Луне, и Луна станет для них неподходящим местом, – Б. произносит эту фразу без энтузиазма, чувствуя, что время ее прошло.

Широкому кругу читателей, например, из Российской Империи, никогда не бывавших на Святой Земле и не встречавших там в изобилии своих бывших соотечественников, следует пояснить, что вновь прибывшие жители Еврейского Государства, особенно вскоре по приезде, бывают склонны бравировать антисемитизмом и умением пить водку (или виски, но об этом потом). Например, с большим удовольствием они употребляют слово “жид”. Это – часть бравады евреев новой формации на первом этапе их формирования. Потом это резкое слово понемногу исчезает из их лексикона, пополняющегося множеством приятных местных словечек, как-то: “балаган”, “бардак”, “халтура” и “кибенимат”, которые в иврите не имеют падежей и потому выглядят вполне натурализованными.

А пока мы рассуждали на отвлеченные темы и знакомили нееврейского читателя с особенностями процесса, именуемого в Еврейском Государстве химическим термином “абсорбция”, означая прикрепление и подмешивание с целью дальнейшего в нем растворения высыпанных в Государство новых ингредиентов, Я. стал серьезен.

– Никогда не забуду свой первый день памяти Холокоста здесь, – сказал он, – когда остановился вдруг поток машин на автостраде, люди вышли из них и стояли молча, а из сотен автомобильных приемников выли сирены. Я замер и осознал тогда, что только здесь это не еще одна прививка терпимости. И где еще позволят себе каприз не играть Вагнера потому, что его играли в концлагерях?

– Постой, ты ведь, кажется, учился на Дону, в казачьей станице? – спрашивает А., выпускник Московского университета. – Что же, и там не было никакого антисемитизма? Казаки и евреи – это ведь хрестоматийная парадигма еврейской истории.

N++; О РЕКЕ ДОН И КАЗАЧЬИХ ДЕВАХ

– А вот представьте себе, что и там я его не обнаружил, – продолжил Я. – О евреях они что-то не очень лестное слышали, но к конкретным субъектам прикладывать эти сведения не умели. Правда, я чувствовал там себя одиноко. Что-то вроде негра, случайно забредшего в женскую баню в Швеции. То есть первая инстинктивная реакция дам – прикрыться веничками, шайками. А потом – ничего, привыкают: не пялятся, не пристает, ну и пусть... Я написал об этом маленькую сценку на языке Си. Чтобы ее понять, нужно знать, что язык Си строится из функций. Одна функция вызывает другие. Представьте, – еврей в казачьей станице городского типа (эта станица все же была городского типа, уточнил он определение А. места своей учебы). Идет трамвайчик. Вот он проходит поворот, дзинь-дзинь-дзинь, пш-ш-ш. На остановке открывается задняя дверь, и в нее входит кенгуру. Пишем сначала пять функций. Вот они:

```

ВзглядПервый()
{
    И в открывшуюся дверь;
    Странный проникает зверь;
};

ВзглядВторой()
{
    Глянь-ка, глянь-ка, я не вру;
    В двери входит кенгуру;
};

ВзглядТретий()
{
    Он на первый взгляд горбат;
    И немножечко пархат;
};

ВзглядЧетвертый()
{
    Ты посторонись немножко;
    Он тебе отдавит ножку;
};

ВзглядПятый()
{
    Мы привыкли к обстановке;
    А вначале ведь неловко:
        - вдруг он стукнет;
        - вдруг он пукнет;
};

```

Теперь объявим функцию:

тип нашиюныегоды ПроездВтрамвае (типа воспоминание);

Из нее вызовем написанные ранее функции:

```

ПроездВтрамвае (легкая грусть)
{
    ВзглядПервый();
    ВзглядВторой();
    ВзглядТретий();
    ВзглядЧетвертый();
    ВзглядПятый();

    ВЕРНУТЬ грусть;
}

```

Так мы получаем проезд трамваем от студенческой столовой до студенческого общежития, а читатель – начальные сведения о языке Си.

– Расскажи нам еще о казачьих девах, о которых мы читали в великом Донском романе, – начинает очередной подкоп Б., – неужели за пять лет у тебя там не было ни одного романа, я прямо так и вижу этих роскошных Донских сирен, кровь с молоком.

– Донские девы худы, консервативны и хороши собою, – несколько мрачно и коротко ответил Я. – Только под самый конец учебы в нашем общежитии появилась одна неконсервативная особа, и ту мы дружно пытались пристроить замуж за одного лопуха-студента по кличке Экстремист.

– Удалось?

– Увернулся.

– Так что, тебе так ни одна казачья дева и не приглянулась? – не унимается Б. “Вот стервец”, – думает Я., спиной чувствуя интерес Баронессы к своему возможному рассказу, а еще больше к его возможной тональности.

– Ну почему же. Нравилась все (Я. умеет быть политкорректным), но больше других нравилась одна девушка, у нас с ней была духовная близость.

– В чем она выражалась? – лопата Б. уткнулась снизу в бетонный пол семейного счастья этой парочки.

– Мы вместе читали “Игру в бисер” Германа Гессе.

– Роман без единой женщины! Как это должно сблизать родственные души! И тут ты – такой странный, такой одинокий, – Б. принялся уже за бетон.

“Вот засранец, – думает Я. с уважением, – хорошее у него, однако, чутье. Ведь к духовной близости Баронесса относится с большим подозрением, чем к физической”.

И сейчас он улавливает ее неподдельный интерес и к своему рассказу, и к его тональности. Светло-серые глаза чуть прищурены. Пусть коллективное чтение Германа Гессе происходило далеко и давно, но портьера над дверью на балкон и букет цветов на картине над изголовьем, по-видимому, смогут спокойно заснуть вместе с людьми. Сегодня у них, скорее всего, не будет повода любопытствовать.

Впрочем, и в другие ночи и дни они не могут поделить с креслом на балконе, у которого не всегда есть возможность заглянуть в спальню, впечатлениями о сногшибательных трюках любви. Та ночь, когда казавшиеся огромными в темноте глаза горели исследовательским энтузиазмом, а губы шептали: “Должно быть что-то еще”, давно прошли.

– Становится душно, давайте поставим столик в саду и посидим на свежем воздухе, – предлагает Баронесса, прерывая сомнительную беседу.

Б. выходит на воздух в приподнятом настроении. Пол не проломлен, но инструменты подкопа под семейную идиллию Я. и Баронессы, которые он понесет на плече, сегодня не кажутся ему слишком тяжелыми.

Каждый день заканчивается ночью. Так же закончился и этот день, когда разошлись члены кнессета. Расставлено по местам все, что было сдвинуто. Развешено по крючкам все то, чему положено висеть. Накормлено мусорное ведро остатками пищи парламентариев. Только сосредоточенно бурлит и вздыхает посудомоечная машина. Принят теплый вечерний душ, и вот последней гасится лампа на прикроватной тумбочке.

– Если ты проснешься утром и обнаружишь рядом с собой горстку пепла, – говорит Я., – знай – я сгорел от несчастной любви.

Я.

Нет, тут ему нечего опасаться, решает Я., и уже не в первый раз. Б. не страшен. Больше всего Я. побаивается чьей-то внезапной, но хорошо подготовленной мужской незаурядности, способной вызвать в ней удивление на фоне спокойной повседневности их совместной жизни. Он опасается: вдруг тормозная система ее женской консервативности не успеет сработать? А потом, обнаружив, что первый незаметный психологический бастион ее чистоты разрушен, она замечется в панике и черт знает, чем все это закончится. Если после первого приступа этого воображаемого опасного “некто” у нее будет время, какой-то таймаут, уверяет он себя, – включатся механизмы самозащиты, она сбежит, приклеится к какой-нибудь другой женщине, от которой ее будет не оторвать, превратит все в шутку и тут же расскажет ему обо всем, отрежет тем самым все пути, сожжет корабли, как это бывало и раньше. Он достаточно хорошо знает ее, говорит он себе. А в случае с Б. с самого начала не было никаких шансов. Во-первых, не было ни повседневности, ни спокойствия. С момента приезда сюда и в период первого знакомства с Б. они были поглощены выживанием. И выживали, держась друг за друга. Для третьих не было места. Эмиграция беспощадна к слабым семьям, но закаливает семьи сплоченные. Они еще больше сплотились. В свое первое посещение Иерусалима они не видели друг друга через барьер, разделявший мужчин и женщин у Стены Плача. Но чувствовали друг друга. Ведь если выстроить ряд из их матерей и отцов глубиной в две тысячи лет, то они вдвоем, Баронесса и Я., первыми коснулись этой стены. Они авангард, занявший очень важный для них плацдарм. Для предполагаемых далеких потомков они будут чем-то вроде Авраама и Сары из семейного пантеона. Так что для Б. момент безнадежно упущен. Да и он об этом, по-видимому, хорошо знает, иначе не был бы так откровенно смел.

Это может стать вариантом, если я внезапно умру, предполагает о себе Я. А если, например, тяжелый инсульт, который превратит меня в полудиота? – продолжает он эту цепочку, и ему очень хочется ее оборвать тут же, но он идет будто по краю пропасти. Он был очень горд собою в альплагере, когда, стоя на краю пропасти (со страховкой, конечно), чувствовал, что ничуть не боится этой бездны и никакого тайного желания прыгнуть в нее не испытывает, а знает твердо, что стоит, охваченный веревкой, и может стоять так столько, сколько захочет. И все же – вот они, Б. и Баронесса, катят кресло на колесиках с безразличным идиотом, который, кажется, иногда что-то понимает, хотя врачи говорят, что нет. Впрочем, на 100% они гарантии дать не могут, они все же не Адонай Элоэину Мелех А Олам. Не они создавали этого идиота, который когда-то был человеком, а теперь способен только на то, чтобы создавать проблемы для тех, с кем еще ничего

подобного не случилось. Как же она решит эту проблему? – думает Я. В ней будут бороться очевидная целесообразность, такая ясная для ее прямого видения мира, и какой-то неопределяемый, но малопроеходимый для нее барьер. Б. выигрывает в темпераменте, считает Я., но у него, у Я., острее зрение, он различает в своей жене гораздо больше оттенков, и она, без сомнения, это чувствует. Если она все же решится, эта сравнительная убыль может все разрушить. Все, хватит. Что за мазохизм?

А как это связано со сном, который его угораздило рассказать ей, не подумав, сразу после пробуждения? Уж очень он был озадачен этим сном. Во сне она пришла к нему и заявила: это произошло с ней всего один раз, но она беременна. “Ну, если один раз...” – ответил он во сне и, проснувшись, был так потрясен тем, что хотя бы и во сне мог так ответить. И почему она так радостно смеялась тогда? (“Зар-э-жу”, – говорил он ей в шутку, и маленькая девочка с деланным испугом прижималась к нему, заглядывая ему в лицо широко раскрытыми честными глазами. Значит, все же отчасти верила, какой-то маленький зверек самосохранения внутри нее велел ей опасаться.) “Ничего не изменилось. Что за неприличный смех?” – спросил он ее, хмурясь. Любовь делает человека беззащитным, думает он. Еще одно какое-нибудь испытание, и он будет совершенно безоружен перед ней.

Никогда, никогда не скажет она ему прямых, не оставляющих никаких сомнений (или наоборот, рождающих их) слов о своей любви. Таков ее кодекс чести. Он должен довольствоваться невнятным утренним бормотанием, когда спросонья она требует, чтобы он еще пару минут не покидал постели, и потягивается, ревниво следя, чтобы не размыкались его объятия, или ее искренним недоумением, когда становится известным, что одной из ее подружек удобнее спать в отдельных кроватях с мужем. Ведь сама она согласна с наличием двух подушек, но никогда не примет двух одеял. Я. с удовольствием домыслил полушутливые, но и полусерьезные подозрения и ужас в ее глазах, если бы он предложил такое разграничение, мотивируя его спальным удобством и ликвидацией щелей, в которые зимой может проникнуть холодный воздух. Или вот в прошлую пятницу в мужском магазине он примеривал новые джинсы. Вместе с ним она глядела в зеркало на наружной двери кабинки для переодеваний, сузила глаза (это, видимо, помогает ей сосредотачиваться) и сказала уверенно и коротко: «Люблю тебя в джинсах». И он тоже сузил глаза и сделал вид, будто сфокусировался на джинсах и даже проверил, расправлена ли, не образует ли складок белая ткань боковых карманов (она только чуть-чуть посинеет после стирки).

Она, наконец, перестала смеяться над его страхом перед собственным сном и теперь смотрит на него сочувственно. Пора на работу. Но еще одну мысль он прокручивает, пока она скрывается в ванной: когда он умрет, как скажется на ней эта новая для нее пропорция, в которой – неизбежный довесок свободы, но и обрубок зрелой надежной любви, будто кто-то отвинтил подлокотники у привычного кресла?

N++; О ВОДКЕ И ВИСКИ

Надо отметить в скобках (скобки), что напрасно наливал Б. вина Баронессе. Попытки Я. привить ей некоторые привычки “сложных девушек”, то есть пить, курить и ругаться еще в давние годы потерпели фиаско. От табачного дыма пума кашляет, от коньяка морщится, а ругательства в ее устах звучат как любовное стихотворение, выученное послушной девочкой и декламируемое ею со стула.

Со вступительным словом к Кнессету Зеленого Дивана обращается Я.

– Жители Еврейского Государства, происходящие из разных уголков Российской Империи, – начинает он, – безусловно, продолжают традицию, но мне, тем не менее, хотелось бы отметить новые тенденции, наметившиеся в их отношениях с Зеленым Змием. Мне кажется, что у них появилось желание почувствовать себя кем-то, чьему настоящему героизму они втайне немного завидовали и свидетелей коему не имеется в Еврейском Государстве. Поэтому – так велик соблазн присвоить себе лавры подлинных героев. Вторая особенность состоит в том, что старой традиции придан новый блеск: теперь, выпив, жители Еврейского Государства непременно садятся за руль, чего они никогда не делали в Российской Империи, даже если у них был автомобиль. Впрочем, желающие могут видеть в этом пример торжества сионистской идеи, ее раскрепощающего влияния на еврейские души. Это оттеняется даже наметившимся массовым отходом от водки к виски. Живой по своей сути процесс не может стоять на месте, у него есть своя мода, динамика, свои пристрастия, у новых его летописцев – своя риторика, свой апломб.

– Что-то происходит и с евреями Российской Империи! – заметил Б. – Того, кто станет регулярно смотреть телевизионные передачи оттуда, поразит факт повального пьянства среди еврейских граждан страны. На телевидении еврейском я легко отличу общественного деятеля, чьи корни в Европе, от выходца из стран

Востока по характерному признаку: если при звуках восточной музыки он начнет покачиваться в такт или, того хуже, – прихлопывать в ладоши, то есть доступными ему средствами имитировать музыкальный оргазм – этот точно из Европы. А в программах российских, обратите внимание, кто рассказывает с экрана о том, как здорово выпить с друзьями, как лихо они это делают? Вот только на телевидение они сейчас пришли совершенно трезвыми из уважения к телезрителю. Сплошь евреи!.. Если будете в гостях в Российской Империи и вас разберет любопытство узнать, еврей ли перед вами или есть ли у него еврейские корни, затейте разговор о водочке, холодненькой такой, из запотевшего стаканчика. И если глаза его загорятся, мечтательно затуманятся, если им овладеет воодушевление, знайте: перед вами еврей, полный или частичный. Напротив, если он смолчит или если в глазах его появится глухая тоска – перед вами гражданин Российской Империи, ничего общего с евреями не имеющий.

– Не всегда он будет непременно молчать, – не соглашается В., – иногда он скажет, скажет так, что содрогнутся души. В. загрустил.

Члены Кнессета, конечно, поняли сразу причину его грусти и тоже загрустили об ужасной кончине Венички Ерофеева, описанной им самим.

Они наполнили бокалы.

И умеренно выпили.

ЕЩЕ О ЛЮБВИ, ЕДЕ И ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ТОВАРАХ

Дамская сумочка, которую Я. купил будущей Баронессе ко дню рождения в первые годы их совместной жизни, была очень хороша. Она была благородно-коричневой, в ней не было ничего лишнего, и в то же время была она так восхитительно сложна карманами на кнопках, отделениями на молниях, строгой платиной рисунка на черной материи подкладки. В сумку уложены помада, тушь для ресниц, пудреница с зеркальцем. Это все, что было известно Я. о содержимом сумки, поскольку именно эти предметы иногда извлекались из нее, чтобы привести внешний облик жены к установленному ею для себя уровню женской собранности. Вообще же Я. знает, что внутренность сумочки – это святая святых, символ женской суверенности Баронессы. Он знает также, что его никогда не попросят достать что-нибудь оттуда. Не будет большей глупости с его стороны туда не то что лапу сунуть, но даже заглянуть. Однажды он все-таки подглядел, что там нашлось место для стихотворения. Не то ли это стихотворение, которое он посвятил приготовленному ею плову? Он пообещал тогда, что столько же рифмы набьет в стихи, сколько в плове будет мяса. И вкус стихов тоже будет соответствовать. Как там было?

Прошиблен пот, и полон рот.
Тебя б обнять, расцеловать,
Но мой разбух живот и вот –
Не встать и губы не достать.
Я плов твой ел и захотел
Тебя объять и приласкать,
Но ослабел, осоловел,
Хочу теперь я спать и спать.

На замечание, что “спать и спать” – это не рифма, а жульничество, он возразил, что мясо с мясом – это не жульничество, а плов с большим количеством мяса, а спать можно по-разному, и он ее в отместку все равно критиковать не станет. Оценив его благородство, она пообещала, что раз плов он съел, то и стихотворение его она выучит наизусть.

– Это такая отравка! – говорит Я. в задумчивости.

– Что именно? – спрашивает с удивлением Баронесса.

– Любовь к женщине, – отвечает Я. с актерской грустью.

Кулинарные способности жены, как и ее красоту, следует восхвалять непрестанно. К стихам о красоте нужно подходить серьезно, слова должны полыхать искренностью, нежить изысканностью. Поэзия кулинарная может быть приготовлена наспех, ведь и еда семейная – без особых претензий.

Забуть, поверь мне, не могу
Твое чудесное рагу.
Милей нет съеденной до крошки
Тобой изжаренной картошки.
И если мерзкий ловелас
Вдруг на тебя положит глаз,
Юлит, твои он хвалит глазки,
Плетет затейливые сказки,

Не верь! О милая моя!
Тебя люблю всех больше –
Я.

Нет, эти простенькие шутки она вряд ли станет носить с собой. Значит, что-то другое. А может быть, там вовсе и не его стихотворение, вдруг думает он. Ну нет, даже если бы такое существовало, она скорее положила бы внутрь змею. Ведь содержание сумочки должно соответствовать состоянию ее души, а душа ее, чья телесная оболочка хоть не может быть застрахована от соблазнов, думает Я. и зачеркивает, зачеркивает эту мысль, – не терпит двойственности.

В первый год их совместной жизни она показала ему пачку писем влюбленного в нее сокурсника. Он посылал ей цветы и письма. Она с сомнением протягивает Я. одно из них. Он читает только несколько строк и возвращает письмо. За неумелыми словесными конструкциями проступает неподдельность настоящей любви, мрачный огонь неразделенного чувства. Им обоим становится не по себе.

Он женился, у него несколько детей, узнают они через несколько лет с облегчением.

У них еще очень мало вещей, купленных ими самими. Так что у каждой – свой вес. Вечером, перед щелчком выключателя, отменяющим электрическое освещение спальни и приглашающим тьму, чуть разведенную светом уличных фонарей, она прощается с сумочкой.

– Покойной ночи, сумочка, – говорит она, укладывая ее в ногах, и Я. улыбается в темноте. Ведь прощаясь с сумочкой, она остается с ним.

N++; НЕ ВЕРЬТЕ КРЕЩЕНЫМ ХАЗАНАМ

– Русские люди, – немедленно воспламеняется Б., – не верьте крещеным хазанам.

Призрак Разоблачения навевается в этот момент в Кнессет Зеленого Дивана, как порою удостаивает своим посещением полиция компактное сообщество индивидуумов, занятых противозаконной деятельностью. В голливудском фильме это приведет к ряду сочных словосочетаний и зорко схваченных камерой резких перемещений действующих лиц по экрану. В русском – к отчаянию, как результату осознания неизбежности наказания за такое же неизбежное преступление. В действительности Еврейского Государства на лицах этой компании отразится крайнее удивление – не тем, что полиция опять все напутала. В этом как раз ничего удивительного нет. Удивительно, что это опять происходит с ними, честнейшими гражданами, достойными всякого уважения, патриотами своей страны. Например, вот сидит невиннейший Хаим Леви – член центра Партии Горячих Патриотов, а это – честнейший Ицик Коэн, в прошлые выборы он предложил свою помощь в избирательной компании Стронникам Мира.

– Ты поясни сначала русским людям, кому им не верить, – вступает дотошная Баронесса. – Хазаны – это синагогальные певчие.

– Только, пожалуйста, не бейте их, просто не обращайтесь на них внимания, – вдруг спохватывается Б.

Я. чувствует слабинку Б. и тут же пускается его дразнить. Он комментирует:

– “Поют крещеные хазаны,
Россия движется вперед”.

Он склонен к поэтическим интерпретациям. Кроме того, он, кажется понятие «крещеных хазанов» пытается расширить так, чтобы оно охватывало все формы еврейского приспособления к русской жизни. Б. это понимает и продолжает пятиться:

– Их ведь где-то по-человечески можно понять. Когда-то в Революцию перед ними раскрылись потрясающие перспективы. Как было устоять?

– На жалость бьешь? – ехидно интересуется Я. –

“...Дед параличом разбит,
бывший врач-вредитель”

– выводил бы бородавки у кибуцников в Палестине, глядишь, и паралича бы не было, – насаждает Я. – А лечил Кремлевских тиранов в Москве – какай под себя и молчи.

– Многие ведь искренне заблуждались, – слабо возражает Б.

– Искренность легко достигается самовнушением, – веселится Я. и декламирует горячо и возвышенно, легко протягивая исторические связи от революционных русских евреев к евреям русским же, но следующих поколений:

“время битве за социальную справедливость
и время борьбе за свободный рынок,
время очереди в Мак-Дональдс,
и время громить обнаглевших пиндосов,
время крушить богов,
и время постигать христианские ценности”

– Сколько же в тебе яду, – смеется Баронесса.

“Именно это тебе и нравится в нем”, – думает и не смеется Б.

– Так что же, – в силу своего происхождения все мы были обречены быть в Российской Империи в какой-то мере крещеными хазанами, пятой колонной, “малым народом”, отклоняющим титульную нацию от естественной траектории? – А. ставит вопрос во всей его логической наготе.

Задумываются все, в том числе Я. Членам Кнессета, восседающим на зеленом диване в геометрическом центре Еврейского Государства, защищаемого Еврейской Армией, незачем кривить душой, и они как будто даже рады, даже стараются отыскать в себе пороки крещеных хазанов, как ищут правоверные евреи хлебные крошки перед песахом. Это, впрочем, не мешает телевизионному комику Еврейского Государства предлагать использование листа мацы в Песах в качестве подноса для хлеба. А стопку уложенных друг на друга листов мацы пробить одним ударом головы.

Вакцину русской литературной классики вперемешку с Джеком Лондоном, Бальзаком и Драйзером они, кучка одноклассников Я., колют прямо в вены строящихся организмов. В уже вполне осознающейся ими атмосфере фальши Российской Империи Большевицкого периода – это главная из доступных прививок цивилизации, должных помочь каждому из них выстроить в себе человека. Впрочем, зерна фронды Империи можно было найти еще раньше – в те блаженные годы, когда Я. начал вывязывать бантом на шее пионерский галстук, а зерна ее развала – в снисходительной улыбке учителей, делавших вид, что этой вольности они не замечают.

Первый раз вопрос верности и измены Я. решает для себя, узнав о “разумном эгоизме”. Еще не прочитав Достоевского, он ставит перед собой вопрос о верности друзьям и людям вообще. Он рационален, Он примеривает на себя эгоизм, он примеривает на себя “злодейство”. В пробных шагах к “злодейству” Я. ощущает интуитивно, но устрашающе ясно холод отчуждения и одиночества. Он пугается и возвращается обратно, поняв, что человеку такая жизнь не по силам, она его непременно разрушит.

Так же рационально через несколько лет он решает для себя вопрос об адюльтере. Он спрашивает у работающей с ним новенькой, что она думает о предложенном им подходе к решению стоящей перед ними технической задачи. Во взгляде темных глаз нельзя ошибиться. “Тут нечего добавить”, – отвечает она тихо, и даже оттенка притворства нет в ее словах. Я. задает себе вопрос: есть ли рациональная причина для супружеской верности? Нет, отвечает он себе. Сумею ли я скрыть от жены небольшой роман? Да. И? Не хочу создавать у себя в мозгу перегородку, которая будет стоять между мною и ней, не сразу отвечает себе Я. Он остановился на таком ответе, не считая его окончательным, но и в дальнейшем неизменно приходил к тому же результату.

И вот теперь ему приходится решать вопрос о верности в третьей его ипостаси. Вопрос об эмиграции. “Ехать или не ехать”, – формулируют этот вопрос еврейские анекдоты. “Уедут или не уедут?” – поглядывают на них их нееврейские друзья. Давным-давно, в день, когда передавались важные новости, взрослые, оторвавшись от радио, обнаружили, что годовалый Я. исчез. Его вскоре нашли под кроватью, он играл ручкой хранившегося там чемодана. Следует ли видеть в этом происшествии перст providения?

Когда он вышел в отставку из детства с его вспышками искренней детской ксенофобии, жизнь стала мягче. Только изредка встречались на его пути следопыты жидомасонских заговоров. К счастью, они делили этот интерес с интересом к летающим тарелкам. Интерес к летающим тарелкам, наверное, подогревают евреи, чтобы отвлечь народ от поисков жидомасонского заговора, поделился он своей догадкой с будущей Баронессой. Но это неверная тактика, считает он, – у кого имеется склонность к поиску летающих тарелок, тот рано или поздно наткнется на жидомасонский заговор.

Они как можно раньше уходят с работы, чтобы следить по телевизору за бурными поворотами начавшихся Перемен, которым они горячо сочувствуют. Они торопятся, чтобы успеть прочесть хлынувший поток литературы, ранее недоступной. Пик единения с Обновляющейся страной приходится на известие о смерти Сахарова. Я. не в состоянии справиться с комом, стоящим в горле.

Впервые в руки Я. попадает Библия. Он читает ее непредвзято, сбросив на ноль все, что знал о боге, с надеждой, а вдруг и он найдет там ответ на основной

вопрос жизни – зачем все? Это продолжается до книги Иова. После нее он продолжает читать тексты, отпечатанные на тонкой папиросной бумаге, следя уже только за поворотами истории человеческого исканий. Он не первый и не последний, кто не проходит экзамен Иова на поступление в светлый мир веры, где всем, как известно, должно быть тепло. Вера – не нефть, она никогда не закончится.

Тем временем выплывают счета по долгам еврейских комиссаров. Я. никогда не стрелял в белых офицеров. Правда, один из двух дедов Я. получил, согласно семейной легенде, в подарок сапоги от самого Буденного и сочувствовал Троцкому. Другой был интендантом у белых (правда ли это?), а потом занимался контрабандой на советско-польской границе. Этому можно верить, Я. помнит, как отец брил деда опасной бритвой, красные полоски порезов, прямые сверху, размытые снизу, появлялись на его лице. Отец тихо, но отчетливо матерился сквозь зубы, а дед продолжал сидеть, словно каменный в своем молчании, – качество, необходимое контрабандисту, он ни разу не попался. После его внезапной смерти от инфаркта по городку разнесся слух, будто он так и не рассказал никому, где закопал золотые царские червонцы.

Хотя Я. и его жена родились и выросли в вегетарианскую пору большевизма, когда он уже потерял вкус к свежей крови и перешел на пареные овощи унылых коммунистических молитв, во времена, когда евреи уже давно вычищены из всех пор власти, счета за большевизм иногда прямо, иногда косвенно, кажется им, приходят все же на их адрес. Когда часть этих счетов начинает приходить с той стороны, которую они считали своим прочным тылом, от жрецов литературной традиции, у Я. появляется чувство, что лодка под ним вот-вот перевернется. Он снимает с полки энциклопедию, отыскивает в ней буквы еврейского алфавита и с неожиданно проснувшимся интересом начинает заучивать их. Каждый раз, когда предъявляется очередной иск, жена стискивает его руку, и наконец она произносит: “Едем”.

– Не наводи тень на плетень. Она небось сказала и испугалась, – иронизирует сосед, которому Я. рассказал о решении Баронессы. – Будет тебе прятаться за женской спиной.

Я. так не считает. Да, это он затем педантично и настойчиво, пункт за пунктом готовит отъезд. Но цепочку его рассуждений и доводов можно повернуть и так и этак. Мгновенное интуитивное взвешивание, произведенное его женой, он ценит выше своей аналитики.

После принятого решения вовсе не становится легче, их охватывает безотчетная грусть. В гостинице, где они проводят выходные с товарищами по работе, бесконечно крутят “...прощай, Америка, прощай...”. Они прощаются не с Америкой, но в горле – горький ком. Почему?

За ними так никто и не пришел среди ночи, не вытащил из постели, не бросил на них косых взглядов. И окружение их оставалось тем же, то есть состояло из людей, которых можно было определить в диапазоне от просто нормативно хороших до отдельных превосходных, а были и совсем милые, как, например, сокурсник Я., который, учась на втором курсе, купил себе на месячную стипендию очень хорошую фотовспышку, надеясь по окончании института на зарплату купить фотоаппарат, или та мечтательная из его юности девушка, которая, как нечаянно выяснилось потом, так в жизни никому, никогда и ничего не дала. (Грубоватая двусмысленность этой фразы притормозила ход мысли Я., но поскольку это была только мысль, а не высказанная фраза, то Я. не стал трудиться, чтобы ее переделать, а оставил как есть.) Ну, положим, несколько смущали его четыре очень дружные женщины в отделе, потому что если четыре женщины дружны между собой, то сплоченная слабость ощущается как угроза. Например, они могут все вместе решить, что вы недостаточно часто ходите к парикмахеру, и прилепится к вам дурная слава человека, который редко бывает в парикмахерской. Из-за таких вещей можно, конечно, поменять работу, но ведь не страну! Да и по счастью женщины обычно дружат только парами, а две дружные женщины – это еще не сила. И все же Я. с женой уже знали, что теперь непременно уедут, и ком все же стоял у них в горле, и стоял, наверное, оттого, что они должны теперь сами встать среди ночи, покинуть постель и уйти. Такова логика жизни, считают они. И хоть вскоре замаячил перед ними соблазн жизни новой, простыни были еще теплы, а к энтузиазму предстоящего примешивалось сомнение, не выставлены ли они детьми, беспомощными дикарями на аукционе идей. Жаль было и тысячи нитей, которые они теперь должны оборвать навсегда.

Год, ушедший на получение вызовов, оформление документов, распродажу имущества, наполнен изучением языка и истории. Они с удивлением обнаруживают, насколько неверны были их представления: Еврейское Государство – не результат чьей-то жалостливой подачи, а история упорства, граничащего с фанатизмом и безумием. Библия обращает их и к давней истории. Шаг за шагом Я. начинает казаться (а может быть, так и есть), что он получает сейчас то, чего ему всегда не хватало, – он, считавший свою историю от деда, ощущает, как длинные нити корней уходят вглубь на три с половиной тысячи лет.

Грозные большевистские комиссары уже давно превратились в их глазах в пигмеев, смешавших величие со страхом и подлостью, отравивших свое и чужое.

Я больше не бросает бюллетеней в избирательные урны. Отклонять эту траекторию он больше не вправе.

Остается последний пункт сборов – объясниться с умирающим Веничкой Ерофеевым, по слухам, пославшим в журнал статью о крысах, покидающих тонущий корабль.

– Понимаешь, Веничка, у нас, кажется, действительно есть свой корабль. Правда. Без выебонов...

ПРОЩАНИЕ С ВЕНИЧКОЙ

“...приседать приседай, – сказал ты, – но зачем в ильича из нагана стрелять?” Как сородич Фанни, открою тебе секрет, Веничка. Так и быть. Тебе – открою. Она как раз присела, когда стреляла. Присела, потому что приспичило, а приспичило потому, что нервничала. Потому и не попала. То есть не совсем не попала, конечно. Она и не совсем присела, как выяснилось. Отсюда и брызги во все стороны.

– Отчего же не присела, отчего же брызги? – замотал головой Веничка от такого избытка деталей. – Объясни, в них, в деталях, – упоение жизнью что ли, ну да, упоение этой сучьей веревкой с петлей на конце.

– Открою, открою тебе – не каждый в Российской Империи способен парить в эмпиреях небесных, когда поднимается юбка в оборочках и оголяется и округляется на глазах чуть смуглая такая еврейская попка. Вот памятники великим русским писателям, загаженные голубями, так те, может, и продолжали бы смотреть равнодушно в пространство, в задумчивости скрестив руки на груди. А рабочий завода Михельсона, нет – не такой он мудила, чтобы в такой ситуации столбом стоять. Ведь и великий русский поэт Некрасов, по слухам, считал, что бабью сексапильность можно измерить количеством мужиков, желающих ущипнуть ее за задницу.

– Она что же, хорошенькой была?

– Да кто ж ее знает, и ведь сзади не видно, но с тех пор и обзаводились русские Мараты каждый своей еврейской попкой. Такая была русская пролетарская мода. Только Отец Народов не обзавелся – так ведь он и не русский. А от брачного союза русских Маратов и еврейских попок пошло новое племя. И они уж везде свои – то Россию за попку ущипнут, то в евреев понарошку прицелятся. А Фанни промахнулась, и не погиб ильич героической смертью, “свинцом сраженный”, а умер от сифилиса, как последний пидор.

– Значит, опять получается, что не евреи во всем виноваты, которым ничего чужого не жалко, даже не совсем чужого ильича не жалко с его крещеным дедушкой, а виноват русский мужик с его соблазном лапать чужое и щипать еврейскую попку.

– Получается, Веничка, воистину получается, – ответит Я. смиренно, очень смиренно, голосом Ангела страждущего ответит.

– А ведь по вашим законам внук еврея имеет право на возвращение на родину предков. Вот мы вам ильича прямо из мавзолея и погрузим на самолет компании “Эль-Аль”...

– Не выйдет, – ответит Ангел, и в голосе его мелькнет адвокатская нотка. – Внук еврея имеет, а внук крещеного еврея – нет. Ильича в аэропорту имени Бен-Гуриона обыщут на предмет наркотиков. Пачку газеты “Искра” – попросту в мусор, а Ильича (в аэропорту им. Бен-Гуриона – к именитым гостям – с уважением) – назад, в Мавзолей, на Красную Площадь.

– Есть коктейли, и есть коктейли, как сказал бы недостреленный ильич, – продолжает Я. свое мнимое объяснение с Веничкой. – Я по утрам рекомендую изящный, с искрами большого таланта коктейль “Русская Тройка”. Вот его ингредиенты:

1. “Перекаати-поле” А.П. Чехова. Это безобидно почти, это скорее вкус подготавливает.
2. “Жид” И.С.Тургенева. Тут, знаете ли, есть это особенное, тургеневское. Немец-генерал еврея-шпиона, сутенера собственной дочери, вешает, а русский офицер от этого зрелища бежит – жалеет.
3. “Тарас Бульба” Н.В.Гоголя. Это шибает по-настоящему, чтоб до самого обеда хватало.

– Но если кто до обеда дотерпеть не может, рекомендую, – говорит Я., – что-то вроде слабого аперитива, с которым в детстве выбегал я на улицы к соседским мальчишкам поиграть в футбол.

“Жид, жид, по веревочке бежит...” –
 пели веселые мальчишки.
 “Жид пархатый, говном напхатый,
 колом подбитый, чтоб не был
 сердитый”, – подпевал им и я.
 В этих строках что-то от южной
 прелести украинских ночей,
 правда?

– Ну, это никакой не аперитив, это скорее бутерброд с курочкой, – скажет Веничка. – Но что же ты чувствовал, как отозвался в тебе этот бутерброд, когда ты вступил в мятежную пору отрочества?

– Смятением отозвался, Веничка, колом в жопе я его почувствовал, – ответит Я.

– Ну а в футбол-то хоть ты поиграл, от футбола получил удовольствие? – спросит Веничка.

– Нет, не взяли мальчишки. Но не потому, что паршивый жиденок, ты не думай, просто в футбол я играл до того хуево, что дальше некуда.

Загрустил Веничка, посочувствовал, но встрепенулся, вспомнил и спросил:

– А что же к обеду? Ты скажи, мне ведь интересно, мне не терпится, – торопит Веничка.

– К обеду – “залп многотрубной Авроры”.

1. “Дневник писателя” Ф.М.Достоевского.
Там все начинается.
2. Письмо А.И.Куприна о евреях.
<http://www.keliya.ru/Statji/kuprin.htm>
Там все объясняется.
3. Переписка Астафьева с Эйдельманом.
http://lib.ru/PROZA/ASTAFIEW/p_letters.txt
Этим все заканчивается.

– Астафьев погорячился, – говорит Веничка.

– Эйдельман тоже, – соглашается Я.

– А что же к ужину? – спрашивает Веничка.

– А к ужину, – с чего и начали, А.П.Чехов. “Скрипка Ротшильда”.

– А-а-а, вот видишь, значит, было и понимание? Была любовь? А разве ты не любил?

– Ну положим, ну была любовь, ну любил и я. Что из этого?

ОТЪЕЗД – ПРИЕЗД

С чемоданами и баулами они приезжают на воспетый Великой Поэмой Курский вокзал. Чемоданы и баулы выдают их намерения. За ними пришла организованная их родственниками машина, но подошедший худощавый москвич объясняет ее водителю, что на проколотых шинах он далеко не уедет. Я. показалось, что спина стоящего неподалеку милиционера прислушивается к их беседе и изображает такую особенную улыбку, которую только и может изобразить спина милиционера. Путь в Еврейское Государство пролегает через спецрейс Курский вокзал – аэропорт Шереметьево по цене двухмесячной зарплаты, знакомит москвич ошеломленных провинциалов с принципами новой столичной экономики.

Их знакомый вернулся из командировки на Украину. Там все продают только по местным паспортам. Все, что он сумел привезти в подарок внуку – это кокарда железнодорожника. Как вы можете уезжать из такой смешной страны? – спрашивает он.

Поезд Москва – Варшава отходит от перрона. Игралось ли “Прощание славянки”, – Я. не помнит. Дальнейшая история Российской Империи пишется без ссылок на них.

Аэропорт Еврейского Государства выглядит так, как и должна выглядеть новая жизнь, – начищенно, празднично, блестяще. Я. приоткрывает окно в такси и, собравшись с духом, решается впервые в жизни применить на местности вновь выученный им язык.

– Ветер не мешает? – спрашивает он у водителя такси, обливаясь потом не столько от жары, сколько от волнения.

– Мешает, – отвечает водитель, и Я. послушно закрывает окно. Бог с ним, с окном, – восторженный взгляд жены с лихвой заменяет ему любые неудобства.

“Хорошее начало, ситуация под контролем”, – радуются они.

Насколько ситуация не под контролем, они начинают постигать шаг за шагом. Домик, в котором они поселяются, имеет два преимущества: первое – он стоит на земле, и они не заперты в четырех стенах, второе – чем ниже ты опускаешься в своем положении – тем почетнее будет подъем. Всю первую неделю жена, просыпаясь, обводит глазами окружающее убожество и снова погружается в сон. Не настолько приятны деньги, насколько отвратительна нищета. Как связаны нищета и унижение, они постигают, когда несут в свое гнездышко подаренную им потемневшую от времени деревянную кровать. В первом ульпане по изучению иврита их приветливо встречают товарищи по приключению.

– Красные дипломы или синие? – выясняют они вместе с учительницей.

– Синий, – признается жена и опускает глаза. Ульпан весело смеется. Красные и синие дипломы уже устроены – они подрабатывают мытьем полов в супермаркете, работой на мусорных машинах.

Нет, они к этому пока не готовы. Они богаты, в Польшу им удалось переправить 2300\$. Их передали им на вокзале в Варшаве. За эту сумму они ликвидировали свою предыдущую жизнь. На базарчике в Варшаве они продали портативный телевизор и две бутылки водки – еще 45\$. Эти деньги позволят им продержаться несколько лишних месяцев в поисках работы, думают они.

Вскоре веселый ульпан закрывают за недостатком учеников. В наследство от него они получают дружбу с Б. Новый ульпан смотрит на жизнь намного мрачнее. Гневные трибуны в перерывах между занятиями клеймят преступное Еврейское Государство, заманившее их в эту западню для какой-то неясной им цели, по-видимому, в качестве пушечного мяса. Обращает на себя внимание мрачный москвич, одинокий, явно на грани депрессии. Он молчалив, слушает других, но глаза его неспокойны. Он математик, выясняют они, иврит осваивает с трудом – ему мешает внутреннее беспокойство, чувство неопределенности и геометрический склад ума. Почувствовав в них твердую сцепку и устойчивость, он инстинктивно тянется к ним. Это – А. Разносятся слухи о первых самоубийствах. Появляются молодые ростки неприятия Востока. Непричисанная пальма в сознании новых граждан обретает статус символа всего восточного.

Первый раз пальма как символ встретила Я. в рассказе репатрианта 70-х годов. Его герой, в спешке увезенный женой от любовницы, с тоскою смотрит на север, опираясь на костлявый и ребристый ствол такой чужой ему пальмы. Ностальгическая любовь к мягким очертаниям раскидистых лиственных деревьев заполняет вдруг сердца новых репатриантов. Они верят в эту любовь порой так же безоглядно, как в то, что они действительно умеют пить водку.

Эти метания души чувствуются и в Тель-Авиве, где первопоселенцы усадили его улицы громадными фикусовыми деревьями. Своими кронами они отобрали у поселенцев небо, их корни тянут к себе асфальт дорог. Хищное дерево с яркими, ненасытными листьями и резкими очертаниями как будто приклеено к светло-дымчатой картинке тель-авивской улицы. Но здесь чувствуется и упрямство первопоселенцев – фикусовое дерево, по крайней мере так кажется, – мощнее европейских гигантов. Но в нем нет мягкости, нет воздушного рисунка на фоне редких облаков и чуть запыленного неба.

Нужно время, нужно много времени, чтобы почувствовать душу пальмы, ее стойкую неприхотливость. Нельзя увидеть годовые кольца лиственного дерева, не спилив его. Пальма не таит своего возраста, сначала она ошетиливается кочерыжками спиленных опавших, позже отваливаются и они, обнажая все те же кольца, которые досужему прохожему, скользнувшему взглядом от ушедшей к небу кроны вниз к земле, расскажут о временах ее молодости, напомнят о его собственной. Равнодушна ли пальма к солнцу, пыли, к выдохам автомобилей? Раздражается ли своим почерневшим внизу стволом, покрытым копотью когда-то вспыхнувшей у ее подножия сухой травы? Боится ли, что кто-нибудь заподозрит ее в культурном родстве с верблюдом и его презрительно-брезгливой философией? Или стойкость ее должна чему-то научить и нас?

Сам же Я. к своему новому отечеству в этот период относится трепетно. Он совсем не уверен, нужно ли запираеть, уходя, двери их домика, и уж, во всяком случае, окна в нем не закрываются на ночь никогда. Он болезненно воспринимает каждый недостаток, даже трещину на асфальте. К этой трещине наверняка уже мчится скорая дорожная помощь, страстно хочется верить ему. Он, кажется, удивлен отказом Баронессы возвращаться одной из ульпана через апельсиновую плантацию. Почему? В крайнем случае, ее угостят апельсином. Про этот апельсин ему особенно не хотелось вспоминать потом, когда же воспоминание приходило, он вздрагивал и благодарил Баронессу и бога, наградившего его жену природной

реалистичностью. Тогда же случилось, что Я. устроил мягкий выговор своему новому другу Б. за пренебрежительное высказывание о Востоке. В Питере была одна из лучших научных школ изучения Востока, говорил он укоризненно. Для образованнейших людей своего времени делом жизни становилось изучение восточной культуры. И даже в “казачьей станице городского типа” они с товарищами перечли все, что сумели найти из великолепных романов и повестей на восточные темы Мориса Симашко, о котором гораздо позже узнали, что жил он в Средней Азии и происходил из ссыльной семьи самого комического из всех возможных в Российской Империи брачных союзов – немецко-еврейского. И вообще, – целится он не столько в культурное великолепие еврейского анклава старой имперской столицы, сколько лично в своего друга Б., – у меня уже здесь, теперь, создалось впечатление, что после эвакуации во время Второй мировой войны значительная часть еврейско-питерской культуры осела в Ташкенте, а апломб и снобизм почти целиком вернулись домой в Ленинград. Б. соглашается и несколько мрачнеет. Да, говорит он, многие не вернулись, а многие и потом бежали от ревнивого прищуря стальных глаз. Но тут ему, Я., не роман Германа Гессе и не книги Симашко, которые он, видимо, тоже читал в компании той одухотворенной сокурсницы. Здесь Восток во всей своей первозданности. И пусть примет еще во внимание, добавляет он, высказывание его, Б., репетитора английского о том, что нам, “русским”, труднее акклиматизироваться в местных условиях, чем ему, американцу. Ведь мы в отличие от него приехали из практически монокультурной среды.

Баронесса осторожно и по мере возможности уважительно улыбается тому, как сжимается Я., увидев, что ребенок, бросивший обертку от мороженого на тротуар, не достаивается замечания со стороны своей матери, ведь он совсем недавно подобрал за Баронессой автобусный билетик, выпавший у нее из рук. А ведь даже и ей он не рассказал, сколько времени ежился от самых обычных скабранных шуток по поводу женщин. Ведь речь шла практически о сестрах, казалось ему. Прошло как минимум пару лет, пока он снова стал видеть вокруг женщин, а не сестер.

Составив по телефонному справочнику перечень возможных мест работы, они начинают обходить их. Я. обнаруживает, что ермолка, будучи портативной, отлично предохраняет голову от солнца. Вваливаясь в очередную по списку “контору” иногда с А., иногда с Б., он снимает с головы ермолку и осведомляется о наличии работы. На него смотрят с нескрываемым удивлением, он еще не осведомлен, что ермолка – неотъемлемый признак религиозного человека, который ее никогда не снимает. Светские надевают ее разве что на похоронах. Так же наивны оказываются и их представления о рынке труда. Возвращаясь из этих походов, в которых они экономят на автобусах, Я. опускает ноги в приготовленный для него женой таз с холодной водой и удивляется, почему вода не закипает мгновенно. Его жена тем временем принимает новое решение и приносит адрес, по которому ищут работника для уборки дома. Так она делает свой первый шаг к титулу Баронессы. На первую уборку они идут вдвоем. Утверждая свое главенство и ответственность в семье, Я. твердо и решительно идет к унитазу – это его первый унитаз, вымытый на родине предков. В этом году в Еврейском Государстве плохо с водой, слышали они по русскому радио, Я. заботится о водном балансе своего государства, и пока Баронесса драит стекла, он вымывает всю квартиру одним ведром воды, включая протирку. Хозяйка, следуя за ним по комнатам, удивленно щелкает языком. На следующую уборку приглашают только Баронессу, полы в следующий раз они вымоют сами, говорят хозяева.

В поисках заработка Баронесса идет в дом престарелых с неходячими больными. О том, что там есть работа, она узнала от зеленщика, у которого они покупают фрукты и овощи по бросовым ценам накануне субботы перед самым закрытием лавки.

– Но там, как бы тебе сказать, – каки, пипи. Сможешь? – вежливо улыбается продавец, глядя на женщину, которая, несмотря на эмиграцию, не выглядит подходящей для такого рода работы.

– Не сможет, – быстро отвечает за нее Я. и начинает расплачиваться, чтобы прекратить разговор.

– Смогу, – неуверенно отвечает Баронесса.

И хотя Я. относится к этой затее как к явному преувеличению, Баронесса отправляется на разведку, и следом за ней увязывается Я. “Бейт Камински” называется небольшой комплекс низких зданий, приютившийся среди зелени на окраине городишка, в котором они живут. Пройдя по опрятным дорожкам с цветами по сторонам, она осторожно заглядывает во входную дверь, и взгляд ее натывается на старичка в инвалидной коляске, чья нога импульсивно дергается. Баронесса отшатывается от двери, и Я., тоже заглянувшему в дверь, чтобы узнать, что так поразило жену, приходится едва ли не бежать, чтобы догнать ее. Намного позже он решается прокомментировать этот эпизод, введя в семейный лексикон определение “храбрый котенок”.

По протекции все того же зеленщика они идут вместе приводить в порядок садик при доме. Получив инструменты, они рывком бросают машину своего усердия вперед.

Слышен свист шин и вой мотора, разрывает воздух визг циркулярной пилы, ковш карьерного экскаватора вгрызается в скальный грунт, громадный насос откачивает воду из затопленного Нью-Орлинза, который русские именуют Новым Орлеаном. Все это – образ усердия приближающейся к сорокалетию пары бывших инженеров-начальничков (Я. приблизился больше, Баронесса меньше), вскапывающих землю, швыряющих сорняки в кучу. Это – образ усердия, выжимающего пот ручьями из их телесной оболочки. Они работают так, как, по слухам, на вольном Западе работают все вольные пахари. Их работодатели, муж с женой, ими явно довольны, после работы они приглашают их выпить с ними чаю. Они ведут светскую беседу, в конце которой сообщают, что намерены заплатить им не по 10, как платят обычно, а по 12 шекелей в час. Обе пары чрезвычайно горды собой и своим сионистским порывом. Возвращаясь домой, Я. и Баронесса проходят мимо лавки зеленщика.

– Заплатили? – спрашивает их зеленщик.

– Конечно, – удивляются они самому вопросу и любопытной улыбке зеленщика.

– Они персы (персидские евреи, конечно), – осторожно пытается он объяснить, но по-прежнему остается не понят Я. и Баронессой, а дальнейших объяснений политкорректный зеленщик им не предоставляет. Объяснение приходит гораздо позже из местных анекдотов, согласно которым персидским евреям приписывается особая прижимистость. Даже сыну-студенту денежные купюры, гласит анекдот, перс посылает по факсу.

Этой ночью им не удается заснуть, их тела ломит, гнет, и на следующий день работа уже идет совсем не так споро. Еще и участок земли, на котором они сегодня трудятся, гораздо жестоковейнее вчерашнего, сорняки оставляют в руках лишь свои пышные прически, а их упорные тела держатся за землю с настоящим сионистским задором, стремящимся посрамить Я. и Баронессу, евреев новой формации и железной закалки. Вредным растениям удается их злокозненный замысел. На лицах работодателей пронизательным трудящимся, воспитанным на высоких образцах русской словесности, известной своей тонкой чувствительностью, несложно прочесть выражение трагического разочарования. Молчат и те, и другие. Наконец, окончательно выбившись из сил, бывшие инженеры сдаются, они объясняют хозяевам возникшие неожиданные трудности с характером земли. Хозяева выражают понимание. Я. заявляет, что за сегодняшний труд он не может позволить себе просить больше восьми шекелей в час. Это заявление тоже воспринимается с уважительным пониманием. Чаю и беседы сегодня не будет. Они расстаются в суровом немногословии. Пустые головы уцелевших сорняков провожают их издевательским покачиванием, в котором столько едкого недоверия к изнеженным субъектам, которым дай бог удержать в руке шариковую авторучку с голубой пишущей пастой. Этой пастой, ее голубым цветом, одного с нашим знаменем, заполнен банковский чек. Патриотическая голубизна чековых чернил оплатит им их великий трудовой порыв.

В другой раз им было предложено помочь привести в порядок квартиру после ремонта. Как и было договорено, Я. и Баронесса предстали перед дверью работодателя в 8:00. Когда хозяйка квартиры, худошавая, стройная женщина, открыла дверь, по радио раздавались сигналы точного времени.

– Ну, вы прямо как солдаты, – сказала она одобрительно.

Уже через час-полтора работы она, скомандовав передышку, повела их на кухню и, прикуривая одну сигарету от другой, угощала завтраком, кофе и вела беседу уверенным и твердым тоном. Она из Польши. Чтобы поддерживать домашний порядок на должном уровне, она продала дом, с которым слишком много хлопот, и купила эту квартиру. Что здесь убирать, Я. с Баронессой плохо себе представляют. Но стараются пройтись предоставленными в их распоряжение моющими и трущими средствами по и без того чистой мебели и полам.

– Страна нормальная, – говорит она, – народ тяжелый. Да, я – социалистка, мне не нравится, когда вас используют.

Прощаясь, она выписывает чек на сумму, равную той, которую они тратили в то время на питание в течение месяца. Открыв дверь и увидев на пороге две центральных газеты Еврейского Государства, она с уверенностью говорит:

– Это мусор и это мусор! Хотите?

– Что нам с ними делать, мы читаем пока только адаптированные тексты?

– Что-то такое есть и в еврейском социализме, – отметила Баронесса, разглядывая чек.

Понемногу кажущаяся размытой вначале картина новой для них жизни приобретает оттенки, становясь плотью и кровью их самих, вытесняя старые разветвленные корешки их привычек и предпочтений, меняя их ментальный базис.

А. удается получить место подметальщика в муниципалитете – большая удача. Однажды, когда он приходит в ульпан, его бьет нервная дрожь, хотя он пытается смеяться. Когда он подметал тротуар, к нему подошла старушка, погладила математику по руке и сказала: “Как хорошо, что вы приехали. До этого здесь работал араб, я его так боялась”.

А вот и первый дождь после долгого жаркого лета, которое настроенному на борьбу семейству показалось вовсе не таким уж ужасным. Кроме того случая, когда, возвращаясь августовским днем из очередного пешеходного перехода “мы ищем работу”, за пару сотен метров от дома Я. вдруг почувствовал слабость. Его дыхание стало хвататься за невидимые опоры и не находило их, залитый солнцем мир качнулся, глухая белая стена, вдоль которой он шел, попыталась встать в невозможную для стен позицию, она приподняла один свой край над землей и наклонилась над ним. Если я потеряю сознание здесь, меня не скоро найдут, проползла вялая мысль. Он сначала замер, а потом медленно, чтобы не испугать пульс, двинулся к улице, где его могли бы заметить. Постояв в тени, он уже легче дошел до дома. Зря он отказывался из вежливости от холодной воды, которую ему предлагали вместо работы, подумал Я.

В одном месте им пытаются втолковать принятые коды общения:

– Ну что ж вы так входите и с порога: “Мы ищем работу”? Сядьте, поздоровайтесь, спросите, как дела. Дайте почувствовать ваше дружелюбие и легкость в общении, создайте атмосферу непринужденности, расположите к себе собеседников.

Вживаясь в новую культурную атмосферу другой страны, первым делом бросаешься на язык. Мучительная стадия перерождения, которая никогда не закончится. Ощупывая уродство своих языковых шрамов, ты все же, наконец, словесно жив и можешь ходить без костылей. За поэтическими вывертами все равно не угонишься, сачок остается пустым, бабочка упорхнула. С библейскими текстами не многим лучше. Но теперь ты можешь осматриваться и прислушиваться, осваивать коды словесных прикосновений, различать тонкие нити смеха, которые протягивают между собой люди, чтобы передавать по ним сигналы продолжающейся жизни, ощущать мимолетные поветрия общественного интереса. Придя однажды на веранду семейства своих новых друзей и потрепав котенка, Б. гордо поделился своим достижением в понимании этих поветрий. Он пришел в банк за несколько минут до его открытия и наблюдал за служащими, которые приходили один за другим, открывая каждый своим ключиком входную дверь и снова закрывали ее за собой. Иные, женщины, порывшись в сумке и не найдя быстро ключа, улыбались куда-то вовнутрь, и тогда через некоторое время дверь открывалась, пропуская их в обмен на улыбку и какие-то неслышные Б. быстрые слова. Он ждал, облокотившись на забор соседнего детского сада, когда заметил, что из-за забора на него смотрит девочка лет четырех. Он наклонился к ней, спросил, как ее зовут, сколько ей лет, еще что-то, о чем обычно спрашивают чужих детей. Например, нравится ли ей в садике. В это время дверь банка открылась широко, готовая принять всех желающих поговорить со служащими на приятную для посетителей тему – об их деньгах. Закреть ли их на неделю с автоматическим возобновлением? А насколько выше процент, если закрыть их на три месяца? А что, если деньги все же понадобятся через два месяца? Б. помахал на прощание девочке и устремился ко входу в хранилище и умножище денежных знаков. Еще раз оглянувшись на ребенка, Б. увидел, что к нему подлетела воспитательница. Он успел услышать ее быстрые вопросы, знает ли девочка этого дядю, что он хотел от нее. Б. вспомнил, как вчера новостные программы обсуждали появление нового педофила. Он не вошел во врата дворца материального благополучия и быстро свернул за угол банка. Банк подождет, подождет и полицейский участок, знакомство с которым не входит пока в культурную программу Б. Закончив рассказ, Б. откинулся на диванчике. Он был несомненно горд своими успехами в освоении новой среды обитания. Я. и Баронесса посчитали его гордость заслуженной и поинтересовались, сколько еще времени он не намерен показываться в банке. Б. сказал, что неплохо бы подождать, пока не поймут педофила, и, кажется, несколько расстроился.

А обрушившийся тем временем дождь и в самом деле хорош. Они стоят на пороге и впервые видят воочию, что означает фраза “разверзлись хляби небесные”. На жителей Европы ее небеса редко опрокидывают такой геометрически правильный вертикальный ливень. Столбики дождя, должно быть, придерживаются в стоячем положении где-то там, наверху, плотными облаками, которых, впрочем, не видно из-за дождя. У их ног трава и плиты, ведущие от дороги к дому, скрываются под водой. Гигантская лужа, не оправдав опасений, останавливается у порога. Так недавно изнывавший на солнце мир теперь остужен и промыт. А с ним промыты и души и теперь дышат вовсю, наслаждаясь ароматом дождя.

В свободное от учебы и уборок время по вечерам Я. лежит среди груды мезельного мусора во дворе под никогда не виданным раньше деревом, которое называется “шесек”, и смотрит сквозь его листву на кусок еврейского неба, и в нем рождается яростная решимость идти до конца, реализовать свое право на этот клочок земли, чье название он привык видеть на географических картах брошенным без спасательного круга в Средиземное море из-за явного недостатка места на суше. “Посмотри на эту мандавошку, – говорили ему перед отъездом, – там евреи, должно быть, спят стоя, как лошади, но не рядышком, как лошади в стойлах, а по

недостатку места – спиной к спине”. Во время первых экскурсий по стране он с удовлетворением убеждается, что хоть страна явно не так широка, как Российская Империя, но место в ней остается еще и для обширных пустынь, чью новую для себя красоту он начинает постигать. Нельзя и близко сравнивать наши трудности с теми, что предстояли пионерам освоения этой земли сто лет назад, думает он, но именно их терпкая кровь, их фанатичное упорство ударяют ему в голову. Хорошенькая метаморфоза, пытается он высмеять самого себя, – вчерашний Гражданин Мира, кто же ты сегодня? Разве ты не ощущал душевный подъем, не проникался высоким духом, мысля себя Гражданином Мира в Российской Империи?

“Вот-вот, – это готовится съязвить внутреннее “я”, за которым известны такие замашки – язвить и насмехаться над целостным Я., – Гражданин Мира. Отчего же боковым зрением Гражданин Мира пытается уловить, нет ли легкой иронии в окружающих, не пролилась ли в атмосферу снисходительная жалость? Или (совсем между нами) удалось ли окружающим скрыть эту иронию и эту жалость к изгою, которую так ненароком высказал герой Набокова, увидев еврейскую фамилию в списке одноклассников Лолиты”.

N++; ГРАЖДАНЕ МИРА

– Отчего так легко сочетается особое отношение к своей семье с хорошим отношением к прочим людям? – вопрошает Я. членов Кнессета. – А особое отношение к своей этнокультурной общности вызывает опасения?

Хотя вопрос, заданный Я., вне сомнения возбуждает интерес присутствующих, выражения их лиц остаются в пределах обыденности. словно звездочки в анализах крови: (....*...).

– Идея многокультурного общества – общепринята в Европе, – утверждает А., – там это едва ли не общее место.

– Хотел бы я знать точнее, сколько еврейских либеральных профессоров среди авторов этой идеи, – сказал мрачно Б., – я своим “общим местом” чувствую, что народы объединенной Европы вскоре примутся бить нас по нему, когда почувствуют на себе все прелести этой идеи и приклеят к ней ярлык: “Плод еврейских либеральных умов, рожденный ими в неустанных заботах о своем душевном комфорте в Европе”.

Как всегда, вмешательство Б. в разговор привносит нервозность и возбуждение. Сам он будто линия электропередачи в сухую погоду – чуть потрескивает. Баронесса слегка свела брови и готова слушать, А. готов побледнеть, беспечный В. еще вольнее откидывается на спинку зеленого дивана, Я. колеблется, в какую сторону ему крутить педали.

– Мне еще со времен проживания в Российской Империи запомнилась статья в “Огоньке”, – начал Я. (он решил крутить вперед). – Двое латиноамериканских студентов из обеспеченных семей увлеклись марксизмом. Они приехали в Российскую Империю учиться. Их направили в медицинский институт на юге Империи. С ними в комнате жили еще двое студентов из Афганистана. И вот один из латиноамериканцев описывает этот многокультурный социум следующим образом: мы принимали душ каждый день, а они брили подмышки, и на этом основании мы считали друг друга животными. “Господи, кто придумал интернационализм?” – спрашивал он.

– Я, кажется, помню эту статью, – сказал Б., – второй из этих двоих латиноамериканцев потом погиб там же в драке.

– Кажется, так, – подтвердил Я. – Кстати, и с Трумпельдором произошла на русско-японском фронте любопытная история. Он, разглядев однажды слабости в японской позиции, побежал докладывать об этом командиру. Офицер согласился и через Трумпельдора передал приказ атаковать. Вернувшись, Трумпельдор не застал солдат на позиции, они отступили. Он вернулся к офицеру с докладом. “Бежали, как жида”, – в сердцах сказал офицер.

– Я совсем не в претензии к этому офицеру, – сказал Я., – тем более к русским солдатам, впоследствии сломавшим Вермахт. Просто таковы особенности психологического устройства многонациональных структур.

– А как же с любезной твоему сердцу Америкой? – спросил А. – Там многокультурное общество? Или нет?

– Я этого там так и не понял, – признается Я.

– У Америки не было столетий монокультурной жизни, как в Европе, – пытается Б. на ходу сверстать собственную теорию, которая позволит ему не вмешиваться в дела Америки, – А вот чем все обернется в Европе – не знаю.

Б. задумался, а потом вдруг встал, чуть наклонился вперед и, подняв правую руку кверху, картавым выговором Ильича произнес:

– П'гизрак б'годит по Ев'гопе,
П'гиз'гак 'Геконкисты.

- Реконкиста – это ведь изгнание мавров из Испании? – уточнил А.
- Точно, – ответил Б.
- Мавры – ведь это Соседи? – уточнила Баронесса.
- Примерно, – согласился Б.
- А евреев выставили до или после? – спросила Баронесса, стесняясь своей неосведомленности.
- После. Ну и черт с ними, – добавил Б. неожиданно зло, – тоже имели вождей – ученых раввинов, либеральных профессоров того времени. Испанских. Недавно видел документальный фильм – некоторые и через пятьсот лет сопли утереть не могут:

На реках чужих сидели мы и плакали,
Вспоминая о Кастилии.

Б. брезгливо скривил лицо. Евреев, одержимых тоскою по утерянному испанскому раю, немного. Их не видать нигде поблизости, Б. и в голову не пришло с ними заочно миндальничать. Только еврейской тоски по Испании не хватало ему.

Беседа почему-то на этом затихла. А. ушел в себя, он, видимо, рисовал себе ужасные картины европейской реконкисты. В. с Баронессой затеяли какой-то незначительный разговор между собой. Я. пытался вызвать в воображении расцвет и поэтический настрой испанских евреев, последовавший разгром и изгнание, быстрое возвышение отказавшихся от иудаизма и принявших христианство, вспыхнувшую зависть испанцев, обвинения в фальшивом характере обращения и второй разгром с ограблением – теперь уже евреев-христиан.

СОБЛАЗН АМУНДСЕНА

Я. озабочен объемом будущей книги, словно старушка – своевременным приемом лекарств. Он опасается, что книга получится маленькой. Он перебирает тома на полках и убеждается, что в заслуживающем уважения томе должно быть хотя бы 300 страниц. Представьте, обращается он к себе и потому старается быть особенно убедительным, вы покупаете билет в кино (он там очень давно уже не был), а фильм вместо обычных полутора часов длится сорок минут. Как бы он ни был хорош, у вас все равно будет ощущение, что вас надули.

Баронесса, конечно, в курсе литературных экспериментов мужа. Она ненадолго устраивается за его спиной и следит за тем, как он переделывает фразы. Она старается не дышать, и он сосредотачивается до такой степени, что чувствует ее контур позади себя. Поняв это, она смеется и исчезает.

Два удара presto по клавишам Alt-Shift выводят Я. по цепочке EN-HE-RU с английского шрифта на русский, увы, пройдя по дороге иврит, на котором ему уже никогда не взлететь. Правда, и на русском, говорит он, его полет не достигнет той высоты, на которой парит текст его обожаемой учительницы, госпожи Е., отрывок из которого он выбрал вчера перед сном наугад, как монах, должно быть, выбирает отрывок из Библии, чтобы отойти ко сну в счастливом единении со Всеблагим и Бесконечным.

- Не поздно ли начинать? – вопрос Баронессы звучит поощрением. Поразительно, думает Я., что она до сих пор верит в то, что он приготовил ей какое-то чудо.

- Для живописания требуется зрелость, – парирует Я. – Интересно, как писал бы Чехов, исполнись ему пятьсот лет.

На Баронессу от озарившей ее догадки вдруг накатывает такая волна ужаса, что она убегает в туалет и появляется лишь спустя некоторое время после того, как туалетный бачок в последний раз с шумом вобрал в себя большую порцию воздуха, решительно выдохнул и затих, после того, как отпищали открытые краны и выдали глухим гулом трассировку водопроводных труб. Она появилась перед Я. с вопросом: уж не означает ли постоянно лежащая у него на прикроватной тумбочке “Пианистка”, что он собирается создать (“создать”, сказала она) нечто подобное? Уж не собирается ли он сыграть с госпожой Е. фортепьянную пьесу в четыре руки? После окончания института он скучал во время многомесячных попыток устроиться на работу. Его “красный” диплом сначала вызывал неизменный энтузиазм у начальников лабораторий, при следующей встрече они отводили глаза, говорили о временных трудностях с вакансиями, находясь в отъезде начальстве. Потом вакансии все не открывались, начальство вовсе пропадало. Вот в эти месяцы от безделья он начал учиться игре на пианино, которое забытой подставкой для настольного вентилятора стояло в родительском доме Баронессы, где он проводил тогда большую часть времени. Он даже с наслаждением много раз играл этюд “Осень” – второй номер в музыкальном учебнике. До этого Баронесса еще обучила его “собачьему вальсу” перед тем, как сбегать на лекции (она еще продолжала

учебу). Нет, говорит он, ничего подобного создать (в его “создать” никаких кавычек нет) невозможно, даже при желании. Он пускается в пространные объяснения, чтобы скрыть очевидный факт – именно этого ему и хочется. Книга госпожи Е. подобна походу Амундсена на Южный полюс, объясняет он. На поход, сделанный с максимальной скоростью и точностью, с продовольствием, расчетливо оставленным вдоль маршрута, с тем чтобы воспользоваться им на обратном пути. Вовремя зарезана часть собак. Свежим мясом посреди ледяной пустыни подкормлены люди и оставшиеся в живых собаки. Никто из людей не зарезан январским морозом, который на Южном полюсе – летний, легкий в отличие от июльского, которого ни Амундсену, ни его собакам не перенести. Они дошли до полюса, Амундсен – до своего снежного, Елинек – до своего, нежного. Да, нежного, упряместует Я. На полюсе поставлена палатка. Дальше идти никакого смысла нет. Другого полюса не существует, только другой берег того же океана. Ни снега, ни льда на полюсе ни добавлять, ни убавлять не нужно. И они возвращаются, Амундсен со спутниками – к кораблям, а госпожа Е. ведет учительницу домой с легким ножевым ранением в области плеча, которое она же и нанесла ей, и немного разошедшейся на спине молнией, которая, по-видимому, разошлась сама. Произносятся монолог, во время которого Баронесса внимательно следит за выражением его лица, Я. смотрит в сад через полуоткрытое окно. Алюминиевая рама окна разделяет единый вид сада на две равные половины. Свежевымытое стекло, протертое жидкостью для придания стеклам блеска, сообщает свой блеск той половине живой природы, которую оно представляет. Природа не остается в долгу и сияет от хрупкого стеклянного комплимента.

Методы борьбы с его соблазнами, говорит он Баронессе, почерпнуты ею из ее прогулок с собакой в детстве. Свою собачонку она оттягивала от собачьих случек с помощью поводка и ошейника, иронизирует Я. Что ж, говорит он ей, это ее право. В конце концов – это ее собака, она ее любит и холит. На сей раз Баронесса не тянет его за поводок. Чтобы отвлечь Я. от опасных мыслей, не нужно ей также садиться к нему на колени, будто старой кокотке. Достаточно просто посмотреть ему в глаза с женской издевкой, что она и делает. Он все забудет. На время, конечно. Она не так глупа, чтобы рассчитывать на вечную победу. Ведь вечная победа есть смерть.

– Значит, мы не умеем строить глазки! – восклицает Я. – “В угол, на нос, на предмет” мы не освоили? Нет, я определенно простачок в нашей семье. Я же в это двадцать лет верил, и столько же лет я верил матери, что от жареной картошки бывают глисты. Куда ты?

Он пытается отловить ее, чтобы заглянуть в глаза и уличить в женском коварстве. Но это нелегко, ей каждый раз удается улизнуть, то деловито открывая дверцу холодильника, то инспектируя содержание нижних ящиков кухни. Обличающая цитата из Флора об “этих прозрачных женских глазах” запутывается в ее волосах. Но вот наконец она изловлена. В смеющиеся губы не попасть, и почти автоматная очередь легких прикосновений его губ пролегает по ее щеке от волос за ухом до выреза мужской рубашки, в которую она облачилась с утра.

– На каком языке ты будешь писать? – она уводит тему их беседы от его “разоблачений”, как Еврейское Государство – от разговоров о Большой Бомбе.

– На русском, конечно, – удивился Я. ее вопросу. Помимо соображений о том, что невозможно писать всерьез на языке, который ты начал изучать ближе к сорока годам, он хотел добавить еще, что плавный и мягкий накат русской речи напоминает ему просвеченную солнцем морскую волну, но промолчал. Такая фраза пусть полежит в нем еще лет двадцать, прежде чем он выпустит ее наружу, не опасаясь укола гордости.

– А как ты определишь жанр своей книги?

– Техническое пособие по настройке человеческой жизни и общества в целом.

– Ух, как серьезно!

– Серьезно? Разве книга – не игра слов, идей и эмоций?

– Значит, ты решил стать писателем?

– Не нравится мне это слово, оно напоминает ошейник. Вот как по-английски “человек”?

– Human being.

– Вот и я хочу быть writing human being, то есть – человек пишущий.

– Человек пишущий, ты проголодался? Чего бы ты хотел на завтрак?

– Не знаю.

Баронесса загадочно улыбается, и через несколько минут перед Я. возникают два бутерброда. Черный хлеб с тонким слоем масла выложен селечными кусочками, в которых нет досадных прутиков рыбных костей, – это сладчайшее воспоминание Я. о бабушке. Эти бутерброды Баронесса ему обычно не делает, в чем подозрительный Я. усматривает ее злокозненный намек на то, что она ему – жена, а не бабушка.

– И когда ты думаешь закончить свою книгу?

– Я буду писать ее всю жизнь, – говорит Я., откусивший перед этим очередной кусок от бутерброда. Он посмотрел на округлость на срезе хлеба и масла, повторяющую овал его зубов, и, не спеша и с удовольствием пережевывая, пытался ощутить в отдельности вкус хлеба, масла и селедки. Судя по выражению его лица, ему это удалось. – Когда я умру, останется окончательная редакция. Если сочтешь нужным – издашь.

– Мы умрем вместе, – упрямо и серьезно ответила Баронесса.

– По статистике тебе после меня, как тому старичку в “Бейт Камински”, еще лет семь дергать ножкой, – предрекает Я., беспечно смеясь.

– Болван, – бледнеет и уже совсем серьезно отзывается Баронесса. Она предлагает ему поступать так же, как поступает Билл Гейтс: выпускать роман версиями – “2000”, “XP”, “Vista”.

N++; О НАЦИОНАЛИЗМЕ

Итак, снова национальный вопрос.

– Достоевский, при всех его прочих достоинствах, в качестве русского националиста – не на высоте, – начал Я. – Никогда не любил капризной и ворчливой интонации его героев в их рассуждениях об инородцах. Другое дело – Тургенев. Мне как еврею, конечно, грустно оттого, что он к лошадям и охотничьим собакам отнесся с большим вниманием и проницательностью, чем к евреям, но вот он представляется мне настоящим русским националистом, а Маркес – колумбийским. Вот только слово это, как собачье дерьмо. Слово “патриот” тоже подпорчено, и тоже дурно пахнет. Мне в юности очень импонировало то, как иронично распоряжался этим термином Анатолий Франс. Нужен новый термин, годный для постнацистского мира.

– А может быть, просто – сионизм, – предложила Баронесса.

– Да уж! – смеется Б.

– А что? У каждого народа – свой Сион. У Тургенева – орловский. У Маркеса – колумбийский. У нас – сионский, – говорит Баронесса тоном приветливой хозяйки (угощение на столе – пробуйте).

– Один всемирный сионизм! – радостно воскликнул Б.

– “На реках Вавилонских мы сидели и плакали, вспоминая о Сионе.

Там на ивах повесили мы арфы свои,

Ибо там полонившие нас просили песен и

глулившиеся над нами – веселья:

– Спойте нам из песен Сионских!

Как нам петь песнь, о Боже, на земле чужой?” –

торжественно прочел Я. – Этот псалом, наверное, самый знаменитый в истории гимн национальной идее, – сказал он. Помолчал, нахмурился, а затем добавил: – Великие символы похожи на знаменитых людей, они проходят внутри полицейского ограждения как юные актеры, исполнители ролей героев телесериала “Восстание в 8-Б”, и выпрыгивают им навстречу из трусиков девочки, чей вес, достигший рубежа в сорок пять килограммов, природой определен как минимально достаточный для ношения плода.

– Воспользуемся же этим, – говорит Б. – За всемирный сионизм!

– За универсальный сионизм, – дипломатично поправляет Кнессет.

– Тогда еще – за СИОНО-СИОНИЗМ, – настаивает Б.

Кнессет Зеленого Дивана окружил эту идею, словно коллектив котов окружает перед изнасилованием одинокую раздраженную кошку.

Я. не останавливается на этом, не притормаживает на повороте. Теперь он похож на учителя старших классов.

– Каждый народ может выбирать – быть красивым или требовать к себе политкорректного отношения – пункт первый. Хочу тут напомнить фразу Черчилля: “Не знаю случая, когда бы человек прибавил себе достоинства, требуя к себе уважения”.

Покончив с инквизицией социальной справедливости, мы вступили в средневековые многокультурности – это пункт второй.

Лобовые атаки на человеческую природу – деструктивны, улучшение нравов требует времени и терпения – пункт третий.

Национальная идея – комфорт и защита, пока не попадает в руки к агрессивным кретинам вроде нацистов – пункт четвертый.

Купальные костюмы на пляже не предназначены отрицать наличие мужских гениталий и женской груди – аллегория ко всем предыдущим пунктам, означающая, что человеческую природу не стоит и невозможно скрыть, но она может быть окультурена.

– Неким известным Я. способом? – любопытствует Кнессет Зеленого Дивана.

РОДОСЛОВНАЯ ЕЛКИ

Елку породили язычники, как Авраам родил Исаака. Вокруг нее танцевали, как Давид у Ковчега Завета. На нее можно вешать все, что считают красивым, от разноцветных ленточек до свежеснятых скальпов. Она прижилась у христиан, потом носила на своей вершине звезду большевиков-атеистов. Размяк и большевизм, но и это ее не задело. Она нейтральнее Организации Объединенных Наций и гораздо менее навязчива. Она сама ни к кому не идет, но ее приглашают повсюду. И мы привели ее сюда вместе со своими жизнями. Чего это вдруг мы вспомнили о елке? Ну, во-первых, скоро год сменится, об этом нам напоминают и календарь на стене, и рекламный плакат, на котором обнялись и призывают нас покупать новогодние подарки два юных девичьих создания, явно возвращенные на этой почве, песчаной у моря, глинистой в холмах. Одна из них белокожа и двадцать лет ей минуло недавно. И ее раскрытый в улыбке ротик, и все ее безбожно избалованное личико говорят нам о том, что позировать перед фотографом она пришла вовсе не от недостатка средств у ее родителей. Что изучает она параллельно в Тель-Авивском университете? Для биоинформатики она выглядит слишком беззаботной, для юриспруденции недостаточно эгоистичной. А ее подружка по плакату (ей и двадцати еще нет) – явно из провинции. Гонорар за этот плакат для нее – совсем не излишество. Фотограф это уловил, потому и попросил ее стянуть темные волосы плотно, спрятав от нас зажим на затылке, и саму ее поставил прямо. Это блондинка на ее плечо облакачивается, рассыпав по нему пряди своих волос, которые хоть и выглядят скромнее золота, гораздо дороже его на данный момент. Судя по трубочкам, торчащим из их бокалов, которые обе девушки держат в руках, в этих бокалах – коктейль, наверняка слабый, ведь окна этой студии смотрят на Средиземное море, а не на Северное, здесь пьянит не вино, а солнце. Улыбаясь, они смотрят вверх, откуда сыплется на них конфетти. Они совсем не боятся, что оно может попасть в их бокалы. И здесь мы усматриваем промах фотографа. Эти разноцветные бумажки, судя по разлитому по плакату беспечному счастью, легко склеить в такие же разноцветные евро, которые с удовольствием примет в свои запасы любой солидный банк. Елки на этом плакате нет и быть не может. Во-первых, елка велика собою и от ее присутствия стали бы маленькими в пропорции к ней эти чудные девичьи личики, и мы ничего не сумели бы понять о них. И во-вторых, елка в Еврейском Государстве – объект подозрительный, для большинства жителей не прошедший светское отделение от веры, и мнятся жителям этой страны за ее раскидистой и разлапистой тенью кресты, которыми бьют, и речи, которыми жалят.

Что произошло с внутренним голосом новых граждан этой страны? Стоило ему пересечь границу, как он тут же переметнулся на другую сторону и вот теперь спрашивает членов Кнессета Зеленого Дивана: ну что это вас, заело, что ли? Национализм, сионизм...

– Вы правы, – отвечают ему внутренние голоса членов Кнессета, – всякий раз, стоит нам уколоть дружбу народов, как что-то, нет-нет да и уколет нашу больную совесть. Давайте поставим елку и завертим небольшой праздник (*maestoso*), где будут все-все. Мы разбросаем сено по улицам, зажжем костры в железных бочках, развесим пестрые ткани по старым стенам и запустим веретено хоры. На хороводе единения всех рас и народов пойте на языке, убиенном нами во имя нашего светлого будущего:

– Ло мир алэ инэйнем, инэйнем...

Выталкивайте в круг этого пейзажного черта, и этих туристов, и этого лупоглазого, и эту седую старушку. Чего в ней больше – худобы или аккуратности? И эту негритянку-христианку с невиданной в этих краях задницей. Мы жаждем каждой твари по паре от всех пяти полов и четырех сословий. У нас нет границ, и снобы мы только на первый взгляд. Ну что, видали, каковы мы, какая у нас душа, для всех открытая? А вы говорили... (Скрипочки вступают укоризной, *adagio*). Пока пейзажный дергает левой ногой, невысоко поднимая ее, его способна удержать какое-то время нога правая, а нет, так вон тот инквизитор поможет. Эх! Хорошо! Мы же все можем. У вас ироничная улыбка на устах, вы вспоминаете Набокова и его символ пошлости – насмешливый бассейн с лебедями и влюбленным юношей, плавающим в нем пред своею возлюбленной? Ну не будьте таким фомой неверующим, все люди противоречивы в душе. Они просто не всегда помнят об этом. А мы можем дотанцевать так с вами отсюда и до утра, от утра и до самой Вены. Силы отторжения дополняются силами притяжения. Мы вчера зло глядели друг на друга, а сегодня вместе жжем свечи, а завтра наступит завтра. По нашим следам бегут

собаки, они надеются, что мы оставим для них куски своего мяса на асфальте. А мы переменчивы, как погода. Что падает, то обязательно поднимется, утверждает биржа, надеются мужчины, повторяют нефтяные насосы.

Мало, мало. Что бы еще сделать нам, пока мы пребываем в этом возвышенном, эйфорическом настроении? Мы уже послали фейерверк в небо, улыбались друг другу, клялись, что “никогда, никогда...”. Какой же это черт вечно толкает нас под руку? Где он прячется, пока мы клянемся всеми святыми? Вот и сейчас, пока мы пляшем, к 80-летней писательнице в Южной Африке забрался грабитель. Она всю жизнь нам доказывала, что это не он, а мы сами во всем виноваты. Мы ей даже Нобелевскую премию дали (ну ладно – не мы) за эту глубокую мысль и еще более глубокое чувство. А сейчас ее, кажется, банально бьет ее подзащитный, потому что она не отдает своего обручального кольца, какое неблагоприятное! Она отдала этим людям весь жар своего сердца, а кольца стало жалко, ведь кольцо обручальное. Отобрав кольцо у побитой дамы, грабитель запирает ее в кладовке, она надоела ему своими сбивчивыми речами.

Но что ж это мы приуныли? Вперед! Тряхнем упрямой головой, стряхнем с себя бремя неприятных экзотических происшествий, нам никто и ничто не указ, потому что мы хорошие и хорошего для всех вас хотим. И будем делать только хорошее. Для себя и для вас. Мы так страстно хотели социального рая, мы его почти добились, мы не очень любим вспоминать об этом. Сейчас другие времена, другие идеи. Нужно строить мосты, нужно ломать стены. Все будет хорошо! Все будет очень правильно, прекрасно и справедливо!

НЕОЖИДАННОСТЬ

Я. и Баронессе начинает давать уроки иврита пожилая пара уроженцев Еврейского Государства, чья юность связана с Палмахом – ударными отрядами, ставшими с образованием государства основой Еврейской Армии. Первое же посещение их дома, заросшего, пожалуй, даже залитого зеленью, поражает их.

– Мы были очень молоды, когда строили свой дом и не слушали советов старого садовника, отговаривавшего нас сажать сосну и фикусовое дерево, – говорят они. – Сосна когда-нибудь упадет на дом, а корни фикуса приподнимут его, убеждал нас садовник. И вот теперь сосну скоро нужно будет выкорчевать, а от корней фикуса пошли трещины в стенах.

Застенчиво-скованных пришельцев из Российской Империи, Я. и Баронессу, удивляет атмосфера дома. Не сразу осознает Я., что именно задело их за живое в этом доме, – это атмосфера дворянского гнезда, еврейского. Разве это возможно? Я. и Баронесса внимательно вглядываются в этих людей. Они стояли у основ государства, у них типичные дворянские профессии: он – офицер, она – учительница иврита. Я. поражен и взволнован, они не думали об этом, приняв решение об отъезде. Евреи, которыми они привыкли гордиться (кто не знает, как любит каждый еврей приобщаться к славе своих великих сородичей), были знаменитыми учеными, финансистами, революционерами дела и мысли, но никогда – аристократами. Не по жалованью европейским грамотам и титулам (такие были) – по этой очевидной связи с историей, с землей, с таким естественным правом на нее и ответственностью за ее устройство, полной (не Ltd), толкнувшей их заниматься языком с вновь прибывшими и опекать их. Я. улыбается – теперь окончательно ясно, почему они именно здесь. Жена смотрит на него серьезно. На сей раз она не иронизирует, скорее, привыкает к новой и для нее действительности. Но когда же наконец начнется и их подъем?

СИОНО-СИОНИСТ Б.

В очередной раз Б. наступает на грабли – присоединяется к экскурсии по Хайфе с участием широких народных масс Еврейского Государства. Широкие народные массы постоянно отстают, к объяснениям экскурсовода (первая скрипка) они подмешивают свои разговоры – пиликания скрипачек разных размеров и играют на них невпопад. Их милые детки считают, что ноги Б. занимают слишком много места в этой маленькой стране, и свободно разгуливают по ним. Они вырастут беззлобными, как и их родители, и ни в чем не будут ограничивать своих детей, думает Б. и в который раз пытается решить для себя, хорошо это или плохо.

Они останавливаются перед небольшим обелиском, посвященным посещению Святой Земли кайзером Вильгельмом II и его женой Августой-Викторией. Экскурсовод привычно ведет рассказ, словно стоя на носу лодки, которая раскачивается из стороны в сторону разгуливающими по ней слушателями. Но он, невзирая на помехи и балансируя, уже рассказал толково и подробно о раскинувшемся перед ними Хайфском заливе, не забыв указать на окружающие холмы и перечислить их

названия. Он держит в вытянутых руках фотографию больницы, построенной в честь Августы-Виктории в Иерусалиме.

– Ребенок не видит картинку, – прерывает экскурсовода женщина, и он безропотно опускается на корточки перед ее дочерью – четырехлетней гражданкой, которая не достаивает фотографию взглядом и вопросительно смотрит на мать.

– Сейчас мы спустимся в Бахайские сады, – продолжает экскурсовод, – просьба к детям не бросать жевательные резинки, фантики, не кричать.

– В общем – не дышать, – шутиливо комментируют народные массы призыв экскурсовода к соблюдению порядка, отдающий, по их мнению, нацистским душком.

Почему лучшие здания Еврейского Государства построены если не христианами, то бахаистами, рождается в душе Б. один из его бесчисленных внутренних монологов. Почему такое омерзение вызывает в нем субботняя грязь улиц в ультрарелигиозном квартале Меа-Шеарим? Неужели им до такой степени все равно, что он думает о них? Кто виноват, он или они, в его законченном неприятии религиозных традиций? В чем смысл упорства, с которым они надевают в августовскую жару Ближнего Востока меховые шапки из пушистых хвостов в память о том, как лихо они обвели вокруг пальца какого-то польского воеводу, запретившего им носить меховые шапки польской зимой, но не распространившего свой запрет на хвосты? До сих пор спор с польским воеводой несет для них больший символический груз, чем необходимость здесь и сейчас ужиться с ним, Б.?

Он, конечно, помнит наизусть эти строки: “В начале сотворил Бог небо и землю, и была земля безвидна и пуста, и дух божий носился над бездной...”. Но как можно было от величия этих строк дойти до хвостов, напаянных на голову, поверх которых еще может быть надет полиэтиленовый пакет, защищающий эти хвосты от дождя? До постановлений о недопустимости ковыряния в носу по субботам? За три тысячи лет не поставить ни одного физического эксперимента! Упереться в божественное откровение и игнорировать все, что происходит в божественном мире! Одной десятой энергии, вырвавшейся наружу после того, как евреи в массах стали выбираться из расколотой скорлупы еврейской религиозности в 19-м веке, хватило на создание нового государства. А где другие части? Треть ушла на растопку в Европе, треть расплылась без толку в России, треть в Америке напоминает то созревшую грушу, то катающийся в кузове грузовика опрокинутый полный бидон с молоком.

– Что за странный образ? Никогда не видел, чтобы бидоны, полные молока, катались по дну кузова, – заметил Я., с которым Б. поделился своими мыслями, когда они вдвоем поехали в монастырь молчальников в Латруне за винами и коньяком. – Пустые, да. Но полные?

– Мало ли! Тряхнет. Или затормозит впереди кто-нибудь резко, – сказал Б., но тут же улыбнулся и добавил: – Да ладно, это так – образ из тех мрачных пророчеств, которые сбываются редко, как, например, катастрофа. Упрямый интеллектуал, правда, без труда объяснит нелогичность происшедшей трагедии и объявит своей победой возврат в исходную точку еврейского рассеяния. А вот скажи мне лучше, – обратился он к Я., – почему самая длинная и уродливая улица в стране названа именем наивного фантазера и рыцаря, эlegantного стилиста? (Б. имеет в виду Жаботинского.) Разве не логичнее было бы назвать ее улицей Штынкеров (Говнюков)? Уж я не знаю, какое количество потенциальных граждан, приехавших посмотреть еврейскую страну из Филадельфии или Нью-Йорка, поклялось, что глаза их никогда больше не увидят этого позора, однажды проехавшись по улице Штынкеров. Красота победит мир, – Б. намеренно перекраивает Достоевского на боевитый ближневосточный манер. – В красоте – огромная сила, – говорит Б. – А улица Штынкеров подталкивает Соседей к мысли, что нас еще можно скovyрнуть, а друзей – к впечатлению, что это еще одно грязненькое жидовское местечко, которых тысячами смыла жизнь в прошлом.

Страсть, с которой Б. верит в еврейский прогресс, для Я. – жестяная кружка с горячим чаем на промозглом ветру. Он держит ее в ладонях с нежностью, он ведь тоже не оценивает эту идею со стороны. Он тоже полагает: то, как будет выглядеть это место, будет в каком-то смысле оценкой, выставленной потомками его жизни. Он тоже не приемлет плебейскую мудрость “От меня ничего не зависит”. От него зависит все. Как и от Б. Слава богу, Б., если и читает его мысли, не сможет их распечатать на принтере и предъявить ему в качестве насмешки над его высокопарностью.

Разглядывая сейчас латрунский монастырь и особенно приветствуя стойкие светлые тона его камней (палевые, песочные в сочетании с кремове-белыми), на фоне обильной изнуренной зелени, Я. делится с приятелем собственной устоявшейся фобией, он утверждает, что не любит баухауз, это архитектурное чудо социал-демократической мысли. Он утверждает, что оно завезено сюда из Германии в период между двумя мировыми войнами, когда по ней разгуливали как минимум четыре вируса – нацизм, социализм, пацифизм и социал-демократическая архитектура. Спасаясь от первого из этих вирусов, евреи Германии в изобилии

везли в будущее Еврейское Государство три остальных. От социализма и пацифизма уже почти ничего не осталось, и он мечтает о дне, сказал Я., когда однажды весь этот охраняемый ЮНЕСКО хлам заминировать и, дождавшись хорошего ливня, чтобы прибило пылью, взрывами поднимут на воздух.

Б. в этом с ним, кажется, согласен. Тяжелее, чем с другими, бывает ему со своими, питерскими. Он лучше других понимает, каково им без привычных дворцов и проспектов (подпись царя под проектом каждого дома). Вид на остров с площади Святого Марка в Венеции кольнет его ностальгией.

– Представьте себе Петра Великого, – адресованную своим гипотетическим землякам аргументацию Б. проверяет на охотно слушающем его Я., – представьте себе его говорящим: “На кой черт дались мне эти чухонские болота? Подамся лучше в Европу! Гляньте на этот нищий народ! А бояре – лучше? Ходят в своих нелепых кафтанах, с бородами, словно хасиды в лапсердаках, а по вечерам пьют медовуху и считаются родством”. Снобизм и невежество – очень близкие родственники, – продолжает он обличительный монолог. – Мне вообще наплевать, – совсем уж заносит его, – на то, что я вижу вокруг сегодня. Мне важно то, что будет завтра.

Всердцах он жалуется Я. на своих заносчивых земляков (лично Б., безусловно, – сама скромность, иронизирует Я. в ответ, не пытаясь, однако, скрыть симпатии к нему). Они напоминают мне Керенского, продолжает говорить возбужденно Б., не обращая внимания ни на иронию Я., ни на его симпатию. У него, у Керенского, из рассказа Бабеля, было слабое зрение, но он не надевал очков. Он говорил, что так он абстрагируется от деталей, но лучше прозревает целое. Результаты его деятельности были скромнее результатов Петра, утверждает Б. У них (у его земляков) катаракта снобизма на глазах, злится он. Сквозь нее они видят очертания оставленных ими дворцов и говорят: вот это дворцы, а все остальное – юрты и сакли.

Из разнородного, собранного из разных частей света человеческого конгломерата, объединенного верой в единство происхождения и общностью исторической судьбы, на обломках еврейского социализма рождается, утверждает Б., нечто живое. Как у всего живого, у него масса милых причуд, которые любящей душе Б. кажутся не лишенными очарования. Например, обнаружившийся недавно обычай девушек из местной школы терять невинность на могиле основателя государства. Он, наверное, кричит им из-под камня: “Этот камень холодный, немедленно положите под попу что-нибудь теплое, иначе застудите яичники”. Он ведь всегда утверждал, что ему неважно, чего им хочется, зато он знает, что для них хорошо. Или вот традиция девушек-солдаток на прощание с армией, обнажившись до пояса, фотографироваться в обнимку с самолетом. Мягкое к жесткому, телесное к серому, круглое к плоскому, заклепка к заклепке. Жесткие ветрилицы! Несчастный самолет! Вцепись тормозами в колеса и не смей взлететь! Что вы творите с ним, легкомысленные кокетки? У него же распухнут подвесные баки с дополнительным топливом, на котором он должен долететь до Ирана и вернуться обратно! Что станет с обороной страны, которую он поклялся защитить?! Как ты думаешь, спрашивает Б. своего приятеля Я., – основатель государства, понимая несбыточность всякого идеала, предпочел бы потерю невинности этими школьницами на своей могиле или на брачном ложе в Лос-Анджелесе?

Дворцы и дома в Петербурге, мысли Б. достигают точки кипения, хотя сам он спокойно стоит спиной к монастырю и лицом к панораме, открытой с холма, строили для СЕБЯ аристократы, тогдашние или будущие. Затем в них выписывались учителя для детей, зубные врачи, привозили холопов. И уж потом холопы считались между собой, у чьего барина выезд лучше. Я признаю разницу между Дворцовой площадью и рынком Кармель, но всего триста лет назад там даже рынка Кармель не было, а только болото, а вот теперь стоит Дворцовая площадь. Дворцов, увы, здесь уже не будет, их время прошло, но будет что-то иное, в другом роде. Одно невозможно: никогда и ничего не построят холопы, чей полет мысли направлен лишь на поиск лучшего места и более симпатичных хозяев.

Они поднялись пешком на вершину холма, у подножия которого стоит монастырь, мимо свободно посаженных оливковых деревьев и запертых за проволочной оградой сосен и пальм, на самой его вершине переступая через выложенные камнем узкие траншеи. На восток, в направлении Иерусалима, продолжали громоздиться холмы в сосновых лесах, к западу легла Аялонская долина. Я. показалось, что Б. вовсе не разглядывает сейчас окрестности, а следит за летящей точкой в небе.

Возможно, этот самолет взял теперь курс на Торонто, замечает Б.

– Ну какой из тебя либерал? – говорил Я. другу, смеясь. – Не грусти, первым мечтателям было куда тяжелее, оставался лишь каждый десятый. А сейчас только каждый десятый уезжает. А тебе рано или поздно наш Президент присвоит рыцарское звание, хлопнет тебя по плечу дулом М-16, у которого ремень привязан к прикладу нештатным способом (потому, что автомат американский, а способ его ношения – местный). А во-вторых, ты не прав и насчет холопства. В Канаде я встретился со

своим приятелем, много лет прожившим здесь. Эмигрантами населенный дом, съемная полупустая квартира с сиротским эхом. В это время он был еще и без работы. В канадской службе занятости ему посоветовали увлечься сексом, чтобы не свихнуться от безработицы. Когда на собеседовании в канадском посольстве его спросили о причине эмиграции, ему не захотелось объясняться, и он сказал: “Да просто я так решил”. Знаешь, я ведь когда поехал путешествовать по Америке, ничьего другого адреса из тех, кто уехал отсюда в Канаду, даже не взял с собой. Из всех уехавших туда знакомых мне людей я только об этом своем приятеле жалею по-настоящему. Ничего нельзя сделать с этой врожденной человеческой неприкаянностью, беспокойством, с этой вечной тягой к поиску чего-то за горизонтом. Чего? Чувство Отечества – это еще одна глубокая страсть, – продолжает Я., будто убеждая Б. в том, в чем его убеждать не требуется. – Можно ведь жить и без любви, но зачем? Зачем обеднять жизнь? Да и правильно ли называть Еврейское Государство Отечеством? Ведь это, скорее, государство-дитя, которое его граждане вместе растут и о котором совместно радуют. Поздний ребенок немолодого народа. Скажи, – спрашивает он Б. мягко и вкрадливо, – а не кажется тебе иногда, что это довольно грустно – тянуть всю жизнь одну и ту же ляжку, к которой прицеплены одна, две тяжеленные идеи, одна любовь? Ведь жизнь так многозначна и увертлива? Разве не хочется иногда все обрубить, испытать восхитительный азарт новизны, освоить совершенно иное пространство?

Б. промолчал, он слишком хорошо знает своего приятеля, чтобы попасться на крючок его иронии. Он отмечает превосходный оранжево-апельсиновый цвет крыши монастыря внизу, но донесшиеся удары колокола кажутся ему слишком частыми. И хотя ему хочется в шутку поинтересоваться, отбытие в другие пространства видится Я. с Баронессой или без нее, но сейчас они только вдвоем, аура дружбы густа в этот момент, как зелень вокруг, и Б. предпочитает ни слова не произносить вслух.

Б. все же гораздо жестче Я. в том, что последний, издеваясь над ним, называет “кодексом чести Б.”. Со своим знакомым, живущим, по этому знакомого собственным словам, “на границе с Францией”, он даже не выразил желания встретиться. Он объявил: “Он мне неинтересен. Вы ведь не собираете отрезанные ногти в баночку для музея своей индивидуальности”? Плохо связанный с системой элемент не укрепляет, а ослабляет систему в целом, заявил он. Он уж очень крут, этот Б., считает Я., ему не помешало бы какое-нибудь гомеопатическое средство, закрепляющее в организме либеральные микроэлементы. Но Б. не сбавляет обороты.

– По телевизору видел вчера в каком-то фильме, – говорит он, – сидит семья американских евреев где-то не то в Филадельфии, не то в Чикаго. Хозяин богат, жена его улыбается, как умеют улыбаться женщины в очень богатых семьях, зять смотрит на него во все глаза. Этот глава семейства – сионо-сионист. Помогает Еврейскому Государству, он там бывал и в один из приездов даже купил там земельный участок. Но на набережной к ним с женой подошла проститутка. Представляете, говорит он, улыбаясь, проститутка в Еврейском Государстве. Земельный участок он продал на следующий день с убытком для себя... Или вот в одной книжке, – говорит Я., – герой, собирающийся из Российской Империи в Еврейское Государство, включил приемник и ждет сводку новостей из Иерусалима, а она вместо 19:00 начинается в 19:03, и диктор даже не извинился за опоздание. И тут этот герой решает – в такое место он ни за что не поедет. То есть на земле достаточно мест, где дворец уже оперся на землю и поражает птиц и людей. А в построенном дворце всегда есть вакансии и для кладовщика, учитывающего его сокровища, и для поэта, воспевающего его красоту. На кличку “жид”, – завершает мысль Б., – мы обижаемся по двум противоположным причинам: когда она на нас болтается или когда слишком плотно прилегает к заднице.

Они спускаются с холма, стараясь не поскользнуться на мелких камнях в пыли неровной грунтовой дороги, к стоянке у монастыря, где оставлен автомобиль Б., в багажнике которого лежат упакованные в картонные коробки бутылки бренди, произведенного монахами-траппистами за год до их приезда в страну, и гораздо более молодое вино, в основном – демократичный *Merlot*.

N++; О МЕСТЕ ЕВРЕЕВ В МИРЕ

- Мне есть что сказать по этому поводу, – заявил Б.
- Тебе есть что сказать по любому поводу, – смеясь, подбодрил его Я.
- Нет, правда, я разработал собственную классификацию, – сказал Б.

Еврей в Еврейском Государстве – патриций.
В Америке – всадник.

Тут у Б. либо исчерпались римские термины, либо темперамент его взял свое:

Еврей в Европе – лакей.
 В России – шут.
 В Германии – символ стойкости.

Баронесса уже слышала от Б. о его классификации. Она даже знает, что к такому определению евреев Германии он пришел, когда услышал от кого-то о пожилой немке, которая сказала своим еврейским соседям: “Чего уж, живите, – ведь вас, как тараканов, окончательно вывести невозможно”.

– Ты слишком суров к ним, – нахмурилась тогда Баронесса. – Это всего лишь люди, им предложили возможность пожить лучше, они согласились.

– У этого “лучше” – аромат того самого “мыла”, – упрямо ответил Б. – Ты бы с этим мылом пошла в душевую? Ведь это всего лишь мыло! А немцев я вполне понимаю, – продолжил он, – в возвращении евреев есть что-то успокаивающее. Вот ведь только выветрились газы – и они вернулись. “Род проходит и род приходит...” Это не о тараканах сказано у Екклесиаста?

– Вы обратили внимание, как выглядят приезжающие к нам по делам американцы англосаксы? Веселые, непринужденные, раскованные – в общем как жители Еврейского Государства, дворяне как дворяне, – вступил Б.

– А американцы-евреи?

– А американцы-евреи серьезные, внушительны, на нарушение дистанции, тем более на фамильярность, реагируют болезненно.

– И что это означает?

– Что все-таки не хватает им уверенности. А так ничего – богаты, устроены, признаны, ничего не скажешь.

– Не стыдно тебе так отзываться о них? Ведь они нам помогают, сочувствуют нам, – упрекнула Б. Баронесса.

– Стыдно, – сказал Б.

– И что, совсем нет раскованных американских евреев? – спросила она.

– Ну что ты, конечно, есть.

– Кто?

– Роберт Де Ниро.

– Он же итальянец.

– Он сыграл столько евреев, что это не могло не отразиться на его самоидентификации!

Не откладывая дела в долгий ящик, Кнессет решает присвоить Роберту Де Ниро звание Почетного Еврея.

– Без обрезания? – поинтересовался А.

– Конечно, без, – ответил Я. – Мне рассказывал один приятель, который проделал эту процедуру в зрелом возрасте, о том, какая это была мука, когда у него каждое утро лопались швы.

А. понимающе хмыкнул, и все посмотрели на него с изумлением, но он мрачно молчал, и всеобщее осуждение обрушилось на засмеявшуюся Баронессу.

– Проблемы женщин никогда не являются для нас объектом насмешек, – сказал ей Б. с укором.

А. согласно кивнул. Баронесса попыталась было сделать строгое лицо, но тут же снова засмеялась.

– Вернемся к Де Ниро, – сказал Я.

– Не пейте слишком много субботнего вина, – советует актеру заботливый Кнессет, – от него может заболеть желудок и вспучить не только живот, но и мысли.

Кнессет пытается объяснить господину Де Ниро, как заправляются брюки в носки по внесезонной моде ортодоксальных евреев.

– Этому я еще вас научу, – гордо отказался Де Ниро.

– Поздравля-яем! – машут члены Кнессета в экран телевизора, – Р-о-берт!

– Почему же европейские евреи – лакеи?

– Приведу вам пример дедушки всех европейских лакеев.

– Кто же это?

– Капитан Альфред Дрейфус.

– Почему же он лакей? Он столько выстрадал понапрасну.

– Потому и лакей. Даже после того, как его оправдали, он не выдал немцам ни единого военного секрета. Разве не лакей?

– Лакей! – дружно отозвался Кнессет.

– А еврейские либеральные профессора в Европе – разве не лакеи?

– Хватит о профессорах! – еще дружнее завопил Кнессет.

– Давай теперь веселись по поводу евреев Российской Империи, – требует Кнессет.

– Шут – это всегда грустно, – сказал Б., – и больше я к этому ничего не прибавлю.

– И все же, – не соглашается на недоговоренности Баронесса.

– Сытые шута немножко презируют, немножко жалеют и поощряют, пока он не переходит границы. Голодным же кажется, что он слишком легко зарабатывает на хлеб насущный и оскорбляет святые для них понятия. А в свободное время шут пишет мемуары о трагедии своей жизни. Да так хорошо пишет, что не только сам плачет над ними, но даже сытых слеза прошибает, а уж голодные – так те просто плачут навзрыд.

Тут склонный к обобщениям и любитель изящной словесности Я. не удерживается, чтобы пополнить перлами своих догадок кладезь мудрости Б.

– Я бы сказал, – говорит он, – что еврейская литература в рассеянии делится на два главных потока. Один, отмеченный Б., ковыряет раны своей неочужденности окружением, другой – напротив, пытается над этим окружением возвыситься, воспитывая в себе супергоя, для которого мир делится на две половины, одну из которых нужно трахнуть, а другой набить морду.

– И что же, в Еврейском Государстве все евреи – дворяне? – не отпускают Б. члены Кнессета и пренебрегают звучностью латинской речи и римским сословным институтом патрициев.

– Мне особенно запомнились двое в первый год пребывания в стране. В квартире, которую я снял, не было телефона. Я пошел позвонить из телефона-автомата. Он был занят – девушка, смуглая такая на вид, разговаривала увлеченно и громко, живописно жестикулируя. Я любовался ее жестикуляцией минут пять. Сейчас, думаю, она выглянет, мило попросит извинения, и я увижу ее мордашку. Я любовался еще минут десять, потом еще пятнадцать. И тогда она выглянула и сказала: “Что, в этом районе нет больше телефонов?”.

– Какая у нее была мордашка?

– Не запомнил.

– Истинно дворянское достоинство, – согласился Кнессет.

– Второй случай – дорожный, – продолжал Б., – съезжая с трассы Гея к Бар-Илану, я замедлил движение, и тут в зад моей “Субару” въехала госпожа Ковалевская. Так она представилась. Въехала несильно, чуть примяла бампер. Я взял ее телефон, сказал, что дело пустяшное, в выходные съезжу в гараж, узнаю, сколько стоит рихтовка, и перезвоню. Так и сделал, в гараже мне сказали, что бампер не рихтуется, нужно его менять и стоит это в десять раз больше, чем я думал. Я позвонил и поделился бедой с госпожой Ковалевской.

– И что она тебе ответила? – заинтересовался Кнессет.

– Что в жизни не видела такого наглеца, что за три дня в меня могли въехать еще три другие госпожи Ковалевские, и вообще она посмотрела – у всех “Субару” бамперы именно так и выглядят.

– Истинно дворянское самообладание, – опять признал Кнессет.

– И что, ты так и ездил с кривым бампером?

– Недолго. Через два месяца машину угнали.

– Дворянское своеволие, – осудил Кнессет.

Члены Кнессета, словно сговорившись, сделали вид, будто они забыли о том, что в перечне Б. числятся отдельной строкой евреи Германии.

– Послушай, еврейский патриот, – обращается А. к Б., как в задачке по математике, – единственный, кто вышел из твоего рассказа с приобретением, – это Роберт де Ниро.

– Где же здесь противоречие? – смеется Я. – Как всякий порядочный еврейский дворянин, он обладает первейшим для еврейского джентльмена качеством – он порядочный антисемит.

– За антисемитов! – поднимает бокалы Кнессет.

– Мы вам из национальной идеи такое блюдо приготовим – пальчики оближете, – воодушевленный своим успехом, провозглашает Б.

Он почему-то говорит “мы”, но это, видимо, часть его воодушевления.

– Бить тебя будут, – с приторным сочувствием говорит вечно трезвая Баронесса и заодно возвращается к единственному числу и персональной ответственности, – люди по своей природе не столько глупы, сколько очень упрямы. Ты подсчитай, сколько народу ты оскорбил понапрасну.

Что это происходит с его женой, удивляется Я. В том, что она сбивает с Б. его радикализм, ничего удивительного нет, но откуда это “люди не столько глупы, сколько очень упрямы”, ведь она вовсе не склонна к обобщениям?

– Женщины вообще гораздо меньше склонны обобщать, – говорил он позже наедине Баронессе. – Это мужчина всегда пытается кем-то и чем-то руководить. В самом простом случае он руководит собой и своими мыслями. И потому он склонен к обобщениям. Господство требует обобщений и пренебрежения деталями, не вписывающимися в структуру. Женщины часто не руководят даже самими собой и своими детьми. Они знают, что их дети у них лишь во временной аренде. Еще несколько лет, и они сами им об этом твердо заявят. У них нет нужды в немедленном обобщении, однозначных выводах, вытекающих из выводов действиях. От этого картина мира в представлении женщины меньше страдает от искажений, так характерных для умственных мужских построений.

Лицо Баронессы принимает хорошо знакомое Я. выражение, в котором легко различить уважение к его философским способностям, но к которому прибавляется легкое сомнение в сказанном. Это даже не выражение лица – это рожица-иероглиф, сигнализирующий ему, что его философия хромота то ли слегка, то ли на обе ноги, то ли вообще никуда не годится.

N++; АРИСТОКРАТИЗМ И ХОЛОПСТВО

Б. считает вопрос об аристократизме и холопстве первейшим вопросом новой еврейской истории. Он утверждает, что Дизраэли, несмотря на свой побочный предсионистский мотив, все же остался самым высокопоставленным английским холопом, строившим Британскую империю, от которой в наше время, как от всякой империи, остался один исходный остров. А вот Монтефиори, возвысившийся тоже в Англии итальянский еврей, строивший новые кварталы в Иерусалиме, – еврейский аристократ, и вокруг его кварталов вырос город.

Б. порой смущает его собственный пыл, и тогда он внушает себе, что он остался и демократом, и либералом, но что делать – ну грустно ему от 117-го толкования Шекспира и Пушкина теми, у кого в роду Екклезиаст, ну не может он вечно скрывать легкое презрение к сидящим за чужими столами. От него и уж совсем своим, казалось бы, достается. Он поругивает детей тех, кто в Войну за независимость на армейских джипах заезжал в Тель-Авиве на тротуары “для фасону”. (Эй, посторонитесь, это краса и гордость еврейского народа – первые еврейские бойцы и командиры едут!)

Аристократизм требует преемственности, утверждает он. Ему все кажется, что дети необузданных титанов усохли и измельчали. Как мух на мед (политкорректность по Б.) тянет их к дешевой известности, обидевшись на что-то, уезжают они в Америку. Что-то обидно холопское видится ему опять в их речах, копирующих, по его словам, либеральные штампы Европы. Их, похоже, сломило величие их отцов и матерей. Говночист, сын говночиста, внук говночиста – аристократ первой степени, говорит Б., если он гордо стоит среди родного говна и даже религию предков не даст потеснить, хотя его от нее тошнит.

Б. интересуется статистика. Какой процент холопов рождается ежегодно в аристократических семьях и какой процент аристократов рождается в семьях холопов? Таков вопрос Б. Никто не предоставляет Б. нужной ему статистики. Он возмущен. Эта статистика была бы чрезвычайно полезна для государственного стратегического планирования.

– Каким образом? – спрашивает его Я. – И где обнаружил он признаки стратегического планирования в Еврейском Государстве? Более того, – становится серьезным Я., – стратегическое планирование приводит к стратегическим же ошибкам, – утверждает он.

Он за то и любит свою страну, продолжает Я., что в ней даже недельный прогноз носит вероятностный характер.

Баронесса смотрит на спорящих. Ирония женщин ранит самолюбие мужчин, знает она, и потому только взгляд ее предлагает Б. подумать о том, что делать статистике с тысячью оттенков между аристократизмом и холопством. Кроме того, она не уверена, и это она говорит хоть и мягко, но вслух, что обида, которую Б. наносит своей резкостью евреям рассеяния, может сделать идею сионо-сионизма более привлекательной в их глазах.

– Не стоит беспокоиться, – отвечает ей Б., – кроме того и они хорошо понимают, что бесплатная страховка – никому не вредит. Ведь пока эта говяньенкая страна существует, – употребляет он уничижительный эпитет явно лишь для того, чтобы им был еще больше оттенен надменный тон его высказывания, – на крайний случай и она им может сгодиться.

Я. развлекается тем, что присваивает Б. оптом всевозможные цветистые титулы. Баронесса утверждает, что эти его издевки настоящей целью своей имеют аристократский радикализм Б. поощрить еще больше.

С каких это пор Б. стал защитником ортодоксального иудаизма, со смехом спрашивает его Баронесса, имея в виду его симпатию по отношению к защите религии предков гипотетическим говночином-аристократом.

– А вот перечел недавно у Пастернака в “Докторе Живаго” рассуждения одного из героев о еврействе и христианстве, – ответил Б. – В царстве божьем нет народов, есть личности, говорит этот герой. Этот праздник и блаженство духа, продолжает он, родилось на еврейской земле. И все приняли предложение, захваченные на тысячелетия. Все, кроме евреев, говорит он. Так он понимает ситуацию. Герой носит фамилию Гордон. Он это говорит в разгар Первой мировой войны. Вокруг беседующих после двух тысяч лет повального христианства рвутся выпущенные солдатами христианских армий снаряды. К этому времени, – добавляет разгоряченный Б., – презренный иудаизм уже две тысячи лет практически не применяет смертной казни и не ведет войн. Властителей дум еврейских вопрошает герой: “Отчего не скажут они – не будем называться как прежде, не будем сбиваться в кучу, разойдемся.” Пишет Пастернак эти строки после Второй мировой войны с ее концентрационными лагерями и крематориями, где собирали вместе разрозненных.

Наглядным пособием по еврейскому идиотизму называет Б. этот текст. Еврейская жестоковийность в русской поэзии – старается он для Я. придать своей иронии литературно-философский оттенок.

Насчет “кучи” и насчет “разойдемся” – это кажется Я. очень знакомым. Он помнит в себе это бодрое чувство, которое появлялось у него, когда в своем окружении он оказывался единственным евреем. Теперь вся ответственность – на нем, он один в ответе за то мнение, которое сложится у окружающих о его экзотическом племени. Однажды, в студенческое время в донских краях, на сборе винограда, куда их курс послали на помощь той осенью, он оказался в паре с местной девушкой, по другую сторону ряда срезавшей гроздь.

– Ты кто? – вдруг спросила она.

– Еврей, – понял он ее вопрос.

– Евреи ведь – нехорошие люди?

Честная беседа не бывает тяжелой.

– Скольких евреев ты знаешь?

– Нашего доктора.

– Он плохой человек?

– Нет, – ответила она, немного подумав.

Дальше они движутся молча. Сквозь виноградные лозы и листья Я. видит ее лицо. На нем отражаются ее мысли. Ее мысли напоминают Я. чуть треснувший лед. “Евреи – нехорошие люди. Готовь сани летом, а телегу зимой. Без труда не выловишь и рыбку из пруда”. Эти проверенные временем истины не могут быть ошибкой, думает она. Что она знает об этом докторе? Или об этом худеньком студенте? Она хмурится, а Я. иногда поглядывает на нее, когда она бросает гроздь в корзину. За ней эти бесконечные ряды винограда, великий роман о здешней жизни. На нем рубашка с короткими рукавами, брюки и сандалии на босу ногу.

Б. поднимет его на смех, если он расскажет об этом эпизоде. Самого Б. студентом отправляли на картошку. На юге, среди винограда, обсуждать с девушкой национальный вопрос! Только Я. на такое способен!

Но Б. не до него, он еще не окончательно рассчитался с Пастернаком.

– Значит, разойтись, быть как все? – Б. понизил голос, будто за кулисами размахнулся кто-то из не занятых на сцене актеров, чтобы “кнок-оутировать” (набоковское правописание) лист металла. – О том, что немецкие евреи к приходу нацистов к власти осуществили эту его мечту, он не слышал? Положим, Набоковское свидетельство “ее шеф был еврей, впрочем, еврей немецкий, т.е. прежде всего – немец, так что она не стеснялась его поносить”, – могло быть ему неизвестно. Ну а этого сам он не знал? – Б. продолжает швырять в Пастернака цитаты из Набокова, томик которого он принес специально для этой цели (предыдущую цитату, короткую, он воспроизвел по памяти): “В Зине была черта, стеснявшая его: ее домашний быт развил в ней болезненную гордость, так что даже говоря с Федором Константиновичем, она упоминала о своей породе с вызывающей выразительностью, словно подчеркивая, что не допускает (а тем самым все-таки допускала), чтоб он относился к евреям, если не с неприязнью, в той или иной степени, присущей большинству русских людей, то с зябкой усмешкой принудительного доброхотства”. У Набокова к этим вещам абсолютный слух (у него еще абсолютный чувство свободы, заметил Я.). И что же, это убудочное состояние Пастернак предлагает мне в уплату за возможность ему писать стихи на русском языке? Не дороговато ли? Слово “убудочное” я употребил не в ругательном смысле, а как определение положения незаконнорожденного гражданина, которое может быть и вполне сносным, но от этого не перестает быть убудочным.

Я. глядел на оратора весело, Б. сегодня с самого начала выглядел так, будто он пришел на решающее совещание перед судьбоносным сражением. Остальные члены

Кнессета Зеленого Дивана смотрели на него с разной степенью любопытства. Сам Б. рассмеялся после паузы и теперь приобрел вид знающей себе цену бойкой девицы, у которой из-за неосторожного движения мелькнула интимная часть одежды, и эта девица показывает всем своим независимым видом, что ничего из ряда вон выходящего не произошло.

Б. продолжил:

– Недавно по телевизору показали еврейские секты, верящие в мессианство Иисуса. В одном Иерусалиме этих сект больше десятка, не все называют себя христианами, но все, как я понял из передачи, лояльны еврейскому государству и служат в армии. Меня это не тронуло. Ну и пусть, подумал я. Русским женщинам, здесь принимающим иудаизм ради детей, мне всегда хотелось, но неловко было сказать: бросьте, не унижайтесь, вы и так свои, о детях ваших – и речи нет. Разве вы не видите, какая буря поднимается всякий раз, когда иудейская религиозная традиция, стремясь втихомолку соблюсти тысячелетние правила, пытается похоронить погибшего нееврейского солдата отдельно? Ну да, я атеист, вернее агностик, – поправился Б., – мне кажется, что если бы “мойдодыр” толковали так же долго и с таким же завидным упорством, как Библию, то и из него можно было бы вывести всю мудрость жизни и все достижения человеческой цивилизации. Но нации-то отмереть отказались, а история их и религия – это часть их “я”, и если за этим Гордоном чудится им попытка размыть их национальные дамы или подновить их религиозные дома, то такая попытка вызывает у них протест, страх, а иногда и агрессию. А он размывает и подновляет, потому что нет эллина и иудея, говорит он им, и все ваше – наше. А все мое – ваше. И говорить ему это и сладко и легко, потому что это его “мое” – складное, умещается в чемодане его души. Ведь самые щедрые на земле люди – те, у которых ничего нет. А там, где кое-что ему принадлежащее, в чемодан не укладываемое (Б. сделал не слишком широкий охватывающий жест руками над зеленым диваном) действительно имеется, там что-то его пугает или отвращает. Я по-человечески этот страх могу понять. Но когда из этого делают философскую систему или, того более, строят брезгливую ли, праведную ли мину, прижимаются с любовью к чужим богам, на меня накатывает отвращение. Или эти новые святые – мудрые еврейские священники, вносящие свежую струю в христианство. Едва прикоснувшись к религии, которая до них развивалась и шлифовалась столетиями, приобретает покров, подходящий к телу народа, эту религию исповедующего, они сразу бросаются что-то в ней реформировать, поправлять, – уже с откровенной неприязнью сказал Б.

– Согласен, – поддержал Я. – Кроме того, сколько бы от такого утверждения ни отрещивались, а Освенцим построен, если не на фундаменте, то уж, по крайней мере, на почве многовековой христианской культуры. А Белль в послевоенной Германии криком кричал о той легкости, с какой комсомольцы ведомства Геббельса переквалифицировались в апостолов и проповедников христианской морали. С другой стороны (Я. принимает позу независимого эксперта, он теперь – сама непредвзятость), англосаксонская протестантская свобода вызрела в Америке в той же самой религии. Сохранив Бога как символ и высокий образ, решив, что он однажды выдал им инструкции и теперь занят другими галактиками, они приняли всю практическую ответственность за земные дела на себя. И теперь весь мир их копирует и фыркает с галльским акцентом, фыркает и копирует, копирует и прикрывает цветными тряпочками флагов свое государственное устройство, будто гениталии. И эти гениталии государственности у него точь-в-точь как у заокеанского родителя. Религия здесь, скорее всего, вообще ни при чем. Ей требуемую форму придают под давлением какого-то более сильного пресса.

– И что это за пресс? – спросил А.

– Не знаю точно, – ответил Я. – может быть, тысячелетние национально-культурные традиции. Но каковы бы эти традиции ни были, они могут быть стартовой площадкой для тех, кого сегодня третируют и определяют как “чурок”. И вот всех нынешних “чурок” мне хочется спросить, знают ли они, почему древние римляне никогда не стремились к завоеванию германских земель? Да потому, что считали германцев непроходимыми “чурками”! Не будьте расистами, не верьте, будто вы сами ни на что не способны! Не требуйте ничего от других! Будьте горды и настойчивы, и рано или поздно и у вас получится. Потому что так уже было с другими народами. И в этом заключается – ЧУРКОСИОНИЗМ!

Я. замолчал.

– Патетично? – спросил он после паузы, смеясь и глядя на Баронессу. – Согласен, неопиты всегда патетичны.

Баронесса смотрит на Я. с деланной насмешкой, но в ее взгляде читает он почти материнское любовное резвие дитем, захавшим на своем трехколесном велосипеде на проезжую часть дороги, и ободренный Я. распоясывается еще сильнее.

– Я в конечном итоге благодарен Куприну за его знаменитое письмо. Хотя я со многими положениями и эпитетами в нем не согласен, но он помог мне взглянуть со стороны на самого себя. Это, конечно, прежде всего – поток эмоций, но поток

правдивый, как правдив и его “Гамбринус”. Это две стороны одной медали. Пойдемте к компьютеру, – позвал он, – у меня там запомнена ссылка на это письмо. Вот. Это он про нас, – сказал Я., пожалуй даже с гордостью. “А то они привязались к русской литературе, как иногда к широкому, щедрому, нежному, умному, но чересчур мягкосердечному, привяжется старая, припадочная, истеричная блядь, найденная на улице, но, по привычке, ставшая давней любовницей. И держится она около него воплями, угрозами, скандалами, угрозой отравиться, клеветой, шантажом, анонимными письмами, а главное – жалким зрелищем своей боязни, старости и изношенности. И самое верное средство – это дать ей однажды ногой по заднице и выбросить за дверь в горизонтальном положении”.

– Ну что ж, – прокомментировал Б., – от старости избавиться невозможно. А “блядь” – это состояние, к которому приходишь путем сознательного выбора.

– Я, когда прочел впервые эти строки, – продолжил Я., – сначала оторопел, не поверил. Сцена с еврейским парикмахером из того же письма, который “ссал на обои”, потому что ему назавтра переезжать, показалась мне знакомой. Я вспомнил – у Сологуба герой, вовсе не еврей, в похожей ситуации вытирает жирные руки об обои. Я заподозрил подлог. Но потом прояснилось – письмо подлинное. Позже я едва ли не влюбился в эти строки, они как будто принесли мне освобождение.

– Разбудили, как декабристы Герцена, а Кабала – Мадонну, – прокомментировал Б.

– Тогда, наверное, – продолжил Я., – впервые поколебалась моя уверенность, и брошены были сорные семена сомнений в чистые и правильные грядки дружбы народов. Сказанные Куприным слова в данном случае относились к литературе, но я сам добровольно перенес их и на страстное участие евреев в русской жизни. Особенно в тот печальный период, когда мощный поток русского бунта принял в себя жаждавший приложения проснувшихся в нем созидательных сил еврейский приток. Но я пинка под зад ждать не стал. Правда, это не вполне моя заслуга, кое-кто успел решить об отъезде до меня.

Я кивнул в сторону Баронессы и поэтому, наверное, вспомнил о ее адресованном Б. упреке в том, что тот обидел понапрасну массу еврейской публики.

– Кто только обиделся, того уже и не жаль, – говорит он, – но если хоть один внимающий Б., задумавшись, возжадет сионо-свободы и, даже не приняв эту свободу для себя по причине ее очевидной тяжести, станет сочувствовать ей, то я готов выковать меч, которым посвятят сионо-сиониста Б. в еврейские рыцари.

Он так и сказал – “внимающий” и “возжадет”, подчеркнув эти слова насмешливым тоном и словно подразумевая как очевидное, что патрициям достается львиная доля свободы.

Члены Кнессета со старанием изображают придворную свиту, присутствующую при производстве Б. в рыцари. И хоть он, как и все, смеется, но кончики ушей его покраснели и именно на них, кажется ему, устремлены взгляды ехидного племса.

– У меня есть на эту тему еще одна колоритная история, – вспомнил Я. с улыбкой. – Я проходил трехмесячные военные сборы после института перед получением офицерского звания, и там командовал нами наш сокурсник, прошедший срочную службу потомок донских казаков – ефрейтор Марютин. Командовал умно, словно нехотя, хорошо понимая полускоморошеский характер этой нашей короткой армейской практики. Однажды, внимательно взглядевшись в меня, он сказал, что из меня мог бы получиться хороший солдат. Поверьте, случалось, что меня хвалили по разным поводам, но эту похвалу я до сих пор храню в памяти как Звезду Героя Советского Союза. Так вот этот ефрейтор Марютин пересказал нам однажды историю, которую он слышал от своего деда или прадеда, не помню. Этот дед или прадед рассказывал, что однажды казачьим разъездом они верхом передвигались в степи, и вдруг видят – турчанка, одна в степи. Они поскакали к ней. Та, догадавшись, что ей сейчас предстоит, присела в траве, а потом стала обмазывать себя своими же экскрементами, чтобы избежать изнасилования. Ну и?.. – спросил тогда внучек дедушку. “Никогда не переступай через...”, но тут офицер позвал ефрейтора Марютина, и он не закончил фразы. Понимаете, – продолжил Я., – Марютин-внук (или правнук) в этой ситуации ничего дурного не сделал бы с женщиной, будь она русская, еврейка или турчанка, разве что рулон туалетной бумаги подарил бы ей, но вот рассказ этот дедовский запомнил и нам пересказал.

– И что же, этот ефрейтор тоже аристократ? – спросила Баронесса с сомнением.

– Еще какой, – ответил Я. уверенно и продолжил. – Когда я вижу, как страстно и преданно припадают порой наши соплеменники и соплеменницы в Российской Империи к национальным, культурным или религиозным основам русской жизни, я вспоминаю письмо Куприна. Истеричную любовь евреев к русской интеллигенции Жаботинский назвал презренной любовью свинопаса к царевне. Что этот еврейский христианский и русский порыв? Не знаю. Кажется мне иногда – это вновь обнажается еврейская попка...

Я помолчал и затем добавил:

– Перед тем, как опуститься в осоку.

Баронесса посмотрела на Я., в этом сравнении было что-то для нее знакомо-непонятное.

– Что это за осока? – спросила она, когда они остались вдвоем.

– А помнишь, ты рассказывала мне, что однажды в детстве ты присела в траве и порезалась осокой?

Баронесса удивленно рассмеялась.

– И ты это запомнил? – будто она не знает, как цепко хранит его память все, что связано с ней.

ДЕНЬ ГОВНОЧИСТА

Было бы странно, если бы столь амбициозный Кнессет Зеленого Дивана не внес свою лепту в государственный ритуал и национальную символику, например, не учредил бы в стране своего праздника. Но Кнессет отличается скромностью. Он готов ограничиться старым праздником, вдохнув в него новое содержание. Собственно, и содержание может остаться старым. Угол зрения должен быть новым. И потому Кнессет Зеленого Дивана предлагает возродить праздник 1 Мая под именем “ДЕНЬ ГОВНОЧИСТА”. Конечно, это должен быть день свободного говночиста, говночиста-буржуа, говночиста-аристократа.

Не всегда мы осознаем, утверждает коллективное сознание Кнессета, какое громадное значение имеет в нашей жизни говно. Особенно – говно в качестве символа. Баронессу, например, очень тронуло имевшее широкое хождение среди репатриантов высказывание, гласящее, что всякий прибывший на историческую родину в Еврейское Государство обречен съесть в нем свою собственную бочку говна. Это выражение представляется Баронессе лексически, стилистически и по своей сущности более точным, чем высокопарное и чужое “испить чашу”. По мере того, как опустошалась ее личная и их общая с Я. бочка, она все чаще и все с большей жалостью смотрела на вновь прибывающих репатриантов, искренне и горячо сочувствуя им. Говно как символ присутствовало и в анекдоте, который с наслаждением рассказывали друг другу новые граждане Еврейского Государства на первых этапах живания, когда их затянувшаяся, казалось им, неустроенность, горечь потери статуса, – требовали хоть какой-нибудь компенсации, какого-нибудь героически-отрицающего жеста. Евреи, разбросанные по миру, – удобрение, утверждал анекдот, – собранные вместе – просто куча говна. О том, что многие коренные обитатели тех мест, где евреи будто бы удобрение, не всегда согласились бы с этим анекдотом и громогласно заявили бы, что они и там – говно, об этом они предпочитали не упоминать. От этого предположения их берегала защитная реакция человеческой психики. И все же что-то новое, неизведанное было в этом анекдоте. Ну не стали бы они смеяться над ним в Российской Империи, или смеялись бы, но не так. Станный, неожиданный привкус был у этой жалкой, в общем-то, шутки – привкус обретаемой гордости, что ли?

УДЕРЖАТЬСЯ

Наконец, в поисках работы – успех. Зарплата почти минимальная, работа не инженерная, но наконец-то Я. почувствует снова запах канифоли, увидит, как расплавится и заблестит олово на жале паяльника. Впереди месяц, насыщенный праздниками, нет смысла начинать сейчас, приходи через четыре недели, говорят ему. Он просит материалы по новой работе и усаживается за них. При подготовке к отъезду все время было отдано ивриту, теперь очевидно, что нужно подтягивать английский, в котором практически не было нужды в Российской Империи. После окончания праздников, аккуратно одетый, нагруженный справочниками, которые могут понадобиться, торжественно провожаемый женой, он отправляется на свое первое место работы. С теми же справочниками, но несколько уставший от пешеходного перехода, он возвращается домой через два часа – из-за начавшейся в эти дни войны в Югославии отменены заказы, под которые он был приглашен на работу. Мы очень сожалеем, сказали ему.

Обидчивые и ранимые, как всякие новички, на сей раз они падают духом. Я. возвращается к поискам работы. На уроки иврита к их новым знакомым его жена продолжает ходить одна, но однажды во время урока у нее на глазах появляются слезы. Не нужно ли им денег, спрашивают знакомые.

– Нет, нет, денег у нас еще много, – отвечает она.

Их новые знакомые смеются по поводу их богатства, но еще энергичнее и настойчивее обзванивают своих друзей в поисках работы для Я.

“Когда мы решались на отъезд, он готов был к любому труду, а на Родине Предков ему захотелось работать по специальности”, – с веселой иронией будет

рассказывать Баронесса впоследствии. Тогда же она будет молча поддерживать его упорство и так же молча брать лишние уборки. Лишь через несколько лет она расскажет ему, что, наблюдая за избранной ими стратегией, часть женской половины ульпана однажды сообщила ей, что от такого главы семейства они, пожалуй, предпочли бы уйти. Например, в кибуц. Ни Я. и никто другой в мире не жаловал ей титула Баронессы. Пума шла к нему своей дорогой.

Наконец, появляется надежда, результат звонков их новых знакомых, а не бесплодных поисков Я. – его приглашают на интервью в крупную американскую компанию. Не разработка – ремонт, в этой области электроники у него нет опыта, говорят ему.

– Здесь рождаются с опытом? – дерзит отчаявшийся Я.

– Нет, – добродушно и с улыбкой отвечают ему, – такой опыт приобретают за два-три года аналогичной работы в армии.

– Пустышка, – докладывает он жене.

Но его все-таки решают взять. Это оборачивается еще одним испытанием. Он всегда шутил, что ему легче спроектировать самолет (который, конечно, не взлетит), чем починить утюг. Его приводят в ужас тома сопроводительной документации на английском. Ответы на иврите на свои вопросы он не до конца понимает. Удержаться, выиграть время, но как? Главное, не быть бесполезным. Он берется за работы, которые кажутся ему более знакомыми и легкими. Однажды, вернувшись с работы домой, измученный давлением двух малознакомых языков, он говорит жене с тоской – хоть ты не забывай русский.

Ему приходится испытать еще один вид новизны: впервые в жизни он – хуже всех. Но принятая тактика срabатывает. Он выхватывает работы попроще, что позволяет ему в течение всего дня быть занятым и основное внимание переключить на языки. Постепенно он расширяет и круг работ, все же продолжая чувствовать себя не в своей тарелке. Ничего, на этом этапе главное – удержаться, выкрутиться, не упасть. Помимо профессиональных и языковых проблем он явно не вписывается и в общую атмосферу. Он стесняется своего корявого иврита. Но даже если бы он в совершенстве владел им, это ничего бы не изменило. Привычная для него по русской литературе неторопливая обстоятельность в изложении мысли не сочетается с намеренной легкостью средиземноморской речи. Толстой с Достоевским тель-авивским летом начинают неистово потеть и быстро прячутся в тень. В воздухе – нарочитый отказ от серьезности, легкий пинг-понг шуток. Удачными шутками не угощают потом друзей как свежим эклером. Их, как окуроч, бросают мимоходом, и беседа движется дальше. Если бы кто-то попытался повторить эти шутки, в воздухе повисла бы неловкость. Я. решает молчать, он внимательно слушает новые музыкальные ритмы речи, новые правила ее построения. Когда шутят по поводу его молчания, он старается улыбаться весело и добродушно, он напяливает на себя маску безобидной глуповатой дворяжки и весь уходит в слух. Удержаться. Эта тактика имеет и нежелательные последствия: на его первой аттестации босс намекает ему, что в некотором смысле он – ни рыба ни мясо. Неприятно, но задача его – удержаться.

ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ

К своим первым выборам в Еврейском Государстве Я. относится со всей серьезностью. Он старается не пропускать ни дебатов, ни статей. Всеми добытыми знаниями он делится с женой. Она их принимает, но пока не приступает к взвешиванию. В стране многолетняя ничья между Лагерем Вечного Мира и Лагерем Горячих Патриотов. Лагерь Вечного Мира составляют партия Экс-Социалистов и партия Борцов За Права, вместе они борются за спокойствие, мир, за права бедных и обездоленных. Голосуют за них, как он узнал и как ни странно, люди устроенные, обеспеченные. Лагерь Горячих Патриотов – за свободный рынок и Неделимую Родину, и за него голосуют по большей части люди, страстно спорящие со служащими банка, пытающимися урезать их разрешенный кредит.

Все это Я. не очень понятно. Но ведь и в Большом Мире евреи ведут себя странно, говорит он себе. Их суетливость и ловкость, с которой они еще зелеными обрывают денежные знаки с дерева жизни, их нежданное появление везде, куда их не звали с уже готовыми мнениями, с которыми они, кажется, родились, – все это вызывает у окружающих иногда недоумение, иногда восхищенную оторопь, иногда зависть, порой же досаду и раздражение. В последнем случае их принимают за битль. Характер и интенсивность битль зависят от стадии исторического развития, особенностей культуры и стоящих на повестке дня актуальных проблем бьющего общества.

Лагерь Горячих Патриотов стоит за Великое Еврейское Государство (от Атлантического океана до Тихого, сказали бы они, но в далекие времена, когда Бог ставил задачу перед евреями, его кругозор был ограничен нилом и Евфратом).

Впрочем, электорат Патриотов готов ограничиться рубежами от Средиземного моря до реки Иордан, это целых 150 километров в самом широком месте. (Тому, кто никогда не был на священной реке Иордан, сказал однажды Б., следует знать: не каждый прыгун в длину перепрыгнет с одного его берега на другой, разве что – каждый третий.)

Лагерь Вечного Мира – за разумный компромисс с Соседями. 150/2 – остается еще целых 75 километров, а если не 75, а 73? Или 72.5 – разве вечный мир не стоит этого, говорят они. Конечно, стоит, отвечают они же.

“Кроме того, у нас свободный выход в Средиземное море”, – убеждает себя Я. На то же намекают Соседи. Насилие рождает насилие, говорят агитаторы из Лагеря Вечного Мира.

К Я. с женой приезжают знакомые, они уже двадцать лет в стране, их отношение к местной политике отличается завидной уверенностью.

– Дерьмо и те и другие, – характеризуют они кратко оба соперничающих лагеря, – но голосовать нужно за кого-то одного из них, иначе снова будет ничья, и Клерикалы сдерут максимальную цену за коалицию с одной из сторон.

– Ага, значит, еще и Клерикалы, – продолжает путаться Я.

Чтобы все-таки разобраться, он начинает ходить на партийные митинги соперничающих сторон, устраиваемые для новых репатриантов. Лагерь Вечного Мира привозит тяжелую артиллерию – профессор из Иерусалимского университета читает им добротную лекцию о международном положении. Сын известного писателя на идише, расстрелянного Сталиным, стремится убедить их в неизбежности компромисса. Он объясняет, что Экс-Социалисты тоже за рынок, но только с большими отчислениями в социальную сферу. Что ж, понятно. И пожалуй, убедительно. На встречу с сыном писателя их везут на автобусе в какое-то очаровательное местечко, сын писателя между прочими аргументами приводит им и такой: как лубой механизм, так и еврейские мозги не могут работать без смазки. А лучшая смазка для еврейских мозгов – деньги. Американские гарантии под десяти миллиардный заем для абсорбции репатриантов обусловлен американцами продвижением к Миру. После лекции – на травке по сниженным ценам продавались открытые сандалии, которые так охотно носили здесь в ту пору на босу ногу. Легкий привкус подкупа неизменно сопровождает Дело Мира, но не вызывает в Я. особых возражений. Позже скажет с экрана один из Странников Мира: самый дешевый способ решения проблемы – это решение ее с помощью денег.

Лагерь Горячих Патриотов, находящийся у власти, берет еще выше, посылая члена Большого Кнессета, Председателя какой-то Комиссии. И вот он делает ошибку, по крайней мере – в отношении Я.

– У вас у всех будет работа, – провозглашает он, – мы построим для вас 1000 предприятий по всей стране. А разве вас не тошнит от красного цвета? Вам не надоели социалисты-коммунисты?

А вот это – грубая работа. Во всяком случае, для Я. Дальнейшее Баронесса со смехом описывала Б.

– Никогда не видела его таким. Он побледнел, встал и стал кричать: “1000? Не 999? Не 1001? Именно 1000? Вы видите во мне быка на арене? Достаточно махнуть передо мной красной тряпкой, и я побегу с выпученными глазами туда, куда вы меня направите?”

Я. тоже смеялся, слушая этот рассказ, но выбор был сделан. Как часто бывает, решение принимается на основе не только рациональных доводов, но и личных эмоций.

– Они хотят видеть нас стадом, управляемым эмоциями, – не вполне логично жалуется Я.

Еще долгие годы он будет испытывать непреодолимое отвращение к Лагерю Горячих Патриотов. Заодно он злится на раздражающие трансформации, происходящие иногда с новыми репатриантами. Он выделяет особо группу, которую условно называет “походниками”. С бородами и гитарами сидели они у лесных костров в Советской Империи, пели славные песни и были бы очень милы, если бы не были так безнадежно банальны. Борода здесь стала больше, гитара ушла в тень. Ее заменил караван на “территориях”. Вместо песен появились крутые шутки, которые по недосмотру редакторов даже попадают в газеты. Вот два свежих героических еврея проезжают мимо богатой арабской деревни.

– А хороши у них дома, особенно вот этот, – говорит недавно прибывший житель каравана, – этот я беру себе, – круто шутит он.

– Э, брат, не заносись, – в тон ему отвечает старожил каравана, – у нас очередь.

Впрочем, большинство репатриантов настроено на этом этапе (если вообще как-то настроено) на противоположный лад. Никогда больше партии Борцов За Права не получить такого количества голосов. Я. тоже симпатизирует им, но предпочитает испытанную партию Экс-Социалистов – основателей государства.

Они даже помогают Экс-Социалистам в предвыборной кампании, заходя к таким же, как они, новым репатриантам. За одной из дверей их встречают с отсутствующим видом, на стенах таблички с английскими словами.

– Мы скоро уезжаем, – объясняют им. Минутная горечь, но, вздохнув, Я. и Баронесса идут по следующему адресу. Видимо, не только они сделали выбор в пользу Дела Мира. В 1992 году в Еврейском Государстве происходит переворот, к власти приходит Лагерь Вечного Мира с новой надеждой договориться с Соседями, провозглашенная цель которых – сбросить евреев в море.

В своем тесном съемном жилище с отвратительно серым каменным полом, напоминающим дешевую мостовую, они впервые в жизни чувствуют себя не в оппозиции. Впервые они “во власти”. Тогда же и накаркал уходящий в отставку Премьер из Горячих Патриотов по поводу прогнозов на будущее.

– Соседи – те же Соседи, море – то же море, – то ли сказал, то ли буркнул и никакой обеспокоенности не выказал.

Пессимистам вообще жить легче, утверждает Я., их ожидают только приятные сюрпризы. Наверняка это кто-нибудь уже говорил, предполагает он, ведь эта мысль просто лежит на поверхности.

N++; О СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ

– Я давно ношусь с одной идеей, – говорит Я. – Господь создал человека злопамятным. И мы, конечно, не забыли пакостей англичан, не впуская в Холокосте в подмандатную Палестину. Правда, мы можем сделать вид, что во всем виноват этот английский министр Бевин (чего еще ожидать от бывшего профсоюзного лидера?) и этот премьер-министр Эттли, но все-таки перед другими англичанами мы в долгу – я имею в виду битву при Эль-Аламейне. Если бы англичане не остановили тогда Роммеля в Африке, погибла бы полумиллионная закуска будущего государства, а без нее ничего бы и не состоялось. И вот что я предлагаю. Я предлагаю на море против Тель-Авива построить громадный плавучий футбольный стадион.

– Что-то вроде “Титаника”? – предполагает А.

– Зря ты о “Титанике”, – ответил Я. и постучал трижды по стеклянному столику.

– И назовем мы этот стадион, естественно, стадион “Эль-Аламейна”, – продолжил Я.

– Ну и зачем строить его в море? – спросил А.

– В этом вся изюминка, – отвечал Я. – Рядом со стадионом построить ристалище, на котором болельщики после матча могут разрядиться в грандиозной драке по правилам с какими-нибудь водяными перчатками и сапогами. Кто сбросил противника в море, тот и победил. Победитель награждается Куфией Арафата, проигравший – надувной лодкой с двумя парами весел и компасом, всегда показывающим направление прочь от Святой Земли.

– А ристалище назвать в честь генерала Монтгомери – ристалище “Монти” (так его звали солдаты). Не все же англичанам спортивные игры придумывать, – гордый собою, закончил Я.

Его последние слова Кнессет встретил овациями.

– Сбор от матча Англии и Германии – в фонд поощрения искусств в Уганде, – предлагает Б.

– Что-то в этом есть.

– В этом есть message.

– В этом есть vision.

– Так мы что же, зажигаем в зубах сигару, наливаем стакан коньяку и начинаем битву за Англию? – спрашивает Я. – Забиваем осинового кола в крысиную нору под Ла-Маншем, – он обращается к Баронессе, но кивает в сторону Б.

– Почему бы и нет? – оживляется Б. – Но и Остров Пингвинов в итоге будет с нами, он в зоне наших культурно-эстетических интересов.

– Так широко горизонты интересов Еврейского Государства не раздвигал даже сам Господь Бог во времена Авраама и Моисея, дальше Нила и Евфрата он нам ничего не заповедовал, и Россия и Китай не должны нас опасаться, – возражает Я. и добавляет: – Опасный политик этот Б., хуже Черчилля.

И тут разошелся Кнессет.

– Уж если мы профукали для расселения Америку и Уганду, давайте хоть Средиземное море не прошляпим, – говорит А. – Стадион “Эль-Аламейна” и “Ристалище Монти” нужно соединить понтонной дорогой не только с Тель-Авивом, но и с Римом. Представляете, английский футбольный хулиган утром садится в свой Rover, пересекает Ла-Манш, первую банку из-под пива вышвыривает из окна, проезжая по Шампс-Элизе. Подзаправляется ящиком свежего пива в Риме и к вечеру, обгоняя “мерседесы”, достигает нашей “Эль-Аламейны”.

Вокруг понтонной дороги, как вокруг всякой Большой Дороги, вырастают предприятия высоких технологий, новую провинцию можно назвать Иудея-на-Воде, жители Еврейского Государства построят там дачи, и теперь у каждого будет два дома – один на суше и другой на воде, в котором можно будет укрыться от семейной ссоры или очередного обстрела Соседей.

ВРАСТАНИЕ В ПОЧВУ

Неустроенность съемных квартир, неприкаянность претят Я. и Баронессе. Их съемный домик хоть и жалок, но стоит на земле. Они оценивают достоинства клочка природы при доме. Придя с работы, можно бросить сумку в угол, и едва переодевшись, завалиться для вечерней беседы на уличном диванчике среди кустов. Сюда, не стесняясь, заглянут и соседи, такие же репатрианты, и затеется спор о том, куда мы попали, можно ли считать шекель конвертируемой валютой и что будет с нами дальше. Сюда забредают однажды сразу три котенка. Двое резвых и крепких вскоре убегают, а третий, с подламывающимися от слабости лапами, остается на поправку. Он и вправду вскоре поправляется и растет, но в равнодушного взрослого кота не превращается. Баронессу, когда она возвращается пешком одна, кот сопровождает на дорожке к дому фамильярным похлопыванием лапой по ногам.

– Наглец! Он просто не может дотянуться повыше, – утверждает Я.

Кот плетется за ними по улочкам, когда они выходят погулять в один из тех бархатных вечеров, когда все вокруг тонет в ложном умиротворении. Он бредет за ними, отступив на два-три метра, до йеменской синагоги, в которой тихо бубнят по вечерам и которая просто маленький домик, такой же, как тот, четвертую часть которого снимают Я. и Баронесса. И даже не весь домик отведен под синагогу, а только тоже четверть его. Менее решительно кот сопровождает их до синагоги иракской, которая выделилась из ряда обычных домов на улице и даже несет на себе большой семисвечник над парадной дверью. Но дальше он не пойдет за ними, потому что до ашкеназской синагоги еще далеко, и стоит она особняком, на площади. Коты в таких открытых местах чувствуют себя неуютно, а тем более невыросший полукот-полукотенок.

Впрочем, и Я. с женой туда не заглянут, дойдут до нее и повернут обратно к дому. Однажды в праздник они зашли вовнутрь. Угостились сладкими напитками, сушками, миндалем. Все эти мелочи они себе покупать еще не смели тогда. Оставшись на молитву, они не поняли ни слова, понятен был только общий строй. Едва ли ни каждое слово заканчивалось на “ха” (они уже знают, например, что “веахавта лереаха камоха” – это: “возлюби ближнего своего, как самого себя”). Архаичность языка молитв напоминала христианскую службу. Как если бы по-русски бубнили подряд что-то неразборчивое, вроде: “...вящего... сущего... имящего...” Чтение длилось около часа.

В следующий раз Я. попадет в синагогу уже не совсем добровольно. Их пригласят на субботу в религиозную семью в поселке на “территориях”. В синагоге его опекает молодой американец. В течение молитвы он периодически переворачивает ему страницы молитвенника, указывая, где именно они сейчас находятся. Заметив, что в книге его наставника четные страницы заполнены английским переводом, Я. шепнул ему, не поменяется ли он с ним книгой, чтобы ему легче было ориентироваться в ней. Американец соглашается, Я. это ничуть не помогает, но зато теперь в тексте без перевода теряется американец, а Я., избавившись от опеки, бодро переворачивает страницы, не ведая, что за час молитвы он прошел экстерном молитвенный материал следующих трех суббот.

За субботним столом тоже поют молитвы. Хозяева не имеют русских корней, кажется, – польские, Я. удивляет традиционность еврейской кухни, знакомой ему с детства.

– А восточные блюда вы не готовите? – спрашивает он, и обращает внимание на то, как бросает на него быстрый взгляд старшая дочь и, оторвавшись от еды, посмотрел на него внимательно и ее приятель, смуглый паренек в военной форме.

– Нет, – ответила хозяйка, – но его мать готовит, – показала она на паренька бесцеремонным жестом.

Еще много раз слонем в посудной лавке потопчется Я., пока не изучит тонкий для постороннего, но привычный для коренного жителя протокол слов, интонаций и понятных штампов, предназначенный скорее для обхода и сглаживания, чем для выяснения и решения проблем, возникающих при соприкосновениях культур восточной и европейской. Узнает в деталях непростую историю уже затихающей войны культур в недрах одного народа, сплоченного в общем противостоянии недружелюбному окружению. Если даже здесь все непросто, как можно рассчитывать на успех идеи многокультурного общества, задает он себе вопрос. Ему вспоминается краткий и незамысловатый диалог двух охранников соседствующих фирм, перекуривавших в

общей тени подъезда. “Русский” охранник листал газету, которую он прихватил с собой из вестибюля.

– Не дашь ли мне спортивную часть? – спрашивает коллега восточного происхождения.

– Бери, только верни, – с напускной суровостью отвечает “русский”, скрупулезно соблюдая принятый протокол общения между уважающими друг друга мужчинами. Принимая из его рук газету, “восточный” охранник опасливо косится на странного “русского”, посчитавшего необходимым напомнить ему о необходимости возврата прочитанной газеты.

Но не всегда несовпадение культурных протоколов остается всего лишь поводом для улыбки случайного наблюдателя, каковым в данном случае выступает Я., выгружающий в это время из машины измерительные приборы для фирмы, которую охраняет “русский” охранник. О другом “русском” охраннике мы узнаем из газет. Мы встречаем его у ворот школы. Человек он в возрасте, к обязанности своей относится серьезно – на нем груз ответственности за безопасность детей. Возможность теракта в школе отнюдь не гипотетическая, сказали ему на инструктаже, и он в этом не сомневается. Внимательно вглядывается он в лица прохожих, приближающихся к воротам, у которых он несет вахту, легким толчком в плечо подталкивает мешкающих школьников внутрь охраняемого им пространства. И даже когда он просто переминается с ноги на ногу от нечего делать, он выглядит живым символом ревностного исполнения обязанностей и осознания долга перед обществом. И надо же было в этот день случиться неисправности с электричеством в школе, и уже вызван для ремонта электрик, молодой “тунисец”, отслуживший нелегкую службу в армии, привычный к нервным столкновениям с соседскими камнетателями и своими демонстрантами, чья душевная чистота толкает их на борьбу за право соседей метать камни. Вот он припарковал свой фургон, груженный электрическим скарбом, недалеко от ворот и налегке идет в школу, чтобы сначала выяснить, что там произошло и какие инструменты ему понадобятся. С момента парковки он замечен охранником, смуглый оттенок кожи и весь восточный вид человека насторожили стража, и когда тот приближается к воротам, то уже не нужно кричать ему: “Стой, кто идет?” – весь вид охранника выразительнее знака “STOP”, пяти прижатых друг к другу пальцев на красном шестиугольнике. Весь его вид говорит – террорист не пройдет, он загораживает собою вход.

“Ну когда это чуело со стальными зубами научится вести себя по-человечески? – заранее раздражается электрик, чье закаленное армией хладнокровие не помогает ему справиться с внештатной ситуацией в самом центре его родного города. – Неужели так трудно сказать: “Привет, братишка, что за проблемы?” – услышать в ответ: “Да хрен его знает, с электричеством что-то” – и понять по тысяча и одной мелочи, что перед тобой – свой, свой в доску, которому всего-то нужно, скорее всего, подтянуть разболтавшееся соединение, а то и вовсе поднять язычок автоматического предохранителя.

Охранник тоже имеет дело с предохранителем, но он его не поднимает, он его отводит большим пальцем правой руки, готовя штатное оружие к бою, чего не замечает в раздражении электрик, молча отстраняющий шлагбаум левой руки охранника.

“Ты еще крикни “Стой, стрелять буду!”, образина старая! ” – пылает он изнутри и молча прокладывает себе путь на защищаемую территорию. И правда, звучит ему вслед какой-то крик и следом предупредительный выстрел в воздух. Электрик делает по инерции негативного чувства еще два шага вперед перед тем, как удивиться и обернуться, но ни удивиться, ни обернуться не успевает – вторая пуля уже проделала отверстие в клетчатой рубашке электрика.

Жители поселения на территориях, где Я. и Баронесса проводят эту субботу, – принадлежат к национально-религиозному лагерю. Я. решает не упустить возможность задать интересующий его вопрос – на что рассчитывают поселенцы, строя на территориях, заселенных другим народом.

– Это наша земля, – отвечает непреклонная женщина.

– Но ведь в этой ее части – большинство – Соседи? Что с ними?

– Пусть убираются, – ее непреклонность явно не признает ничего невозможного.

Такого ответа он больше никогда не услышит от Патриотов. Их обычный ответ: “Пусть живут, но земля – наша”. Полагают ли они, что все уладится само собой, или с божественной помощью, или что иногда нужно твердо, не задумываясь, стоять на своем, и тогда появятся неожиданные варианты решения проблемы, этого Я. так до конца и не понял.

В дом заглядывает соседка хозяев. Она проявляет снисходительный интерес к вновь прибывшим репатриантам.

– Если вы ничего не знали об иудейской религии, откуда вы вообще знали, что вы евреи, из записи в паспорте? – спрашивает она.

Такая постановка вопроса поражает и обескураживает Я. Как он объяснит ей на корявом иврите свою жизнь? Впрочем, нерелигиозное большинство Еврейского

Государства самоидентифицируется не на религиозной, а на этнической и культурно-исторической основе.

И еще одно приглашение на субботу они принимают от своих знакомых, обратившихся к религии еще во времена Советской Империи, желая понять, что привело их к этому там и как удерживает здесь. Осторожно задают они обычные вопросы атеистов и агностиков, от которых настораживаются и замолкают старшие дети за субботним столом. Из запомнившихся Я. ответов один повторялся: “Этого я еще не знаю”. Хуже всего с книгой Иова. Если у вас нет ответов на вопросы Иова, чего стоят все остальные ваши знания? – спрашивает Я., и в последующие годы этот вопрос стоит между Я. и любой религией. В отношении же основ и причин религиозности своих знакомых ни к каким однозначным выводам он не приходит. Там, в Российской Империи, первоначальный толчок – гордыня, стремление к индивидуальной неповторимости, здесь – упрямство, предполагает Я., но без особой уверенности в правильности своих суждений. С приглашением в синагогу освоившийся Я. разделяется с легкостью, удивившей его самого.

– Спасибо, – говорит он вежливо, но решительно – в синагоге я уже был.

Возвращаясь от ашкеназской синагоги, они проходят по улице Трумпельдора. Одна сторона этой улицы выше другой. Ряд домов, словно всплывших из зелени на высокой стороне, смотрит на дома напротив, в зелени тонущие. А из этого домика на низкой стороне старожилы улицы привезли им два веселеньких шкафчика, один светло-зеленый, а другой – светло-бежевый. Я. с женой сами грузили их в фургон и сами, собрав, поставили рядышком вдоль одной стены. Гости окидывали их с деловитой завистью, еще бы – комната теперь выглядит гораздо оптимистичнее, в ней целых два разноцветных шкафчика, в которых можно разложить свободно содержимое чемоданов, пересекших вместе со своими хозяевами границу двух эпох в их жизни.

Эти дома на улице Трумпельдора очаровывают их, но окончательно соблазняет “дворянское гнездо” их новых знакомых. К дверям их дома они проходят от калитки по каменной дорожке осторожно, чтобы не оступиться и не попасть ногой в прибор вьюнков, накатывающий на дорожку мелкими волнами. Они начинают думать, как бы и им построить дом на земле. Весть о льготном строительстве на голом холме у старой границы приходит как раз вовремя. И они решаются.

ОХОТА НА ЗОЛОТОЕ ПЕРО

Слово “машканта”, то есть ипотечная ссуда для покупки жилья, вошло в лексикон новых репатриантов и осело в нем, будто упитанная родственница в мягком кресле. Это и горячая тема новых местных русскоязычных газет, корнями выросших из русской перестройки и от нее унаследовавших ажиотаж и вечно перегретое состояние, теперь еще с примесью еврейской истеричности. Газета “Грустно” наполнена страстными статьями авторов женского пола, предвещающих конец света по каждому поводу. Еврейскими пифиями в состоянии перманентной послеродовой горячки называет их Я. к удовольствию Баронессы, которой хочется устойчивости в этой новой жизни. Она рада оптимизму мужа.

В багаже новых репатриантов, привезенном из прежней жизни, – абсолютное доверие к прессе. Они знали до этого два вида прессы – коммунистическую, которая совершенно надежна, если трактовать все в ней изложенное наоборот, и новую – антикоммунистическую, в которой каждое слово – откровение. Они привыкли верить печатному слову.

– Это написано в газете, – еще в веселом ульпане сказал кто-то из них учительнице.

– Мало ли что напишут в газете, – удивилась та интонации, с которой ссылаются на инженерный справочник по строительству железных дорог. Она родилась здесь, и цена коммерческой прессы в ее глазах явно невысока.

– Пресса – универсальный детонатор к любой общественной бомбе – так сформулирует для себя Я. в период его разочарования в либерализме издержки свободной прессы. Особенно после того, как узнает о ее роли в раздувании страстей перед Первой мировой войной.

Темой машканты в прессе заведуют мужчины, оставив женщинам вопросы обороны Отечества, где их мужество, как известно, поддерживает дух сражающихся мужчин. Особенно выделяется некто, кому Б. приклеил кличку Золотое Перо. Простыми расчетами, которые может проверить любой бухгалтер, не то что профессиональный математик А., Золотое Перо убедительнейшим образом доказывает, что ссуда, привязанная к инфляции, ведет к неизбежному закабалению в недалеком будущем. А. говорит, что сложено и умножено верно, но в исходных посылах расчетов он ничего не понимает. А. и Б. решают выждать, В. об этом вовсе не думает, он не собирается обзаводиться таким тяжелым хозяйством, как собственная квартира. Я. легкомысленно заявляет, что если все действительно так, то пострадают сотни

тысяч и государству придется что-то предпринять, они не будут первыми, кто попадет под колеса. А кочевая жизнь – полностью противоречит его сионистским убеждениям. Баронесса внимательно следит за дебатами, ей очень хочется свой дом, который, как известно, крепость, а в крепости – столько места для женщины, которое она может обжить. Ведь в этом главное предназначение женщины – обжить то, что не успели разрушить мужчины. В итоге она принимает решение. Машканта будет взята, но в минимальном размере, не соглашается она с грандиозностью планов Я., готового взять все, что дадут.

В последующие годы инфляция падает, а цены на жилье неизменно растут. Настает день, и А. производит новый ошеломляющий расчет, в соответствии с которым убытки, нанесенные русской волне репатриации от промедления в покупке квартир из-за роста цен на них, приближаются к миллиарду долларов. В. предлагает открыть сезон охоты на Золотое Перо. Идея принимается с энтузиазмом. А. рассчитывает оптимальную длину розги, Б. берется за рецепт рассола для вымачивания инструментов правосудия, В. пишет охотничий устав, Я. составляет толковый словарь гиканья и улююканья. На Баронессу возлагаются хлопоты походной кухни. Охотничьи рассказы рождаются в процессе самой охоты, предвкушает Я. Когда все готово, они замечают, что статьи Золотого Пера что-то давно не появляются в прессе. Разгадка приходит через два месяца – Золотое Перо присылает свой репортаж из Москвы. Жизнь дается человеку только один раз, пишет Золотое Перо, и прожить ее надо там, где разворачиваются действительно масштабные события. А такие разворачиваются нынче, по мнению Золотого Пера, в Москве, а не в говенном Еврейском Государстве.

А. простым делением численности населения Российской Империи на численность населения Еврейского Государства высчитывает вероятную сумму предполагаемых убытков, ожидающих население Российской Империи, если Золотое Перо займется российскими экономическими проблемами. Когда же А. произвел альтернативный расчет делением площадей, занимаемых обоими государствами, то результат он даже не решился произнести вслух, а показал его обведенным жирным эллипсом на листе линованной тетрадки, привезенной им из Москвы из-за предполагаемого дефицита бумаги в Еврейском Государстве, в котором совершенно точно нет промышленных запасов лесных насаждений. По этой же причине А. привез с собой много туалетной бумаги, довольно жесткой, которой и продолжал пользоваться последующие пять лет.

Увидев эти цифры, Б. заявил, что он не может теперь исключить полностью вероятность вооруженного конфликта с Российской Империей. А. предложил честно уведомить российского президента о грозящем его стране финансовом катаклизме. И только Баронесса предложила направить президентам обеих стран прошение о помиловании Золотого Пера по причине его крайней молодости.

ПОСТРОИТЬ ДОМ, ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО

Теперь они меньше ездят по стране, но в выходные садятся в машину, чтобы еще раз посмотреть на холм, на котором строят их дом, заглянуть в сосновую рощу по соседству. С тех пор Я. полюбил сочетание зеленого с серым. Зеленеющий лес и серая дорога, зеленая хвоя и серые стволы сосен. Ему больше нравится порода сосны, у которой зелень не заслоняет ствола и ветвей: сосна-рисунок, зимнее дерево с опавшей листвой, на которое наброшена штриховка зеленых игл. Холмы вдоль дороги под нажимом людей поделились с новой дорогой правом собственности на землю. Там, где до них не добрался лес Бен-Шемен в своем продвижении на восток, они покрываются зимой свежей зеленой травой. Подглядев у леса его цветовую гамму, холмы прикрепили к своим склонам большие серые камни. Кое-где, как всякие варвары, они переусердствовали. Камней больше, чем нужно для гармонии. Но люди, проезжающие мимо на машинах, торопятся и не делают холмам замечаний.

А вон тот, что остановился на обочине (голова и плечи его со спины видны над облупленным кузовом старого “Форда”; ему, видимо, “приспичило”), – он скажет? Нет, он лишен вкуса, борется с заевшей молнией и на украшения холмов не обращает внимания.

Летом трава выгорает и желтеет, камни на это время лучше бы убрать, но этого никто не делает, и они понуро лежат на солнце, а вечером жалуются холмам, обещая уйти от них в соседний лес, где кроме тени от сосен их ждут, утверждают они, приятные покалывания опавшей хвои.

В придачу (или в подарок?) к дому Я. и Баронесса получают тревоги и восторги первопоселенцев. Холм, ближневосточный баланс жизни которого исчерпывается, кажется, цикадами и едящими их ящерицами, переживает нашествие: вот бульдозеры, вот строители, вот трубы (поменьше – для воды, побольше – для того, во что ее превратят люди).

В выходные дни будущие поселенцы приезжают на местность. Сидя, как бедуины, на корточках, они озирают с соседнего холма произошедшие за время их отсутствия перемены. В субботнем бездействии томится пара бульдозеров, труб нет, их в спешке зарыли в землю, иначе они уползут за выходные в соседние деревни, куда ушли и рабочие. Нет и цикад с ящерицами. Нечего им делать на развороченной земле, они перенесли свое соревнование на резервную спортивную площадку – соседний холм, на котором теперь много пыли, но, по крайней мере, нет ни бульдозеров, ни труб, ни рабочих, ни видавшего виды строительного подрядчика, который, по-видимому, всю эту суматоху устроил. Их новое (какое там новое!) спортивное поле меньше по площади, а значит, игра пойдет живее. Точнее – живее для ящериц и мертвее для цикад. Сделаем пару фотографий для будущей саги: одна – строительный холм в компании других холмов и запыленной рожи, другая – первопоселенцы на их фоне.

Пройдут еще четыре года проволочек, опасений полного развала, денежных неразберих и опостылевших съемных квартир, прежде чем они проведут свою первую ночь на полу нового дома.

Этому дому был задан только контур. Все остальное они придумали сами. Баронесса объявила Я. принципы построения кухни, она использовала знания, добытые ею в первоначальный период их обустройства в стране в чужих домах с помощью жестких скотчей, металлизированных мочалок, хлопчатобумажных тканей и разнообразных моющих средств производства местной фирмы “Сано”. Я., испортив несколько листов писчей бумаги, представил Баронессе проект их новой кухни и в одной из ее ниш дорисовал маленькую вазочку с маленькими цветками. Когда настоящую зеленую стеклянную вазочку с искусственными цветками они ставили на предназначенное для нее карандашным рисунком место в готовой кухне, сверкавшей новизной мрамора, стеклом и металлом электроприборов, их веселью не было предела: все делается именно так, как они задумали. Они всесильны. Это они выбрали венецианские шторы для окна и поставили в кухню итальянский столик с выдвигаемыми крыльями. Это они привезли в салоне машины стулья с металлическими спинками, цвет которых подходил под общий оливковый тон кухни. Один не поместившийся стул пришлось везти на крыше. И плиты пола, на который они поставили столик в кухне, тоже нашли они, объездив пыльные склады старых промышленных зон Еврейского Государства, на которых не высятся стеклянные башни.

Не собирается ли она на ночь свернуться калачиком в кухонной раковине, спрашивает Я. жену. Этой первой ночью в своем новом доме они будут почти одни на холме, где домики без единого зеленого пятнышка стоят среди развороченной и еще не везде разровненной земли, еще замусоренной неубранными остатками строительной деятельности. Пыльными прыщами на обширной лысине холма стоят невзрачные домики днем под летним солнцем.

Даже электричества еще нет, но ночью, если сесть на порог, светит луна, блестят звезды, звенит тишина.

В пустом доме они раскладывают походные матрасы. Нет еще ни портьеры, ни картины над изголовьем. Решительно некому наблюдать за ними. Любовь и недвижимость правят миром.

Когда они сажает первые кусты, разбивая сад у дома, он впервые называет ее Баронессой.

ВОЙНА И МИР I

Лагерь Вечного Мира выполняет свои обещания. Он не отступает от принципов свободного рынка в экономике. По телевизору об экономике вообще не спорят. А когда речь заходит о неимущих, ритуальной яростью борьбы за их права и процветание кипят все, кому посчастливилось прокричать о своей страсти к социальной справедливости с телевизионного экрана.

Мирный процесс развивается с ошеломляющей быстротой. С такой же быстротой разворачивается спор между двумя лагерями. Я. удивляет корректность спорщиков в повседневной жизни, на работе. Кажется, желание дружески похлопать друг друга по плечу в конце спора – важнее самого спора.

Если не считать продолжающегося террора, поначалу все идет хорошо. Подписываются соглашения, пожимаются руки. Когда прямолинейный Солдат пожимает руку улыбчивому Доброму Дедушке, все замирают. Глядя на Солдата, все просто уверены, он сейчас уйдет на несколько минут со сцены, а вернется уже с пустым рукавом пиджака, заправленным в карман.

– Не считая террора????! – вопрошают Патриоты. – Тогда во имя чего все это?

– Но нужно же как-то выйти из заколдованного круга, – отвечают Странники Мира, – Соседи тоже живут не в вакууме, их все, все мировое сообщество, все прогрессивное человечество, все люди доброй воли убеждают, уговаривают. Рухнул

Коммунизм, весь мир движется теперь вперед без помех. Неужели мы одни останемся в этой вечной ссоре и склоке?

“Заря Востока” – называется книга, которую написал Вечно Великий – вечный конкурент и соратник Солдата. Нет, он не глуп, как мы с вами, чтобы предрекать и верить, он велик, чтобы созидать и воплощать задуманное. Я. любит Вечно Великого. Логика его рассуждений, широта его планов завораживают Я., как впоследствии заворожат его тексты Елинек. За словами Вечно Великого стоят реальные дела. Его называли опасным маньяком, когда на неспортивных плечах он волок в Еврейское Государство Большую Бомбу.

– Увы, – скажет Я. через несколько лет, – повозка жизни так тяжела, что и Вечно Великому так же невозможно вытащить ее из болота, как и простому извозчику и его жалкой кляче. А вот главный герой книги “Заря Востока”, Новый Ближний Восток, – это реальность, никакому сомнению не подлежащая – дня не проходит, чтобы он не устроил самому себе новой пакости.

Но пока – в свежем предрассветном тумане, обтекающем сосны в ложбинах леса Бен-Шемен, в испарениях гостиниц на тель-авивской набережной, даже в осыпающейся штукатурке ушедшей тель-авивской молодости – всюду дотошный биолог найдет бактерии неистребимого оптимизма.

Террор не прекращается. В терроре есть своя мода. Неделями в газетах повторяются снимки людей с ножами в спине. В моде всегда есть свои экстремисты, один такой приходит на страницы газет с топором. Хлоп! мода меняется. Уже показывают по телевизору обгоревшие после взрыва автобусы и людей в резиновых перчатках, собирающих по частям то, что было Сторонником Мира или Горячим Патриотом. Хлоп! Смена моды. Теперь – неделя выстрелов на дорогах.

Среди тех, кого показывают идущими рядом с ранеными на носилках, мелькают на мгновение полубезумные глаза того, кого самые горячие из Горячих Патриотов назовут Святым Барухом после того, как он разрядит свой автомат в молящихся мусульман в усыпальнице Авраама и Сарры. И опять удивляется Я. кажущемуся равнодушию окружающих. Через десять минут молчания после сообщения об очередном теракте они опять шутят как ни в чем не бывало. Пару раз он заговаривает об этом с окружающими. Лишь на несколько секунд открывается для него бушующее внутри пламя, после чего дверца тигля снова захлопывается и очередная шутка возвращает Я. к будничным мелочам. Однажды на работе Я. трясется в грузовом отсеке фургона вместе с пожилым йеменским евреем.

– В Йемене они нас притесняли, а здесь их пальцем не тронь. Стоило приезжать сюда, – бурчит он. Я. догадывается, что он произносит эту фразу уже не в первый раз.

– Они нас просто дурачат, берут то, что вы им даете, и даже пальцем не пошевелят, чтобы прекратить убийства, – говорят Горячие Патриоты.

Б. вспоминает историю, рассказанную сбежавшим на Запад кремлевским служащим. В 20-х или 30-х годах британские социалисты, сочувствовавшие Советской Империи, охотно шли на концессии, – англичане доставляли оборудование и помогали строить завод. Затем на заводе вспыхивала забастовка, завод будто бы разорвался, оборудование оставалось на месте. “у нас государство рабочих”, – разводили руками большевики на вопросы британцев. Члены Политбюро просто покатывались от смеха, слушая очередную историю в этом роде. А товарищ Бухарин, даже предложил назначить английского премьера секретарем обкома где-нибудь в провинции Большевицкой Империи.

– Но если не делать шагов к цели, то ведь до нее не дойти никогда, – настаивает Лагерь Вечного Мира, к которому принадлежат сейчас и Я. с Баронессой.

– С нами Европа и Америка, с нами – явно большая часть граждан Еврейского Государства, – Я. гордится своей способностью к пониманию хладнокровной real politic. – А с вами кто?

– А с нами Соседи, – отвечают Патриоты. – Соседи – те же Соседи, море – то же море. Продолжайте, – добавляют еще Патриоты, – они ведь не звери. Если к ним приходит помешанная девчушка посмотреть почтовые марки, почему бы не потешиться и не дать на прощанье конфетку?

– Эти люди, я имею в виду Апостолов Мира, вовсе не похожи на помешанных девчушек, – возражает Я., – мы читали их статьи, мы выслушивали их аргументы.

– Ну, может быть, им это нравится, – говорят Патриоты.

Этот ответ не убеждает Я. Он вспоминает свою поездку в детстве с отцом к морю. Они отдыхали в Одессе. Он тогда еще никогда не видел моря и на всю жизнь запомнил, как оно вдруг возникло внизу в конце крутого переуллка, по которому они с отцом спускались к берегу. Оно было тогда светло-синим и занимало весь горизонт. До этого весь горизонт по представлениям Я. могло занимать только небо, но оно было наверху, на нем всегда можно было найти облака, и его нельзя было коснуться. А это море, хоть и блистало неприступностью, было осязаемым и

колыхалось там внизу с совершенно незнакомым Я. шорохом, который, будучи всего лишь шорохом, тем не менее заполнял его слух целиком.

В комнатке, которую они сняли с отцом, уже жил студент из Кишинева, и Я. с ним быстро сдружился, несмотря на разницу в возрасте. Студент рассказывал Я. о своих подвигах на любовном фронте. Он призывал Я. к решительности. Вдвоем они взяли лодку, студент сел за весла. К ним попросилась миловидная девушка, и студент помог ей взобраться на борт. Студент греб и развлекал девушку шутками, когда же они удалились от берега, он продемонстрировал, что такое решительность. Он положил на борт весла и, пересел на корму к девушке. Сидевшему на носу Я. было неловко. Но он не отворачивался. Не отворачиваться призывал Я. и его новый друг. Девушка отбивалась, требовала прекратить, но, видимо, очень опасалась перегнуть палку здесь, в открытом море, где ей явно не придет на помощь этот молокосос в плавках. Я. опустил глаза, когда на корме мелькнула маленькая упругая грудь. Больше всего на свете ему хотелось сейчас опустить весло с размаху на голову своего друга, но непоколебимый авторитет старшего, который так легко затягивает подростков в беду, одолел и Я. Наконец, в голосе девушки появился настоящий испуг. Студент хоть и не сразу, но все же оставил ее в покое и снова сел за весла. Я. подавлен увиденным, он пытается разобраться в себе. Как оценить ему свою неспособность к такой решительности? Студент, видя его мрачность, позже делает попытку успокоить Я. рассказом о том, как он встретил эту девушку на пляже на следующий день и как мило они побеседовали. Я. чувствует, что студент не врет, так и было. От этого его сомнения только усиливаются. Это он, Я., – мямля. А решительность студента не знает границ, на следующий день к ним в комнату вламывается разъяренная хозяйка, она швыряет студенту заплаченные им деньги и требует, чтобы он убирался немедленно – на его приставания пожаловалась блеклая женщина из соседнего флигеля для отдыхающих, намного старше студента. Хозяйка чуть не брызжет слюной. Духу чтоб его не было здесь через полчаса, кричит она. Старший друг Я. в волнении расхаживает по комнате. Что ему делать, спрашивает он отца Я. Отец не в курсе методов ухода за женщинами, применяемых студентом. Я. ему, конечно, ничего не рассказывал. Немного подумав, отец произносит спокойно и будто нехотя: “Подожди часок, она успокоится. Принеси ей эти три рубля и скажи, что тебе ведь осталось всего пару дней. Она возьмет”, – добавил он с мягкой уверенностью. Через час студент, бледный и потеющий, отбыл на переговоры с хозяйкой. Он вернулся через несколько минут, и в его взгляде на отца читалось нескрываемое восхищение. Я. был тоже потрясен, он был уверен, что хозяйка, в отличие от его отца, осведомленная об агрессивной любовной тактике студента, вышвырнет его вместе с тремя рублями. Во второй раз за одну неделю он получает урок взрослой жизни. Этот эпизод он не забудет уже никогда. Вот и сейчас, после очередного теракта, он утверждает: “Ничего, нужно успокоиться. Те, кто это делает, рассчитывают именно на то, что мы выйдем из себя. Все взвесить, вспомнить, в чем наша цель, стиснуть зубы, предложить три рубля”.

ПОДЪЕМ

Вскоре работу находит и Баронесса. Техническое образование не растопило ее вполне женского равнодушия к технике. Ее природный талант к управлению обнаруживается задолго до отъезда. Собственная естественность обрекает ее видеть мир таким и только таким, каким он в действительности является. Ее всеядная уживчивость с людьми позволяет ей легко проводить между рифами корабли, груженные разнокалиберной технической оснасткой и человеческими амбициями. Она без труда находит способ не задевать мужских самолюбий.

“Зачем соревноваться с мужчинами, когда ими так легко управлять?” – сказала бы она. Но этой фразы она благоразумно не произносит вслух и, кажется, даже не разрешает себе так подумать, чтобы не нарушить какого-то внутреннего гармонического ряда. Ее видимая на поверхности деятельность заключается в том, чтобы нажать на курок стартового пистолета и рукоплекать бегунам. О заранее расчерченных дорожках тоже лучше промолчать. Невинными вопросами можно навести мужчин на допущенные ими промахи, тем же способом подвести к возможным решениям и, конечно, не скрыть восхищенного удивления, когда самовлюбленная машина мужского самолюбия доставит гордый результат. Люди на всю жизнь остаются детьми, то есть закоренелыми эгоистами с внезапными и необъяснимыми приступами великодушия, и тот, кто знает и принимает это, обладает тем качеством, которое называется умом. Как всякую успешную женщину, Баронессу лишь веселит шутка об идеальной жене, у которой росту только 150 сантиметров и голова плоская, чтобы удобно было ставить на нее бокал с пивом. Ведь на высоко вознесенную от земли и круглую мужскую голову не так сложно навесить все что угодно, не исключая визита к маме. Хитрости в Баронессе, считает Я., нет совсем. Ее серые глаза

честны от природы. Ее уловки лежат на поверхности, они хорошо видны тем, к кому применяются, и потому не вызывают ни протеста, ни сопротивления.

Я. убежден: она искусственно придерживает свою административную карьеру, чтобы не оторваться от него. Он прав. Ее быстрое продвижение, кажется Баронессе, нарушает ее представления о порядке и равновесии в мире. Это равновесие, правда, позволяет ей занимать лучшие полки в их семейном шкафу. “Я же женщина”, – отвечает она Я. на его жалобы. В их автомобильных путешествиях по Российской Империи, уставая от длинного перехода по очередному городу на их пути, она делает то, что Я. называет “козой” – останавливается и упирает ноги в асфальт или камень тротуара, будто ее тянут как козу на веревке. Какое там! Она никогда не наденет и очаровывающий мужчин бархатный черный ошейничек – не ее стиль. Ей и поцелуй в губы кажется веревкой, которая ее душит. Я. этим обстоятельством пользуется. “Ты всегда оставляешь что-нибудь недоступное”, – шутя, обвиняет он Баронессу. “Надо бы и мне научиться что-нибудь утаивать от тебя”, – говорит он. “Например, де-не-жки...”, – он растягивает последнее слово и заглядывает ей в глаза. Баронесса смеется. “И что ты будешь делать с значенными денежками?” – спрашивает она. “Буду покупать у тебя поцелуи в губы”, – говорит он. “Целуй бесплатно”, – отвечает она, но тело ее напрягается. Я. пробует, но Баронесса тут же фыркает и хватается воздух. “Мне нужно бы значивать о-очень большие суммы, чтобы у тебя открылось дыхание”, – смеется Я. Баронесса, смущенная своим фиаско, делает притворно грозное лицо и в очередной раз остается нецелованной в губы.

Тогда она действительно встала упирающейся “козой” к своей собственной карьере. Я. от этого не легче. Ценность его личности, заявленная им на будущее в ненаписанном, но существующем в его воображении брачном контракте, никак не вырастает до нужных размеров, требуемых его представлениями о семейном счастье. Они оба ощущают опасный крен лодки. Я. пытается менять работы, чтобы найти тропинку вверх, к той высоте, которая соответствовала бы, по его мнению, ее цветущей женственности.

Баронесса же перспективу появления у нее чего-то вроде мужских бицепсов, которой чреватые ее административные успехи, отбрасывает решительно, как отбрасывает не идущие ей модные свитера с высоким воротом под горло. У Я. в его лихорадочных поисках самого себя ощущение, что он движется в вязком тумане, что пытается бежать по песку, что он, как в немом фильме, зацепился подтяжками за перила. Я. считает, что эти перила, по крайней мере отчасти, – Большевицкая Империя в период ее заката – она не любит еврейских выскочек с их неумеренным аппетитом. У Я. чувство мягкой подушки, в которую он утыкается лицом при его попытках убедить тех, от кого это зависит, принять его на то новое место работы, куда он стремится, и где, кажется ему, он найдет наконец достаточно пространства, необходимого ему для полета.

Сам труд в Советской Империи слишком часто кажется ему надуманным и искусственным. Он не ищет административной карьеры. Его вполне устроит небольшая группка в подвале, с которой можно делать нечто, чего еще не было. Когда-то в юности ему так и не удалось научиться стоять на руках. Даже если он прислонялся ногами к стене, мышечной массы его рук было недостаточно для позиции, которая казалась ему очень полезной для его будущей жизни. Ведь того, кто умеет стоять на руках, непросто сбить с ног. Но как инженер он умеет стоять на руках, тут он вполне устойчив. Тут он, если очень постараться, сумеет даже какое-то время постоять на локтях, больше верит, чем сомневается он. Он хотел бы это проверить.

Баронесса не ставит под сомнение его умение стоять на локтях. Она не требует доказательств. А его в принципе не интересуют и деньги, утверждает он. В ответ на это заявление на лице Баронессы отражается легкий скепсис.

Скепсис явился на смену выражению придиричivosti, с которой она разглядывает себя в зеркале. Ее ровные ноги могли бы быть чуть длиннее, думает она. Но, как и с ногами, которые – вот они, какие есть, так и протест ее против бессребрничества Я. лишен интенсивности серьезного чувства.

Я. пытается скрыть, что критическое отношение Баронессы к длине своих ног в этой ситуации, когда самооценка его невысока, приносит ему некоторое облегчение. Она слишком придиричива к себе, говорит он, у нее такая упругая кожа лица, что она и в семьдесят будет выглядеть лакомым кусочком. Она так далека от семидесяти, а что скажет он ей в семьдесят, спрашивает себя она. Баронесса смеется, она действительно очень далека от семидесяти. Она старается верить сказанному и не заглядывать так далеко вперед. Им хорошо вместе. Иногда Я. представляет себя и Баронессу парой молодых волков в быстром беге. Хоть волк несколько крупнее и мощнее своей подруги, но и она бежит с ним рядом по глубокому снегу, отставая всего на полкорпуса, чтобы не нарушить природной гармонии застывшего хвойного леса.

Крушение Коммунизма, кажется, открывает наконец шлюзы. Он пытается вести дело, запустив в частную струю свои прошлые разработки. Он делает это с немалой долей идеализма, удивляя заказчика той небольшой частью дохода, которую он откладывает себе. Но тут на их горизонте возникает Еврейское Государство. Это, может быть, его шанс проверить, умеет ли он стоять на руках. Это еще и возможность добиться внутренней цельности, думает он.

Здесь, в Еврейском Государстве, Я. обнаруживает нечто новое – несмотря на его шуточные поощрения, Баронесса явно уваливает от административной карьеры. Не приняла ли она всерьез его шутку, что управлять евреями – неблагоприятно тяжелый труд, ведь каждый из них в глубине души убежден, что он и есть самый лучший управляющий в мире. Позже ему становится ясно – из них двоих она первая поняла, что настоящая независимость плохо сочетается с необходимостью управлять людьми.

Но пора ему делать следующий шаг. Возможность подворачивается сама собою – в другой, вполне солидной фирме ищут электронщика-программиста. У Я. нет опыта программирования. Он колеблется. А. скорее усугубляет его сомнения, Баронесса не высказывает своего мнения по этому поводу, она сочувственно наблюдает за его колебаниями. “Ври, потом доберешь”, – советует Б., и Я. решается. Ему помогает в этом снобизм электронщика: программирование – это всего лишь разновидность более простой и легкой, цифровой части электроники, даже легче, так как всегда можно исправить ошибку, не переделывая “железа”. Позже он поймет, что цифровая электроника никогда не решала задачи такого объема. Количество переходит в качество, помнит любой выпускник института Советской Империи из курса диалектической философии. Открывается новый, сложный мир, который, казалось, всего-то – пирамидка из единиц и нулей.

В месяц отработки на старом месте по вечерам и выходным он корпит за изучением языка программирования, на котором ему придется работать.

Его заработок увеличивается почти в три раза. По выходным с утра до вечера он пишет собственный вариант программы вместо используемого на новой работе. Он будет отвергнут начальством, но Я., закончив эту работу, приобретет навыки самостоятельного программирования.

На новом месте он не молчит, он сразу начинает говорить и убеждается, что окружающие не видят в этом ничего особенного. Лучше менять работу, чем клянчить прибавку на старой, – решает он для себя, – лучше переламывать действительность, чем вести изнурительную борьбу за изменение стереотипов.

Их подъем теперь уже становится фактом. Он не вызывает сомнения. Пара волков снова в быстром беге, хвойный лес здесь еще можно найти, но глубокого снега – точно нет, они бегут, представляет себе Я., по знойной пустыне среди бежевых холмов, по вади, каменистому руслу пересохшей реки.

ПОЕЗДКИ НА ЮГ. МАСАДА И ГЕРЦЛИЯ-ФЛАВИЯ

Я., выросший в лесной зоне, красоту природы воспринимает как красоту реки и леса. Выплывая на середину реки в том месте, где она делает частые повороты, он оказывается как будто в середине небольшого озера. Деревья и кустарник со всех сторон отрезали этот кусок реки, будто запрещая ей течь в этом месте, но вода все-таки движется, хоть и старается делать это незаметно. Плывая очень медленно, медленно ровно настолько, чтобы его не сносило течением, Я. делает еще более медленный поворот вокруг своей оси, разглядывая детали картины обступившего его леса. Он никак не может решиться, продолжать разворачиваться в воде или еще секунду полюбоваться именно этим видом, а сделав поворот вправо, он поворачивает голову влево, чтобы еще раз увидеть то, что только что видел. Так он кружится в воде на одном месте, потом решает увеличить скорость вращения, чтобы его восприятие, как в калейдоскопе, обмывалось лесом так же, как вода реки обмывает тело. Наконец, сосуд его впечатлений переполняется, и Я. теперь движется к краю озера, то есть к берегу реки, где его друзья уже сигнализируют ему – раки готовы. Красную клешню нужно будет немного помассажировать зубами, чтобы она отдала свою белую упругую начинку, которой совсем немного в отличие от начинки складного хвоста, чьи пластинки легко разрушить без применения давления челюстей. Будущая Баронесса, выросшая у моря, здесь гостя, неопытная “зеленка”, ее нужно инструктировать как обращаться с лесом и речной водой, которая на поверхности держит хуже морской, и, значит, шевелиться в ней нужно быстрее.

Зато на берегу моря хозяйка – она. Она демонстрирует ему с высоты обрыва отвесные фиолетовые скалы. У их подножия узкая полоска морской гальки прикасается к прозрачному морю, а уж само море с такой высоты демонстрирует себя в самом лучшем виде во всей своей мерцающей бесконечности. Оно прекрасно смотрится и через окно в гроте, который природа долго сверлила волнами в береговом выступе, а потом ветром придала ему нарочитую небрежность, на мягкую

четкость которой она мастерица. Тогда он вдруг неожиданно и разочарованно спросил у нее: а где же зелень? Кандидатка в Баронессы очень удивилась, но ничего не ответила. Когда через пару лет, придя к тому же месту, он замер от развернувшегося перед ним великолепия, она сразу почувствовала это и со смехом разочарованно протянула: “До-ро-гой, а где же зелень”? Он пристыжено молчал.

Теперь, обогатившись опытом, научившись их непредвзятому отношению к красотам природы, они осматривают свои наследственные владения, свою природу, к которой они вернулись после двухтысячелетнего отсутствия. Они едут к Мертвому морю. Огибая Иерусалим, они проезжают через Красный Подъем, который, говорят, красен от крови, пролитой разбойниками, встречавшими свой народ, идущий на ежегодные праздники в Иерусалим. Те еще типы, наши предки. Что-то странное чудится им в Эйн-Фешхе, в северной части Мертвого моря, когда они раздеваются на берегу. Что это еще за указатель к бассейну для женщин? Что страшного может случиться с мужчиной, если он погрузится в этот бассейн? Баронесса наконец устанавливает причину, по которой они ощущают некоторую непривычность в окружающей их обстановке – у всех машин на стоянке номера синие в отличие от желтого на их автомобиле. Они на территориях, на оккупированных территориях, как писали в газетах их молодости, а люди, поглядывающие на них с любопытством, – те самые Соседи. И хоть они не проявляют никакой враждебности (они приехали сюда купаться, а не враждовать), репатрианты одеваются, быстро искупавшись “для приличия” и делая вид, что ничего особенного в этой ситуации не находят. Я. видит, что Баронесса находится в том же напряжении, в каком она была пару лет назад, когда с экрана телевизора еще Советской, хоть и находящейся в состоянии перестройки, Империи известный журналист объявил о готовящихся через пару недель погромах, все же не состоявшихся. Тогда они запирали входную дверь на все засовы, замки и цепочки и ставили поближе к двери скалку для раскатывания теста. Сейчас скалки при них нет, и они просто садятся в машину и трогаются в сторону юга. Не такие они знатоки соседских настроений, чтобы оставаться здесь дольше.

А в южной части Мертвого моря вода намного плотнее, она уже не разведена в такой степени водами Иордана, подпитывающего море с севера. Стоят гостиницы и нарядные пальмовые аллеи с цветами, и в воде действительно можно лежать на спине с газетой, если уже прошло жжение ранок и нежных тканей, которыми природа снабдила человеческое тело и выпустила в эксплуатацию, не испытывая на купание в Мертвом море. Я. пытается выяснить у Баронессы, как справляется с этими проблемами женское тело, зная, что ответа он все равно не получит. Он указывает ей на гримасы входящего в море мужчины, которому вода дошла, видимо, до геморроя. В общем, они веселятся, расслаблены и довольны. Домой возвращаются другой дорогой, через Арад. Остановившись на смотровых площадках, они то фотографируют Баронессу с развевающимися на ветру подсолонными волосами на фоне распластавшейся на подступах к морю пустыни, то в удивлении разглядывают лунный пейзаж глубокого кратера, где все змеится, нависает, будто поднимаясь и рушась, оставаясь на самом деле совершенно безжизненным.

Новая работа вскоре премирует Я. четырехдневной семейной путевкой в Эйлат. В старую солидную гостиницу Эйлата они приезжают по длинной двухсоткилометровой ложбине, навещающей такие же длинные и пустынные мысли о щете всего, что движется между этими молчаливыми цепями холмов, иорданских слева, еврейских справа.

Жизнь зрелой супружеской пары напоминает эту обманчиво монотонную езду от Мертвого моря до Красного. Вы полагаетесь на то, что вы уже давно едете по этой узкой дороге, не отделяющей вас от встречных машин, и до сих пор ничего особенного не случилось. Посещает ли вас мысль о том, что через пять километров впереди вас, возможно, кто-то засыпает сейчас за рулем во встречной машине? Ваше равнодушие к такой возможности (мы теперь привыкли говорить – к такой опции) зависит от каких-то настроек вашего мозга. Может быть, внутренние бури и течения в нем вместе с внешними обстоятельствами привели вас в отменное расположение духа, и вы даже близко не подпускаете к себе подобную мысль. Может быть, вы говорите себе: чему быть, того не миновать, кому быть повешенным – тот ни за что не утонет. Зачем думать об этом? В крайнем случае можно пойти к знакомому доктору и выпisać вполне легальную таблетку, которая избавит вас от подобных мыслей. А что происходит сейчас, в эту минуту, в голове сидящей рядом с вами женщины, с которой вы уже так давно движетесь по этой дороге с розоватыми холмами по обеим ее сторонам? Не поймали ли вы себя на мысли, что, может быть, вы хотите знать это в точности – не более чем узнать точную дату и причину своей смерти. Вам удобнее об этом не думать? Как и об этом водителе, который теперь уже в четырех километрах впереди вас? Протяните ей руку. Мы все умеем владеть своим лицом, но не руками. Ее ответ вашей вдруг протянутой руке скажет вам много. Может быть, больше, чем вы хотели бы знать. Это ваше дело, протягивать руку или нет.

О том, как скромно и экономно они жили в эти последние три года, дает им понять шведский стол, ожидающий их.

– Я все это съем, – говорит она. Бескомпромиссность и несгибаемая воля непривычно глухо звучат в ее голосе. Всего она не съедает, а Я. делает печальное открытие.

– У меня, кажется, началось возрастное ухудшение зрения, – грустно замечает он.

– В чем это выражается? – озабоченно поинтересовалась сытая Баронесса.

– Во-первых, вилка, и то, что на ней, как будто расплывается и исчезает, когда я подношу ее ко рту, а во-вторых, я не вижу в тебе ни одного недостатка.

Они открыли все краны и теперь воспользуются всеми или почти всеми предлагаемыми развлечениями. В масках и ластах они часами плавают у кораллового рифа в компании разноцветных рыбок. Когда же выныривают и снимают маски, высокие бежевые холмы и бирюзовое море образуют всего два, но очень контрастных цвета, как контрастен и нереален весь этот яркий аквариум, в котором две рыбки (Я. и Баронесса) в компании других таких же человеческих рыбок плещутся в нарядном празднике существования. Они разглядывают и настоящих цветных рыбок в подводном аквариуме. Принимают участие в экскурсии на джипах. В пыли и тряске они то проезжают над обрывами, то въезжают в узкие фиолетовые ущелья. Когда они усаживаются на привал, мимо них на верблюдах с энтузиазмом проплывает туристический десант из Скандинавии. Когда через час они, разгоряченные вином, громко беседуют и смеются, верблюды появляются снова и неспешно несут на себе назад приунывших викингов, их жен и детей. А еще в один из дней после обеда они участвуют в велосипедной прогулке по вади – высохшему руслу реки. Зимой здесь несутся бурные потоки воды, которые твердая земля и не подумает впускать в свои недра. Пусть катится в море, говорит земля. А летом только люди катятся на горных велосипедах с широкими шинами, проносятся, разбрызгивая мелкие камни. Пот катится по их лицам, а сами они то пыхтят на подъемах, то притормаживают двухколесного торопыгу, который на спуске может внезапно подпрыгнуть. Того и гляди ударишься головой в каске о каменный выступ скалы, который никто и не подумал убрать с дороги, чтобы туристы не решили, что природа подправлена для них и теперь поет “под фанеру”. В конце маршрута они заталкивают велосипеды в грузовик, а инструктор усаживает их в тени перед ночным переходом и рассказывает анекдоты, пока темень не ложится на теплые холмы. Тогда они поднимаются и идут в кромешной тьме за своим вожаком по другому высохшему руслу мертвой реки. За тишиной и шаркающей поступью усталых туристов приглядывают звезды. В этой темноте, если отстать и чуть подождать, пока темные силуэты окончательно не растворятся в ночном проходе, – перемигиванию с мерцающими звездами не в состоянии помешать ничто. Они снова начинают уставать, когда растянутая колонна туристов замедляется, приторможенная их проводником. Когда арьергард подтягивается, в воздухе пахнет переменной, и вот тишина и тьма взрываются яркими прожекторами и громкой музыкой. Дальнейший путь по вади перегорожен столами, заваленными сырами и фруктами. Шведский стол, который шведским уже назвать трудно, разве в Швеции есть пустыни и пересыхающие на лето реки?

А в самом Эйлате со всех сторон обходят они памятник взятию города во время войны за независимость – три мешковатых солдата в мятых шинелях водружают флаг, как известно уже Я. и Баронессе, нарисованный синими чернилами на белой простыне.

Отдельно, в другой раз они приезжают, чтобы осмотреть Масаду, где, по описанию Иосифа Флавия, совершили коллективное самоубийство осажденные римлянами последние из уцелевших повстанцев – последний остров Иудейской войны. Я. больше всего поражает строительный размах царя Ирода Великого. Он умер за четыре года до рождения Иисуса, на его совести много крови, но в избиении младенцев его легко признал бы невинным даже Гаагский трибунал. Это был другой Ирод, объясняют нам. Впрочем, у религии своя ось времени и своя историческая методика.

Бог знает где, посреди пустыни, без грузовиков, вертолетов и подъемных кранов, как решается предпринять Ирод такое строительство? Обуреваемый страстями, воюющий, подозревающий и казнящий, где находит он время для этого? Он, убивший в припадке гнева жену и приходивший плакать над ней, мертвой, смотрящей на него из глубокого корыта с прозрачным медом, куда он приказал уложить ее, не желая с нею расстаться. Ведь он еще срезает гору и расширяет территорию Храма, возводит вокруг него новую стену, часть которой только и сохранилась в качестве национальной святыни. Он строит города, новый порт.

Что было бы, если бы не этот безумный мятеж против римлян, которому так многие противились, по словам Иосифа Флавия. Сколько можно было бы построить за две тысячи лет. Я. поражает изощренность политических споров двухтысячелетней давности, приводимых Флавием. Они были очень неглупы, эти люди, внешний облик

которых не может, как ни силится, представить Я. и вместо них подставляет своих друзей и себя.

Он-то сам целиком на стороне Флавия. Нужно уметь останавливаться. Коллективное самоубийство осажденных римлянами иудеев – сомнительный результат. Сохранять построенное и строить еще, решает для себя Я.

Он задумывается о Флавии, Иосифе Матитяху. Именно он первым подробно и с любовью рассказал тогдашнему Большому Миру об Иудее. Увлекаясь, рассказывает он ему об истории, вере и жизни иудеев. И, как будто поймав порою иронический взгляд римлянина или грека, гасит он на лице ностальгическую улыбку и добавляет: “Вы, конечно, вправе не верить этому, но так сказано в наших книгах”. Две тысячи лет назад он проложил словом понтонную дорогу из Иерусалима в Рим. Обратную дорогу словом прокладывал Герцль. На очередном заседании Кнессета Я. предложил для Еврейского Государства еще одно, новое, имя – Герцлия-Флавия. Но ведь Флавий был коллаборационист, возразил Б., а многие и просто считали его предателем. От Флавия остались две книги, ответил Я., из которых мы только и знаем подробности о тех, кто считал его предателем, а что осталось от них самих? Развалины Иерусалима и две тысячи лет, о результатах которых философ из Касриловки сказал, что нужно было очень постараться, чтобы довести народ Книги до такого состояния. И это он еще сказал до Катастрофы. Так чьим продолжателем является Герцль, – спросил Я., – Флавия или тех, кто видел в нем только изменника?

А в Иерусалиме их будто магнитным полем, как Веничку к Курскому вокзалу, вечно прибывает к Шхемским воротам Старого Города, где ткань Иерусалима расплзается, как причинное место под бритвой пианистки. Никаких заборов здесь нет, и Я. несколько раз переходит с одной стороны площади на другую. Как преломляется луч света на границе воздуха и стекла, так меняется внутренний внутренний Соседей на квадратную единицу площади, снижаясь до редких отдельных человеко-атомов или небольших семейных молекул. А на восточной стороне броуновскую суету Соседей маленькими ледоколами разрезают иногда патрули еврейских пограничников. Да еще водолаз Я., коллекционер эмоций, погружается в человеческое море. А если пойти дальше вдоль стены на восток, то там – старое еврейское кладбище, с которого первыми поднимутся мертвые в Конце Света на Страшный Суд, и Масличная Гора там. Иерусалим. Да разве песок и камни, на которых живут Соседи, – Иерусалим? Ради этих камней и песка пусть отнимется десница моя, если забуду об Иерусалиме? Где мы – там Иерусалим! – напыщенно провозглашает он. Тогда Иерусалим – в Нью-Йорке, возражает ему с насмешкой его внутренний Б. Нет, Иерусалим точно не в Нью-Йорке, он здесь. Я. тряхнул головой, но порядка от этого в ней больше не стало.

ВОЙНА И МИР II

Святой Человек – результат многолетних биологических экспериментов Бар-Иланского университета, где порой любили по вечерам гулять Я. и Баронесса, где в “мрачном” ульпане они познакомились с А., Святой Человек из вольера, ближе всех стоявшего к телевизору, выстрелил в Солдата и не промахнулся. Солдат убит наповал. Профессора Бар-Иланского университета оправдываются на пресс-конференции.

“Выводимая нами порода святых людей обладает исключительно полезными качествами. Они безоговорочно преданы делу, трудолюбивы и способны носить оружие. Их отличает высокая энергетика духовной деятельности. Здесь-то и таится неизбежная опасность, – объясняют они. – Как маленький кусок термоизоляции, откалывающийся от тела космического паромы, способен привести к гибели корабля, так высокое напряжение духовного горения пробилось в данном случае пушечными выстрелами. Мы продолжим эксперименты, но обязуемся принять все необходимые меры безопасности”.

Я. и Баронесса знакомы с некоторыми из ассистентов этих профессоров. Милые люди, отзывчивые. Их практические выводы из религии предков отличны от позиции религиозных ортодоксов, труд и армия для них так же святы, как Тора и Суббота.

– Все бы ничего, – говорит Я. Баронессе, – но горячая увлеченность только одной идеей и, как следствие, пониженный интерес ко всему прочему привносят в их эксперименты некоторую однобокость.

На прощание с Солдатом они решают ехать не на машине, а в общественном транспорте. Напротив Бар-Илана садятся они в автобус, идущий в Иерусалим.

– Попадем ли мы к месту прощания с Солдатом? – спросили они у водителя.

– Попадете, попадете, – ответил водитель.

Ни один мускул не дрогнул на лицах ортодоксов, в основном заполнявших автобус. Два тысячелетия пролетели над ними как одно мгновение, печи Холокоста

не изменили их. Гибель Солдата? Это ваши безбожные и полубезбожные разборки – сами заварили, сами расхлебывайте.

Будто воздух из шины выпущена из Лагеря Горячих Патриотов его энергия сопротивления делу Солдата. На рынке перед телекамерой Патриот размазывает по лицу слезы: “Отдайте Соседям все, черт с ними. Только не это”.

Как ни жаль Солдата, сменяющий его Вечно Великий пойдет еще дальше, еще быстрее, говорит Я.

Его (Вечно Великого) победа на предстоящих выборах не вызывает сомнения. Благостно-сладкая сеть дела мира, в которую он заманивает Доброго Дедушку Маленькой Интифады, – это ведь все-таки сеть. И она изрядно стесняет движения Доброго Дедушки, даже если он о мире вовсе не думает. Зачем же нам освободить его из сети, что мы от этого выигрываем? – спрашивает Я., новоявленный гроссмейстер geopolitik. И тут один за другим происходят Большие Взрывы. Соседи действуют хоть эмоционально, но наверняка, они размазывают содержимое автобусов по фасадам домов в самом центре Тель-Авива.

После двух взрывов Большой Террор прекращается до самых выборов, после них он поддерживается на самом малом огне. Террор зависит от двух факторов: на каком уровне его хотят держать Соседи и насколько его удастся предотвратить.

“Они же дети”, – слышен голос Европы. “Нет, они, кажется, вовсе не дети”, – открывает для себя каждое новое поколение жителей Еврейского Государства.

Политические весы вновь качнулись к равновесию. В день выборов поступает прогноз – Вечно Великий победил Красавчика с небольшим разрывом. С этим прогнозом все идут спать. Окончательные итоги утром комментируют женщины: “По расчету мы пошли спать с Вечно Великим, а утром проснулись с Красавчиком, – какие, однако, неожиданности случаются в этой жизни”.

Все же Красавчик не вызывает симпатий. Взрывы – дело рук небольшой группы Соседей, объясняет себе Лагерь Живущих Надеждой (Вечного Мира). Мы не можем стать заложниками их кровожадности. Соседи хотят мира не меньше нас, объясняют они себе же.

Один из экс-генералов говорит об упущенных возможностях мира. Его лоб занимает верхнюю половину экрана телевизора. Печальные глаза приходится на его середину. А в самом низу экрана уста излагают сидящим на зеленом диване членам Кнессета суть вопроса. Он считает, что Старшая Сестра поспешила на пару пинков спорящим сторонам, на которые не скупится прапорщик, отправляя новичков-парашютистов в их первый полет над Еврейским Государством.

Старшая Сестра вызывает Красавчика и Доброго Дедушку на травяной ковер. Все видят, как после долгого нахождения во внутренних покоях они выходят на публику. Красавчик и Добрый Дедушка нахохлены и красны, но усажены рядышком. Из-за их спин хмуро глядит Старшая Сестра. Она тоже немного красна и тоже нахохлена.

Широкая публика начинает терять терпение. Красавчик слишком занят любованием самим собой, – заявляет она, – часами сидит он перед зеркалом с сигарой в зубах в премьерском кресле и поет приятным баритоном: “Winner, winner, winner!” Профессор античной истории напоминает публике о злосчастном Алкивиаде. В Древней Греции он побеждал в играх, был кумиром молодежи, многие считали его естественным преемником великого Перикла. Но самовлюбленный юноша жаждал большей славы. Он подстрекал Афины против Спарты, изгнанный афинянами, бежал в Спарту же, там по слухам соблазнил жену спартанского царя, бежал к персам и уже вместе с ними интриговал против Спарты.

Демонстративный плевок в сторону Алкивиада все более становится хорошим тоном. Кадры телевидения показывают забастовку в Сдероте. Горят автомобильные крыши, разъяренные рабочие кричат в телекамеру:

– Мы не позволим закрыть наш завод! Я всю жизнь штамповал эти плевательницы, – особенно надрывается усатый рабочий в майке, – как прикажете теперь кормить семью?

– Что делать, – говорят зубные врачи в Тель-Авиве, – пациенты больше не плюют в них. Они копят слюну, чтобы, выйдя от нас, направить ее туда, где всякими проволочками затягивается Дело Мира.

Не замеченные прессой, в Тель-Авиве основываются два стартапа с бюджетами по 15 миллионов долларов каждый. Один разрабатывает механизм дальнего плевания, другой – систему космического управления плевком. Алкивиад утверждает, что он держит Доброго Дедушку за горло, и потому террора стало меньше. “Прошла весна, настало лето, спасибо Партии за это”, – комментирует эти утверждения Я., вспоминая фольклор советских времен.

Само правление Алкивиада напоминает затянувшуюся серию походов к зубному врачу. Уже нет сил видеть блеск инструментов дантиста, вдыхать смрад обтачиваемого зуба, держать во рту липкую, напоминающую глину, формовочную смесь, примеривать коронки. Оглядев с гордостью свою работу, дантист предлагает сделать еще вот эту часть. Спасибо, отвечает пациент, давайте сделаем это в

другой раз. Неизбежное происходит – Алкивиад проигрывает выборы Генерал-пианисту.

БАРОНЕССА И СИНДРОМ МОИСЕЯ

Баронесса наблюдает за пожилой женщиной, которая топчется, прицеливаясь, и, наконец, разом бросает на скамейку в парке все свое грузное тело в отчаянной надежде, что Отец Небесный не отодвинет вдруг эту скамейку в тот самый момент, когда центр тяжести ее тела будет уже за пределами опорной площадки, на которой стоят ее некрепкие, бесформенные ноги. Господь милостив, скамейка вибрирует и успокаивается, женщина поднимает голову и присматривается к миру. Мир все тот же. Он шелестит листвою и поет птичками.

Я. наблюдает за Баронессой. Она, смеясь, называет его “мой рентген”. Но в последнее время, кажется Я., она ежится от просвечивания. Он знает, почему. Лодка кренится теперь в другую сторону. Хотя она вовсе не скрывала своих подработок, но, обнаружив в одном из писем из мест их прошлой жизни, что там знают об этом, она помрачнела. Ей теперь почти сорок, у нее ни морщинки, она и сама чувствует, что как женщина не потеряла ни одного балла, скорее наоборот. Она по-прежнему может легко и уютно устроиться в кресле с ногами, и движения ее порывисты, как в детстве, когда оборачиваясь к собеседнику мгновенно и всем телом, она начинает говорить быстро и легко. Когда она в темпе натягивает колготки, он вдруг говорит ей “вжик-вжик”, напоминая ей ее рассказ о ее же вредной привычке, когда юная Баронесса двумя быстрыми движениями подтягивала чулки у школьной доски, сосредотачиваясь перед ответом. Язык мой – враг мой, говорит Баронесса, лишний раз убеждаясь, как опасно делиться с Я. воспоминаниями детства. И все же в ее душе поселился червь. Она радуется за Я. Он глядит орлом на своей новой родине, говорит Баронесса. Она подтрунивает над ним, говоря “твоя родина”, но и ее глаза загораются от рассказов о пионерах-первопроходцах страны. Она хоть и с иронией, но с настоящим чувством подпевает старым песням, в которых героиня становления так искренна и чиста, что ей невозможно не верить. Эти песни называют теперь музыкой терактов, потому что они сменяют на день-другой дежурную попсу по радио и TV после того, как в замкнутом цикле, по кругу, раз за разом, повторяются по телевизору все те же кадры обгоревшего автобуса, полицейских кордонов, ортодоксов, собирающих людские останки, оглушенных людей, которых под руку выводят с места взрыва. Когда заезжая дама из Российской Империи с еврейскими корнями, говорит с экрана телевизора, что она не понимает этого мазохизма, что Еврейское Государство – это последнее место, куда она рекомендовала бы ехать близким ей людям, Б. смотрит на эту даму с экрана с такой жалостью, что Баронесса, глядя на него, начинает тихо смеяться. Видя реакцию Баронессы, улыбаются все, не исключая самого Б. Баронесса – женщина, она не должна носить длинное копье или тяжелый щит, признает она, но в тылу ей скучно одной. А если ее не будет поблизости, их стойкость теряет опору, признают А., Б., В. и Я. Поскольку Баронессе несвойственно краснеть, она просто изобретает для себя какое-то срочное дело на кухне.

В банк, который по старой традиции называется Рабочим Банком, Я. и Баронессу приглашают, чтобы выдать им золотые кредитные карточки, знак, скорее подтверждающий, что они не относятся к категории клиентов, создающих банку проблемы, нежели указывает на их состоятельность. Там Баронессу приветствует радостно ее бывшая клиентка. Не поможете ли нам подготовить дом к празднику, спрашивает она. Я. улавливает сомнение на лице Баронессы, она, кажется, не в состоянии отказаться от работы, сулящей хоть и небольшой, но дополнительный заработок. Он оставляет на краю ее левого спортивного ботинка небольшой след своей подошвы. Мы очень заняты сейчас, отвечает Баронесса извиняющимся тоном, прикрывая рукой золотую карточку и улыбаясь уже вошедшей в привычку американской улыбкой, которая полагается даже тому клиенту, с которым не предполагается никакой сделки. На выходе из банка Я. обнимает Баронессу за плечи. Все, этот этап закончен, решительно говорит он, целясь ей в глаза солнечным зайчиком от золотой карточки.

– Я ведь не бросала подработки из-за этой дополнительной ссуды, которую я побоялась взять, – оправдывается она.

Я. называет эту сцену раскаянием декабристки. По дороге домой он обращает ее внимание на дерево альмоган, чьи ветви еще до появления листьев осыпаны огромными красными цветами. На солнце, которое здесь распорядится облаками, а не наоборот, на аллею похожих на акации деревьев, укрытых фиолетовыми облаками мелких, но таких обильных цветков, что их хватает на цветные лужи у бордюрного камня, который питерские называют почему-то веселящим их словом “поребрик”. Все эти счастливые банальности действительно существуют, говорит он ей, когда

идущая рядом с тобой женщина так хороша. А ведь еще и в сумочке у нее теперь – золотая кредитная карточка, с которой она еще привлекательнее. Привлекательностью лошади, идущей в модный бутик покупать себе новую сбрую, добавляет он. Она внимательно слушает и немного хмурится для порядка, когда он излагает ей и для нее же якобы новые планы. Не стоит замыкаться на одном месте работы, говорит он ей, не попробовать ли тебе заняться консультациями для разных фирм? Будьешь фрилансер, вольный стрелок. Я же женщина, а не рыцарь, возражает Баронесса. Женщина, женщина, соглашается Я. Рентгеновский снимок ее души показывает Я., что быть только женщиной ей мало. Она загорается идеей и через некоторое время уже делится с ним конкретными планами, – с кем встретится, с кем переговорит. Она даже начинает напевать ивритскую песенку, вернее – песенку старую и русскую, это “смуглянка-молдаванка”, чью ивритскую версию она принесла вчера с работы. Кто из чьего ребра, думает Я., можно спорить, но “синдром Моисея” не обошел и ее. Что еще за “синдром Моисея”, спрашивает она. Свобода! – восклицает он. Родина и свобода, добавляет он уже совсем тихо, потому что такие глупости всегда нужно говорить тихо, чтобы не быть осмеянным.

N++; ДЕЛО О СОЛДАТЕ И ЕГО УБИЙЦЕ

Кнессет Сурового Созыва решает пересмотреть дело об убийстве Солдата, представляющем значительный общественный интерес.

– Убийца осужден первоначально за убийство Премьера, – докладывает Я. – Кнессет не намерен вмешиваться в решение суда. Повторное слушание дела назначено в связи с тем, что убитый был солдатом Армии Обороны Еврейского Государства. Факт убийства доказан предыдущим расследованием, новых данных об обстоятельствах убийства не имеется. Собственно Кнессету предлагается вынести свой вердикт.

Б. берет слово, он краток.

– Убийство Солдата Армии Обороны Еврейского Государства не предполагает никаких снисхождений, – говорит он. – Предлагаю приговорить Убийцу к смертной казни через повешение с использованием материальной части, применявшейся при предыдущих аналогичных экзекуциях.

Б. знает, что такая экзекуция производилась только однажды, над Эйхманом, множественное число он применил, чтобы ослабить эффект. Он уже хотел бы взять свои слова обратно. Кнессет Сурового Созыва хоть и суров, но слов о материальной части процедуры повешения предпочитает не замечать.

– Если других предложений нет, прошу голосовать, – говорит Я. Приговор утверждается большинством из трех голосов при воздержавшемся В., известном своей мягкотелостью, и проголосовавшей против Баронессы, не предложившей, впрочем, другого приговора.

После вынесенного решения члены кнессета не пьют и не закусывают. Они сидят молча, они никогда до этого не выносили смертных приговоров, они избегают смотреть друг другу в глаза, в их душах рождается смущение, смущение рождает сомнения, а уже сомнения – рождают растерянность.

– Кто исполнит приговор? – спрашивает Баронесса.

– Нужны, как минимум, трое крепких мужчин, он будет вырываться, – замечает В., и у троих из присутствующих мужчин возникает ощущение, что над ними издеваются.

Они следят за руками Баронессы, оформляющей протокол. Баронесса, чисто из вредности, думает Я., делает вид, что не замечает их проблем. Но когда она хмурит брови и поджимает губы, члены Кнессета начинают догадываться о ее намерениях. Она выручит их, она поступит с этим протоколом, как Старшая Сестра поступает с резолюциями Организации Объединенных Наций, осуждающими Еврейское Государство, она их подошьет в папку.

Наконец, в затянувшейся тишине Я. берет слово.

– Черт с ним, пусть живет, страсотерпец за веру. Пусть размножается. Дети не любят жить в тени своих отцов. Случается, круто разворачивают оглобли. Помните этот грузинский фильм в начале Русской Свободы? Там сын выбрасывает из земли труп своего отца.

– Что ж, за детей-санитаров, – соглашается Кнессет.

НЕПРИГОТОВЛЕННЫЙ КОФЕ

Я. и Баронесса достраивают второй этаж дома, оставаясь жить на первом и решив не переезжать никуда на это время. И даже заседания Кнессета Зеленого Дивана

продолжаются как ни в чем не бывало, как музы не затихают в Еврейском Государстве, когда говорят орудия.

Работы выполняет бригада Соседей из Газы, которую еврейский подрядчик привозит по утрам после того, как они ночью отстояли на пропускном пункте, а затем два часа продремали в микроавтобусе. Вопреки устоявшемуся стереотипу о “соседской работе” как синониме слова “халтура”, бригада работает отлично. Еврейский подрядчик ими явно гордится, он гордится и собой, объясняя, что главная задача строительного подрядчика как раз в том и состоит, чтобы годами подбирать в команду людей, умеющих работать хорошо и быстро. Когда они взбираются на леса, он не в первый раз кричит им: “Будьте осторожны, не упадите, хоть вы и Соседи”. Соседи не в первый раз смеются. Соседи работают, подрядчик закупает и подгоняет материалы и привозит специалистов, Я. и Баронесса отстегивают хай-тековские денежки. Все довольны друг другом. В обеденный перерыв Соседи достают из полиэтиленовых пакетов привезенные из дома питы, оливковое масло, варят кофе. В положенное время бригадир Соседей падает на колени и молится, остальные Соседи этого не делают. Видимо, все общение с вышестоящими инстанциями они передоверили своему бригадиру. Сам бригадир рассказывает с гордостью о своей дочери, у которой одни отличные оценки в школе. Эта идиллия так чудесна, так хочется верить, что катаклизмы уже позади, вот-вот восторжествует здравый смысл и наступит вечный мир, осталось сделать совсем чуть-чуть, один, два шага навстречу друг другу.

Только однажды не удалась идиллия по вине Я., когда подрядчик, сидя за обедом вместе с рабочими, позвал его.

– А свари-ка нам хорошего кофе, – сказал он торжественно, и было ясно, что Я. надлежит выполнить какой-то важный дипломатический ритуал, принятый на Востоке.

Я. вспоминает журналиста Еврейского Государства, забравшегося брать интервью к лидеру радикальной исламской организации. Этот журналист вообще имеет склонность забираться в такие места, и чем глубже забирается, тем меньше делает выводов. Из него, наверное, и инженер получился бы дельный, заявил однажды Я. под одобрительный смех других инженеров. Он бы не сидел на совещаниях, вырабатывая правильные решения, которые инженерами уже и без этих совещаний приняты. Этот журналист (где мы только его не встречали, вот он в Ираке беседует с шиитами, а вот в Ливане снимает штурм дома и раненных солдат, а вот в студии – замолкает, не провоцируется на скороспелые обобщения), так вот он исламским лидером принят ласково, пьет чай.

“Ну да, мы вас уничтожим, – говорит лидер, – но это будет не сейчас, это будет позже, а пока пей, будь гостем, чай вкусный”.

“Правда, так непохоже на то, как это было в Германии? Это и есть аромат Ближнего Востока!” – рассуждает про себя Я.

– Мы не варим кофе дома. Если и пьем, то растворимый, а в основном пьем чай, – отвечает он подрядчику.

Какая вожа попала под хвост Я.? Ну сходил бы к приятелю, тут, рядом. Он кофе готовит. Попросил бы помочь, сварил бы кофе для людей, которых он действительно уважает. Ну не хочет он, видите ли, корчить из себя Императора Острова Пингвинов.

ПИСЬМО ХОРОШЕМУ СОСЕДУ

Я. любит кошек. Но эта скребет у него на душе. И он садится писать письмо Хорошему Соседу. Честному, незлому, пришедшему к нему с открытой душой. Такому, почти честному и почти незлому, каким представлялся он самому себе, пока жил в Российской Империи. Своей способностью к самоиронии Я. чрезвычайно гордится.

Этот Хороший Сосед обращается к Я., потому что ему душно. Давайте жить вместе в мире и дружбе, не нужно никаких границ между нами, предлагает он.

“Дорогой Хороший Сосед, – пишет Я., – как я тебя понимаю! Как знаком мне твой благородный порыв!” Эти строки пишет Я., сидя на кухне, и когда он поднимает глаза, взгляд его упирается в зеленые венецианские жалюзи на окне. “Как много лет этот взгляд на мир казался мне таким простым и естественным. Увы, если бы я сохранил его по сию пору, то, возможно, не оказался бы здесь и мы вряд ли были бы сегодня знакомы”.

Я. оторвался от листа бумаги, снова посмотрел в окно и оторопел. Через стекло и жалюзи на него смотрел, не видя его, Хороший Сосед. Сейчас он нажмет кнопку неработающего звонка, затем постучит в дверь.

Хороший Сосед нажал кнопку звонка. Еще раз. Не услышав отзвука изнутри, он постучал в дверь. Я. затаился. Сосед вытащил из кармана сотовый телефон и стал набирать номер. Я. лихорадочно схватил свой мобильник и неловкими пальцами перевел его с “ринга” на “вибратор”. Телефон почти сразу затрясся у него в руке.

- Алло, - отозвался Я.
 - Это я, - сказал Хороший Сосед, - я стою перед дверью твоего дома.
 - Я знаю, - ответил Я.
 - Ты откроешь? - спросил Сосед.
 - погоди, - мямлит Я. ("И зачем он стоит на самом солнце? Рядом есть тень", - мелькает мысль).
 - послушай, это бесперспективно, - говорит Я., - из этого ничего не выйдет. Вот видишь, я же здесь, а не там, где родился. Где леденеет клавиатура, пальцы примерзают к мышке, и по утрам из-под снега выгребают компьютеры. Как бы мы ни старались, кто-нибудь обидит, заденет тебя, кто-то из твоих детей непременно предъявит счета, по которым начнется тяжба.
 - Значит, не откроешь? - спросил Сосед.
 - Не открою... с любовью, - выдал Я.
- Сосед спускался по ступеням, ведущим от дома к дороге. "Правы они или не правы, оскорблены ли или нет, но они избегают надевать на себя маску побитой собаки или что-то вроде нее", - подумал Я., глядя в спину Хорошему Соседу.

ВОЙНА И МИР III

Генерал-пианист берется за дело с присущей ему методичностью. Часть дела - управление людьми, - ему хорошо знакома. Добрый Дедушка также знаком ему. Его он разглядывал не раз через все виды прицелов и приборов ночного видения. Имидж политика на первых порах Генерал-пианисту формировать помогают друзья по партии. Вскоре он понимает, что друзья скорее развлекают самих себя процессом его обучения, он же ничуть не продвигается. На помощь призвана тень Станиславского. Генералу-пианисту привычно отдавать приказания другим генералам на одно или два звания ниже. Теперь ему нужно научиться говорить с дураками. На суровое лицо, по которому, кажется, скользят тени ни на секунду не прекращающейся работы мыслей, он напяливает маску простоты и доходчивости. Тень Станиславского заходится криком.

- Не верю, - старческим дискантом вопит она.

Поверх маски простоты и доходчивости Генерал-пианист приклеил еще приветливую улыбку. Он еще ничего не сказал, а тень Станиславского уже бьется в истерику, потому что его кривая улыбка без всяких слов говорит:

- Ночной горшок - здесь, Соседи - там. Что вам еще объяснить? Сыграть вам на пианино, кретины?

Завывая сиреной, скорая увозит тень Станиславского в больницу "Ихилов". Но членам Кнессета Зеленого Дивана Генерал явно импонирует. Его, похоже, не интересуют ни сигары, ни кресла, ни атрибуты власти, наслаждаться которыми он все равно не умеет.

- Так и быть, - принимает коллективное решение Кнессет, хотя Б. выражает сомнения, - ничего не объясняй, действуй. Нам нужен мир, к компромиссам мы готовы.

Музыка косы и камня, приходящих в соприкосновение, не ласкает слух. Рациональный, собранный Генерал-пианист, тщательно просчитывающий свои шаги, и поэтический Добрый Дедушка, привычно витающий на волнах эмоций Соседей, которыми последние не обделены ни в малейшей мере, - странная пара проносится на экранах телевизоров, - то Генерал-пианист гонится за Дедушкой, то Дедушка преследует Генерал-пианиста.

Привычный для Дедушки, Генерал-пианисту этот телесериал-боевик быстро надоедает. Он зовет Дедушку на разборку к Старшей Сестре. К тому времени он уже решительным росчерком пера остановил одну войну на Дальнем Севере, установив границу, которую теперь так и будут называть - Граница Генерал-пианиста. Но чуткий к грезам своих людей, Дедушка и не думает сдаваться. Боевик - тот же боевик, как море - то же море. Дедушка ни на что не соглашается и ничего не предлагает даже тогда, когда Старшая Сестра совсем выходит из себя. Но Старшая Сестра велика размером, и выйти из себя ей некуда.

Шагая по комнате из угла в угол, пока Старшая Сестра пытается хоть что-то выжать из Дедушки, Генерал-пианист в кемпинге Царя Давида, у которого слава места, где заключаются удачные сделки, обращается с речью к настенным часам.

- Если этот мерзавец подпишет хоть что-нибудь, я заставлю вас маршировать в ногу со мной по этой комнате, - грозит он часам.

Часы остаются на своем месте. Добрый Дедушка видал и не такое. Он не разочарует свой народ. Его народ жаждет победы, победы в огне и крови. Об этом они поют на улицах, славя своего вождя, который в это время разъезжает по всему миру, разводя в недоумении руками, чего хотят от меня да и от нас всех эти странные евреи. Чего?

Его народ не разводит руками. Вот этими самыми голыми руками, говорят Соседи, мы достанем ваши самолеты, этими голыми руками мы свернем дула вашим танкам, наши дети будут взрываться под их гусеницами, потому что мы любим свою землю, что зовется Иудеей. Столкновение фантазии со здравым смыслом выглядит, как всегда, печально.

Как ни странно, спичку к бочке с порохом подносят Наши Соседи. Они граждане Еврейского Государства и, по их собственным уверениям, находясь между молотом и наковальней конфликта, больше всех заинтересованы в его разрешении. Зря гибнут люди, но это лишь первые капли крови в ручейке, который потечет теперь. Память о том, кто первый ударил в спину, хамсины с собой не уносят.

Еще какое-то время Неисправимые Человеколюбцы по инерции призывают брататься и рушить стены. Ведь и немцы с англичанами братались в то незабываемое Рождество 1914 года до первого убитого снайпером во время братания. Надо же что-то делать, говорят Человеколюбцы, что же, опять убивать друг друга, опять кровь? Первый признак невменяемости – это когда от одних и тех же действий ожидают разных результатов, напоминают им психологическое уравнение Энштейна. Все равно, нужно пробовать еще и еще, настаивают Человеколюбцы. Я. выслушивает их внимательно, в их настойчивом самопожертвовании он усматривает даже что-то поэтическое. Но после этих упражнений в толерантности, жалуется он наедине Баронессе, – у него моча концентрированная и кал черный.

Подъем одышливого Старого Ястреба на холм Х, даже если этот холм Х – знаменитейший в истории человечества, не может считаться в глазах Просвещенной Европы поводом к войне. Разве что Просвещенная Европа считает Соседей стадом быков, к которому пастух не должен подходить в красной майке.

Кнессет Мирного Порыва не верит своим глазам, наблюдая за дипломатическими контрастами на ступенях Элизейского Дворца, где Император Острова Пингвинов – сама галльская галантность с Добрым Дедушкой и дуэльная шпага с Генерал-пианистом.

– Почему? – спрашивает пораженный этим зрелищем В.

Старая формула “их глотки забиты нефтью Соседей” Кнессету кажется недостаточной.

– Старое, доброе антидрейфусарство? – спрашивает себя Б. – Нет, непохоже.

– Они хотят повторить успех прошедшей войны. Коллаборационизм, по их мнению, себя оправдал, – формулировки А. не допускают разнотолков.

Все помолчали.

– Вот и первый петух пропел, – Я. восполняет художественную неполноту математических построений, – на сей раз – галльский.

– Концепция превентивной войны со злом, – сказал Б., – на которой когда-то настаивал Черчилль, говоря о том, что своевременная полицейская операция в Европе могла бы предотвратить Вторую мировую войну, на Ближнем Востоке воплотилась в Войне Шести Дней и Ночей. Это абсолютный Антиколлаборационизм. С тех пор затаилась их неприязнь к нам.

– Мы что же теперь – не любим Остров Пингвинов? – спрашивает Баронесса, и Кнессет заливается смехом по поводу неожиданного оборота.

Шутка шуткой, говорит себе Я., а негативное чувство-то к Острову нешуточное, удивляется он. Чем-то знакомым веет на него от этого чувства. Дежавю. И он вспоминает – ну, конечно же, – это его первая “взрослая” книжка, прочитанная в детстве – “Пятнадцатилетний капитан”. Тогда в детстве его поразило то, что герой не столько ненавидит обманувшего путешественников беглого каторжника, сколько его обаятельного знакомого, заманившего их в тропический лес. Или это не пятнадцатилетний капитан, а сам юный Я. тогда проникся ненавистью к лоцману предателю? Если видеть в романе Жюль Верна пророчество, делится Я. своими мистическими изысканиями с Кнессетом, вспоминая продолжение романа (разве можно забыть что-нибудь в первой поразившей детское воображение книге?), то Остров Пингвинов погибнет от рук Еврейского Государства, а с Соседями сведет счеты Собака. Что за Собака и зачем Еврейскому Государству губить Остров Пингвинов, спрашивает Кнессет погрузившегося в воспоминания детства Я. Не знаю, искренне отвечает он.

Может быть, в чем-то и мы виноваты, спрашивает себя Кнессет Зеленого Дивана. Но ведь мы так хотели примирения, так стремились к нему. Конечно, мы виноваты, говорят самые чистые души в Лагере Мира – Генерал-пианист не сумел правильно приготовить кофе Соседям.

Раздосадованные неудачей граждане Еврейского Государства смещают Генерал-пианиста. Зерна Великого Перелома зреют в душах приверженцев Лагера Вечного Мира.

Легенды о том, что Соседи панически боятся собак, а собаки, чувствуя страх, звереют от ненависти к Соседям, Я. слышал из разных источников. Еврейский журналист, переодевшийся и принявший облик Соседа, чтобы узнать, каково жить в его шкуре в Еврейском Государстве, однажды погладил собаку хозяйки ресторанчика, в который он нанялся мойщиком посуды.

“Я думала, Соседи не любят собак”, – искренне удивилась хозяйка.

“Это было самое тяжелое оскорбление, которое мне пришлось испытать в соседской шкуре”, – рассказал журналист. Он рассказывал об этом во времена Великой Иллюзии, и сидящие перед телеэкранами, и сам Я. проникались горячим сочувствием к Соседям, с которыми у нас благодаря этому сочувствию заключен будет близкий и вечный мир. В качестве кого этот журналист тогда испытал оскорбление, в качестве еврея или в качестве воображаемого Соседа, пытался прояснить для себя Я., и, размышляя, сначала задремал, а потом и вовсе заснул.

Сначала он почувствовал свой влажный нос и короткую шерсть, затем он сел, но в таком положении тут же стало ясно ему, что кроме шерсти на нем ничего нет, а он все-таки в публичном месте. Поняв это, он снова встал на четыре лапы. И тотчас увидел в толпе Соседа. На нем не было клетчатого платка, как на Добром Дедушке маленькой Интифады, но он не был расслаблен, как остальные люди в толпе. Если бы кто-нибудь из этой толпы стащил бы ханукальную суфганию с прилавка и слопал бы ее, он, возможно, испытал бы угрызения совести, думает пес, а этот, на котором сосредоточилось сейчас его внимание, наверное, испытал бы только чувство удовлетворенного голода, и никакого раскаяния. Шерсть начала приподниматься у него на загривке. Он вдруг вспомнил, что люди из толпы придумали недавно новый ханукальный лифчик – его чашечки имеют форму этих пончиков-суфганийот с сочной темно-красной каплей вишневого варенья на самом выступе чашечки. Но какое ему, черт побери, теперь дело до этого варенья и этих чашечек, если он – пес. Его нос и губы морщинутся, и его зубы теперь хорошо видны окружающим. Они видят, кому предназначен его оскал, и потому не боятся его, как не боятся и глухого хрипа, рвущегося из его гортани.

А нет ли у этого типа под рубашкой широкой ленты с трубочками, напоминающими толловые шашки, увязанные наподобие короткой пулеметной ленты? От этой мысли глухое рычание переходит в остервенелый лай. Как разогнавший двигатели на взлетной полосе реактивный самолет, пес отпускает тормоза и сквозь толпу несется к замершей цели. Только бы страх сковал Соседа настолько, чтобы он не потянулся к кнопке, которая у него неизвестно где. В руку пес может вцепиться только в одну, а второй тот сможет воспользоваться. Долечу ли я до горла? – как новейший процессор компилирует на бегу свою программу пес. Сосредоточенность, толчок, прыжок...

Я. встрепенулся во сне и открыл глаза. Декабрьское солнце было мягким, легкая прохлада наполняла прозрачный воздух. Пришлая кошка внимательно смотрела на него из сада. Вдруг случился проблеск, будто в окне дома напротив мелькнула и не зажглась неоновая лампа, но нет, это в лучах низкого солнца сверкнула жидкая стайка мелких мошек.

N++; ЗЛАЯ ЕВРОПА

– Несправедлива к нам Европа, – сделал заявку А.

– Злая тетка, – подтвердил В.

– Циничная и лицемерная, – обвинил Б.

Я. предложил художественный образ.

– Кому не знакома такая сценка в детстве? – сказал он. – Вот появился хулиган среди детей, который всем досаждал, требует мелких денег, дети молчат – боятся, и тут выходит во двор во спасение взрослая тетя. Ну вот, наступило наконец избавление, думают дети, и хулиган тоже думает, что сейчас его приструнят. “Перестаньте драться, мальчишки”, – говорит тетя и скрывается за углом со своей сумочкой.

– Я просто поражаюсь, – вскипел Б., – неужели европейцы, не видят, что как только Соседи действительно соглашались на мир, они немедленно его получали. Даже от тех наших политиков, которые изображали из себя хулиганов.

– Мы не так давно были в Риме, – сказал Я. – Экскурсовод наш была из местных. Женщина, несомненно, оригинальная, дерзкая в лучшем смысле слова, напоминала немного Веничку Ерофеева перед открытием магазинов: как и он в это время суток, была абсолютно трезва и так же своевольно остроумна и раскованна. В какой-то момент речь зашла о политике, и кто-то горячо сказал ей: “Европейцы не понимают...” “Европейцы все понимают”, – ответила она на своем медлительном, но хорошем русском. И я ей сразу поверил – европейцы все понимают.

– Поймите и вы их, – сказала Баронесса, – они тоже люди, им хочется видеть себя красивыми. Я прочла недавно очень трогательную книгу одного европейского

автора. Там еврейского мальчика от нацистов спасают хорошие европейцы – и граф с графиней, и католический священник, и суровая аптекарша, и крестьяне. Спасают даже не от нацистов, а от плохого еврея, который разъезжает на джипе вместе с нацистами и опознает для них еврейских детей.

– А немецкого офицера, который пришел в приют на Рождество с конфетами, все понял, но никого не выдал, и даже еврейским детям дал на одну конфету больше, такого там не было? – спросил Б.

– Кажется, нет, – ответила Баронесса. – Хотя я об этом где-то, кажется, слышала.

– В Амстердаме, – сказал Б., – я не попал в музей Анны Франк, но меня тронула длинная очередь у входа. О чем думают стоящие в ней люди, – гадал я. Когда я уже улетал в Тель-Авив, голландка, офицер безопасности, экзаменовавшая меня в аэропорту, спросила, был ли я в этом музее. Я ответил, что нет, – и замаялся. Она, должно быть, решила, что я равнодушный чурбан. Наверное, я не из-за очереди не пошел – себя пожалел, не захотел лишней травмы, тем более у них на глазах, – добавил Б., имея, видимо, в виду европейцев.

– Удивлюсь, если окажется, что автор не еврей, – сказал я.

– Наверняка еврей, – отозвался Б., – правнук капитана Дрейфуса.

– А вот встретит тебя правнук Дрейфуса на каком-нибудь на дипломатическом рауте... – сказала Баронесса.

– ... где царит атмосфера европейской культуры, и Галльский Петух говорит Британскому Льву доверительно: все наши проблемы из-за одной вонючей курицы... – дорисовал картину Б.

– Так вот встретит тебя Дрейфус-правнук на рауте, где царит атмосфера европейской культуры, – смеется Баронесса, – и скажет тебе: “Вы, сударь, негодяй и расист, что в общем одно и то же”.

– Тишина наступит в зале, – дорисовывает картину я., – блеснут бриллианты на дамах. Мужчины во фраках из позиции, похожей на ту, что принимают по команде “вольно” гвардейцы в строю, перейдут в позу горделивой серьезности. “Смирно, равнение на глубочайшее уважение к равенству всех рас и народов”, – скажет вам их величественная осанка. Женщинам вытягиваться не нужно, только чуть-чуть приподнять головы. Некоторое время понадобится и мужчинам, и женщинам, чтобы найти место, куда можно поставить бокалы, и уж затем все вместе аплодисментами, не бурными, нет, очень сдержанными, отметят они этот благородный и безоглядный поступок.

Члены Кнессета с интересом смотрели на Б., который выглядел не на шутку задетым и даже покраснел.

– Я Б., а не И. – и не подставлю вторую щеку, – ответил Б. серьезно. – Я – ногой в пах.

– Не троньте нашего Б., – хохочет теперь уже весь Кнессет.

– Какая чудная сцена, – улыбается я. – Вся Европа будет ею наслаждаться.

– А помните, в Швеции, – сказал Б., – один еврей, кажется даже наш согражданин, представил произведение искусства – бассейн с водой, подкрашенной под кровь, а в нем плавает лодочка с портретом Соседки, бомбистки-самоубийцы, убившей в кафе десяток человек. Произведение искусства называлось “Белоснежка”. Посол наш, когда это увидел, сам потемнел и освещение в зале выключил. Европа тогда обиделась за покушение на свободу самовыражения.

– Солидарен с Европой. Посол не прав, – сказал я. – ему бы попросить художника нагадить в этот бассейн – еврейское дерьмо на плаву придало бы произведению законченность. Мы обязаны освоить европейскую чувствительность, иначе нам трудно будет понять друг друга. Подумайте, как это здорово – приходит еврей, сам приходит, его и искать не нужно, и говорит: “Вот мы ныли, ныли о том, как нас притесняют в Европе, а получили чуть власти – и сами превратились в притеснителей”. А европейцы на него смотрят и ждут, может быть, он еще что-нибудь скажет. Он топчется, думает, и вид у него все более и более значительный. А европейцы уже в напряжении: “Ну же, ну же...” Как тут обмануть ожидания таких прекрасных и благожелательных к оратору людей! “Не просто в притеснителей – в НАЦИСТОВ”, – говорит этот самый оратор, и аудитория его выдыхает и говорит на американский манер: “Ва-ау!”!

– Ну ладно, – произнесла Баронесса. – Автор этот, может быть, вовсе не еврей и хотел как лучше, и пишет он действительно трогательно. И мы тоже хороши – налетаем вечно на Остров Пингвинов почему зря. Он, между прочим, тоже на самом деле никакой опасности не представляет.

– Так ведь и мы его не бомбим, – ответил Б. – Но поколачивать Галльского Петуха по почкам нужно, иначе он совсем распояшется.

– Разве у петуха есть почки? – спросила Баронесса недоверчиво.

– Ладно, адье, – ерничает Б., – видимо, не забывая о воображаемой стычке с потомком Дрейфуса, – подожмите на прощанье губки, пожмите плечиками.

– Европейцам, возможно, представляется, – отказывается закрыть тему Я. и становится серьезным, – что Еврейское Государство – химера, которая неизбежно рухнет под натиском Соседей. (Вы же видите – у них “пунктик” на этом, говорят они.) А евреев мы хорошо знаем.

– Да, они действительно хорошо знают Дрейфуса, – заметил Б.

– Если героям Оза, – продолжил Я., – сорок лет назад Еврейское Государство еще представляется порой воткнутыми в песок пальмами, которые вырвет с корнями налетевший порыв ураганного ветра (ветерок с вами рядом, напоминает Европа, вы сами выбрали это продуваемое место), то теперь оно, это государство,росло в землю многотонными бетонными дугами транспортных развязок, да и пальмы пустили корни. Вы ведь видели картины цунами – разрушенные отели с плавающей мебелью, а пальмы стоят.

– Не чувствую я в себе связи с поколением Оза, – говорит Б., – потерянное поколение Еврейского Государства, уставшее, рыхлое, недооценивающее то ли свою стойкость, то ли нашу. Как причесанных болонок, выводят их на длинном поводке с мягким ошейником на прогулку по Шнапс-Элизе. Дети Вудстока? Что осталось от Вудстока? Шприцы, горы презервативов. И символ философии Вудстока – Нобелевская премия мира Организации Объединенных Наций, не вмешавшейся и не предотвратившей геноцид в Руанде, – не упускает случая Б. атаковать нелюбимую им организацию.

– С ее умением не отличать сионизм от расизма, – добавляет А.

– Ну, эту резолюцию они потом отменили, – заметил Я.

– И мы должны быть за это им благодарны как Дрейфус Франции, – не унимается Б.

– Европейцам, должно быть, действительно трудно понять, что произошло здесь со знакомыми им еврейчиками, – продолжает Я. – Не помешались ли они, в самом деле? Когда я летел в Америку, я только под самый конец полета познакомился с людьми, которые сидели рядом. Это была пара из Швейцарии. Узнав, откуда я, женщина улыбнулась и сказала: “Я бы сбежала”. Я не нашелся с ответом в тот момент. Позже мне захотелось сказать им, что мы ведь “бегали” две тысячи лет, а результат? И мне было странно и смешно, что мы так поменялись ролями с ними, европейцами. Бывают ли в жизни такие крутые повороты, может быть, думают они о нас? Воюют, клянутся, что придется соскоблить их со стен их домов, чтобы выжить из них. Говорят, что для этого ведь и не нужны все, и части достаточно. А в наличии – больше, чем часть.

Члены Кнессета замолчали. Они, кажется, – в этой части. Кое-кто из них даже считает, что скалы стоят в море миллионы лет, если они скалы, а не песок. Глаза Б. чуть сузились, а на губах заиграла презрительная улыбка. В. без размышлений сомкнул плечо с товарищами. А. слегка побледнел и что-то оценивал. Оценив же, сказал, что из шести миллионов погибших можно было бы мобилизовать полумиллионную армию, а на отнятые у них средства – вооружить ее. И только Баронесса, ответственная за жизнь, смотрела на “мальчиков” с критическим любопытством. Когда члены Кнессета, увлекаясь застольем, несколько перебирают коньяка или водки, непьющая Баронесса служит им живым магнитофоном. При следующей встрече она с удовольствием пересказывает им содержание их горячих речей. Они отмахиваются и бесцеремонно объявляют ей, что женщина на пирушке – бревно в глазу.

– Может быть, они все-таки поймут нас, – сказал Я., имея, в виду Европу. – Наша модель оплачена плодами нашего же двухтысячелетнего бродяжьего опыта, закалена в крематориях.

– Они напоминают мне святых старушек, своих прапрабабушек, приносивших хворостинку в костер ведьмы, – добавил Б. – Баюкают себя сладкой сказкой про многокультурное общество. Уж мы сыты этой собственной сказкой по горло, столько веков ею питались.

– Не судите о европейцах по тому, что они говорят вслух, – предлагает Я. – Слушайте молчание. Нам их ругать – только делать за них их собственную работу. Придет время – сами скажут о том, что действительно у них на уме, да и сейчас уже говорят иногда.

Я. меняет заданный было Б. тон. Он смягчает его. Он сперва обращается к европейцам, но это кажется ему слишком безадресным, и он делает выбор, он обращается к давним партнерам – он обращается к римлянам, не к тем, древним, а к нынешним. Люди они, говорят, беззлобные, Бог у них с такой красивой наружностью, их и фашизм не сумел довести до полного одичания. Пожалуйста, говорит он, мы устали от публичности, мы хотим впервые за две тысячи лет побыть одни, наедине с самими собою, мы хотим узнать о себе, кто же мы на самом деле такие. Может быть, мы и впрямь сами ни на что не способны. Приходите, если вам любопытно узнать, что у нас из этого получается. Только не осаждайте нашей Масады, не жгите нашего Храма.

– А как же с Америкой? – снова задал А. свой злодейский вопрос.

Члены Кнессета снова помрачнели – они не желают Америке зла. Они отсылают А. к теме заседания, там четко указано: “ЕВРОПА” и речь ни о какой Америке там не идет, говорят они.

ОТСТУПЛЕНИЕ

Когда упомянуты были “Белоснежка” и Швеция, мгновенно вспомнился Я. день гибели Анны Линд. Мало кто умудрялся раздражать Я. так, как это удавалось ей. Он помнит телекадры ее выхода из правительственной машины. Сначала по всем правилам показывались ноги, затем, не спеша, грациозно выходила из нее вся Анна Линд, и вот она уже улыбается телекамерам. За все, что она говорила о Еврейском Государстве, ей, безусловно, полагался, по мнению Я., трехдневный стоматит, но никак не удар ножом в живот. Его почему-то сильно задела эта нелепая гибель.

– Как может прийти в голову мысль ударить ножом женщину? – вопрос, который он задает Б. и задумывается о мысли и смерти.

Острота мысли нужна для осознания красоты жизни, думает он. Она должна быть немедленно заглушена, когда мы наталкиваемся на смерть или на нечто непереносимое и невозможное, как деление на ноль. Заглушение разума становится тогда немедленной целью. Острота мысли как пес. Ее выпускают резвиться на замкнутом, безопасном пространстве, за пределами которого табу, невозможное, неприемлемая для острой мысли бездна. Благословен загончик жизни, на котором она может беззаботно резвиться.

N++; ДВА ПОДХОДА

– Вот мы говорим: Черчилль, конформизм, коллаборационизм, – сказал Я. – Удалось ли бы нацистскую Германию обезвредить одной только “полицейской операцией в Европе”, еще требуется доказать, а вот на Большевицкую Империю никто не нападал, кроме нацистов, конечно. И она через семьдесят лет сама рухнула. Так, может быть, правы конформисты и коллаборационисты? Лучше переждать?

– После Отца Народов, может быть, и правы, – сказал Б., – а при нем и до него большевики могли бы по трубопроводу в Европу кровь гнать вместо нефти и газа.

– Интервенция Европы в Большевицкую Россию тоже, скорее всего, захлебнулась бы в крови – слишком многим показалось тогда, что настало их время, – ответил Я.

– Между прочим, – сказала вечно трезвая Баронесса, – если бы Америка воевала с Империей Зла, бомбы сыпались бы прямо на наши головы.

Мысль о справедливой бомбе, по ошибке упавшей в колодец двора на Гороховой (в его детстве – Дзержинского), куда он входил, держа за руку младшую сестру, даже для решительного Б. мало переносима.

– Но ведь они же, по сути, всегда были правы, – говорит он об Америке, но в голосе его недостает на сей раз его обычной задиристости.

– И что же, – иронизирует Я., – единственное послание, которое может отправить в Большой Мир уважаемый Кнессет, – это что жизнь сложна и дьявол его знает, что с ней делать?

Кнессет Зеленого Дивана, несколько запутавшийся в идеологии, решает, что неплохо бы ему проветриться. Кнессет набивается в одну машину, и А. вырывает на дорогу Иерусалим – Тель-Авив в направлении Тель-Авива, то есть в направлении моря.

НА НАБЕРЕЖНОЙ

Они паркуют машину на бесплатной по субботам стоянке. Это заседание было отложено на субботу из-за Б., которому пришлось выйти на работу в пятницу, и Я. предлагает им необычное начало прогулки. Они идут не к набережной, а к рынку Кармель. Нет ничего более неземного, чем рынок Кармель в мрачную погоду в субботний день. Одни только тощие кошки бродят в закрытых и вонючих рыбных и мясных рядах, даже темных личностей нет. (“Пошли отсюда!” – говорит не склонная к постмодернистской эстетике Баронесса не кошкам, а своим спутникам). То, что вчера пестрело, шумело и переливалось через край, удивляло дешевизной и изобилием, отступило, спряталось за ржавыми замками и жалюзи, а то, что выступило на первый план сегодня, – серо, старо, угловато и имя ему – Коекак. Из полозьев жалюзи вышло наружу смазочное масло и испачкало, смешавшись с пылью, волнистый металл, на котором чья-то рука под голубой звездой Давида вывела голубым же цветом патриотическую надпись “народ еврейский жив”. Чья-то

левацкая рука кровавым цветом добавила: “и виновен в страданиях палестинцев”. Сбоку равнодушно глядит на политические стычки хозяйский плакат соседней лавки. “Король арбузов”, – возвещает он о себе. Скатан грязный навес, полощется на легком ветру не вполне целая марка, другая марка, сморщившись, откинулась назад, как складная крыша автомобиля наркобарона, а третья – вовсе в лохмотьях. Люминесцентные лампы под навесами висят на своих местах, как лебедки мойщиков стекол на небоскребах. Обычные лампочки предусмотрительно вывернуты, что служит намеком на то, что темные личности сюда все же заглядывают, но алчность их так же скромна, как скромны эти безобразные ящики с разъеденными ржавчиной углами. Они вытянулись в два ряда, словно на двух линиях невидимого конвейера перед погрузкой на такой же затертый пароход. Потрескивают на бегу гонимые ветром пустые пластиковые стаканчики, умолкают, наткаясь на металл, издают последний хруст, попадаясь под ноги, и чтобы уж совсем испугать Баронессу, звучит резкий выстрел – это металлический лист жестяного склада, устав от одной кривой напряженности, прыгнул в другую изогнутую нервозность. Этот звук-выстрел исчерпал терпение Баронессы, и компания сворачивает на набережную, минуя рисованную настенную жизнь племени художника Рами Меири.

А по набережной они идут вольготно, не спеша, от памятника у дельфинариума, где погибли в теракте дети из Российской Империи и где все еще горят свечи и лежат цветы, до яхт тель-авивской марины. Они минуют американское посольство, подземной автомобильной стоянке которого любил доверять свою “Субару” Б. до встречи с госпожой Ковалевски и безмянными угонщиками, проходят мимо соседнего с посольством ресторанчика Mike's Place, отмеченного в свое время дежурным терактом. Другим терактом был отмечен еще клуб возле арабской лавки-пекарни, который компания прошла немного раньше. Я. оказался там на следующий день, были еще на месте взрыва обломки, мусор и полицейское ограждение, FOX снимала маленького солдата с автоматом, стоявшего на придорожной тумбе и что-то высматривавшего. Красная краска, которой вскоре была покрашена мостовая на входе в ресторанчик, уже поистерлась под ногами прохожих.

Компания ведет беседы, уместные при небыстрой ходьбе. Так, ничего особенного. Сначала о царях древности. Я. утверждает, что Александр поразил современников и потомков не столько своими воинскими подвигами, сколько попыткой построить Новый Ближний Восток. Щелкнув на иконке увеличительного стекла со знаком плюс, отчего, как известно, мы видим меньше, но лучше, Я. сосредотачивается на клочке ойкумены между Средиземным морем и Иорданом. Он опровергает расхожее мнение о том, будто царь Ирод запомнился иудеям лишь своими жестокостями. Жестоких иудейских царей было хоть отбавляй, говорит он. Жестокости Ирода запомнились лишь благодаря масштабу его личности, который отразился в размахе его строительства. Потом беседа перешла на других строителей – пионеров-первопоселенцев из России. О том, какая это была безумная затея. Они рассуждали о законе сохранения безумных затей в природе. Стоит ли любая идея, как бы хороша она ни была, такого самопожертвования, спросил А., имея в виду первопоселенцев. А есть ли вообще ответ на вопрос, сколько стоит свобода, ответил Б.

Море легонько гладит мокрый песок. Б. улыбается встречной толпе безадресной улыбкой. Я. находит, что в его улыбке есть оттенок надменности. Он эту надменность оправдывает, он говорит, что она антибиотик после столетий европейского холопства. Море – то же море, говорит улыбка Б., первопоселенцы – те же первопоселенцы. Ау, вы нас не узнали?

Они переходят на иврит, встречая знакомых уроженцев страны. Прощаясь с ними, снова возвращаются к русскому. Кого они встретили на этот раз? Б., например, встретил Гади Леви, с которым работал когда-то в одной комнате в “Hello Ltd.”. Гади Леви был всем хорош, и только тем не очень удобен в общении, рассказал о нем Б., что имел обыкновение громко кричать. И кричал он не тогда, когда злился или хотел кого-то обидеть, а наоборот, – чем веселее ему было, тем громче он кричал, чем приятнее ему был входящий в комнату, тем более шумным приветствием и хлопком по плечу он его награждал. А. встретил старичка-“поляка”, мимо дома которого он когда-то продвигался по тротуару с метлой и совком, и старичок неизменно при этом тщательно запирает калитку и спрашивал у А. доверительно и шуточно, не “румын” ли он, а затем в который раз шутил, что “румын” – это не национальность, а профессия. А. впоследствии устроил собственный опрос, чтобы выяснить, правда ли, что “румыны” склонны к присвоению чужой собственности. Из троих опрошенных им “румын” ни один не сознался. Попадались гуляющей компанией и знакомые из “русских”. Например, Я. с Баронессой встретили старого знакомого, одного из первых своих соседей в стране, Баронесса вспомнила его имя, Валерий. Его в ту пору в августовскую жару можно было в полдень встретить идущим по улице в светло-сером костюме-тройке, с плоской соломенной шляпой на голове. Я. утверждал, что при нем была трость, но Баронесса трости не помнила. Этим облачением он подчеркивал, видимо, свою нескреживаемость с расхлябанным

Левантом. Весь вид его говорил, что если попытаться случить его насильно с Левантом, то потомства от этой случки не будет: он останется в костюме-тройке, а Левант – в неопределенного цвета неглаженной футболке с растянутым воротом. Сейчас на набережной этот их знакомый был в шортах, сандалиях на босу ногу и футболке, правда, тщательно выглаженной и с тугим воротом. Был он не только без шляпы, но даже наголо острижен, и голова его оказалась на удивление круглой. И только В. во всю дорогу никого не встретил и даже немного из-за этого было расстроился, но вдруг увидел, что навстречу ему идет Хаим Брикман, и безобидный В. стал смотреть себе под ноги, потому что жена Хаима Брикмана, (нет-нет, не позволим подозревать в В. негодяя!), просто жена Хаима Брикмана имела обыкновение стирать футболку мужа по вечерам и вывешивать их сушиться на ночь, отчего к утру футболки отдавали запахом тины. Хаим заметил глядящего себе под ноги В., окликнул его, осведомился о здоровье и обдал его знакомым запахом, который здесь, на набережной, вполне можно было бы принять за далекий отголосок поврежденной канализации одной из старых гостиниц на набережной. В. никак не прокомментировал встречу, а остальная компания так и решила, что это порыв ветра принес запах гостиничного подвала.

И все же тель-авивская набережная склоняет к беспечности. В Иерусалиме нет моря, но есть горы. Иерусалим приобщает к величию и страсти. Тель-авивская набережная внушает мысли о примирении, окутывает негой. Переселите жителей Тель-Авива на неделю в Иерусалим, который и видом и цветом напоминает горку грецких орехов, и не хватит ни стальных щипцов, чтобы эти орехи расколоть, а расколов, выковырять из мелких осколков скорлупы их горьковатую субстанцию, ни тяжелых дверей, в щелях которых колют орехи те, у которых не оказалось щипцов под руками. Если же наоборот, жителей Иерусалима поселить в Тель-Авиве и выгуливать день за днем на набережной, то они скоро будут напоминать розовых креветок, их останется взять за хвостик, макнуть в золотистый соус, зажмуриться от удовольствия, и они сами растают во рту. От людей ничего не зависит. Дух города варит их мысли, тихонько помешивая их в котле своих улиц, затем, сняв пробу, заправляет ими головы людей, как заливают свежее масло в мотор автомобиля.

ВОЙНА И МИР IV

фигура нового Премьера, сменившего Генерал-пианиста, поначалу пугает многочисленных беженцев опустевшего Лагеря Вечного Мира. В Старом Ястребе они привыкли видеть только угрозу разумному ходу дел. Стоит ему, переваливаясь, вступить в поле зрения телекамер, шурясь и почти застенчиво улыбаясь, как по телам их пробегают мурашки. Что еще он задумал? Какой сюрприз их ожидает завтра? Какую столицу поведет он нас брать завтра, чтобы упредить нависшую угрозу, – Дамаск, Багдад, Тегеран?

Но время идет, а Старый Ястреб как будто никуда и не торопится. Он улыбается еще мягче прежнего, еще застенчивее. Возраст, опыт и его внушительные размеры, кажется, приучили его не столько планировать и налетать, сколько приглядываться и протискиваться. Понемногу приучает он граждан Еврейского Государства, что не такой уж он ужасный, как принято о нем думать, потихоньку устраивает он доверительные отношения со Старшей Сестрой. Страсти пусть кипят на телеэкране, сам он приходит в телестудию все реже и реже, а потом и вовсе почти в ней не показывается.

Есть от чего кипеть страстям. Террор достиг новых высот. На экранах телевизоров возобновляются перепалки между Лагерем Горячих Патриотов и Лагерем Вечного Мира. Бывшие генералы особенно убедительны в своих выкладках. В Еврейском Государстве генералы больше других склонны к миру.

Но лучше всех, как всегда, выглядят журналисты. Пресса всегда права. Если Премьер заглянет в туалет, пресса тут как тут. “Знаем, знаем, чем он там занимается”, – поворачивает голову в сторону туалета телеведущий. При этом в поле зрения камеры попадают какие-то проводки, аппаратура, закрепленная на его спине. Все это, наверное, обеспечивает ему связь с редактором передачи, который по должности обязан быть мудрее телеведущего и при случае подскажет ему, как поддать жару.

Если армия рвется в бой, чтобы упредить противника, ей говорят: “Вы что, с ума сошли? У вас боевой зуд? У нас есть для вас успокоительные таблетки.” Если же противник напал первым, опытный журналист, словно забывая гвоздь в булку, задает вопрос: “Как могли вы дать им возможность окрепнуть у себя под носом?”

Дора Клигер из русско-еврейской газеты “Грустно”, больше известная под именем Большая Дора из-за своих солидных габаритов (еще и ассоциация с германской сверх-пушкой), призывает к широкомасштабной армейской операции. Ее перепечатывает ивритская пресса. “О” и “у” в иврите – одна буква. Большую Дуру

приглашают на телевидение. Генералы объясняют ей возможные последствия такой операции. “Но вы же не пробовали”, – возражает она. Механизм масштабной воинской операции все-таки приводится в действие. Sheherezada News трубит на весь мир о небывалой резне. На носилках переносят убитых. Одного из них неумелые санитары роняют на землю, мертвый вскакивает на ноги, а испуганные санитары разбегаются. Жертв оказывается немного, и даже Организации Объединенных Наций тяжело объединиться в этом вопросе. Что, впрочем, не сказывается на тираже Sheherezada News. Искренность Соседей не вызывает сомнения. Убивать других – их святое право, когда же убивают их – это ужасающая резня, о которой нужно поведать всему миру, демонстрируя в протянутых к телекамере руках вырванные взрывом куски человеческой плоти. В стерилизованных телехрониках Еврейского Государства можно увидеть лишь обгоревший остов взорванного автобуса и бродящих вокруг него людей в резиновых перчатках, собирающих, утверждают Соседи, деньги, выпавшие при взрыве из карманов людей. О вековых корнях впечатлительности и незаурядного воображения Соседей с похвалой отзывается еще в 19-м веке немецкий историк – профессор Егер. Соседи искренне верят Sheherezade News. Внутренняя логичность рассказа и пышность его восточного убранства в сочетании с пламенным призывом к высокой справедливости ценятся Соседами превыше всего. Утомительные детали и подробности расследований, чужие права и справедливость только испортят волшебство историй “Тысяча и одной ночи”. Ага, вот вы и попались, говорит внимательный европеец, а утверждали, что они не дети. А раз дети, значит, неподсудны. Но если дети и неподсудны, значит, кто-то должен их опекать, возражают те, в чьих дворах дети разводят костры и вешают кошек, не возьметесь ли вы? Нет, нет, мы не вправе, а вы тем более, с колониализмом покончено, – говорят европейцы. Да мы и не рвемся, честно отвечают владельцы сгоревших дворов и могильщики убитых кошек, но что же делать? Беседуйте с ними, объясняет европеец, читайте им сказки Андерсена, в них столько добра, столько света, сколько лет уже мы эти книжки читаем, а все плачем над ними.

А Старый Ястреб совсем не показывается на людях, и чем незаметнее он становится, тем большей симпатией к нему проникаются, и даже пресса его не задевает. А значит, снова правы древние китайцы: худший император – тот, над которым смеются; плохой – тот, кого боятся; лучший – тот, о котором знают только то, что он существует.

Большая Дора оказалась права. Армейская операция приносит зыбкое затишье.

Террор уже наведалься к Старшей Сестре, заглянул и в Европу. На сей раз Старшая Сестра самолично берется за дело.

А Еврейское Государство взялось строить Стену. Стена Берлинская была построена, чтобы не выпускать, Великая Китайская – чтобы оградиться. Дети Вудстока молотками разбивают все стены, потому что эти проклятые стены ограничивают свободу людей и препятствуют человеческому общению. Фрагмент разрушенной Берлинской стены стал музеем, Китайская стена хороша хотя бы тем, что перенос ее стоит больших денег. Любопытно, интересуется В., всегда ли рады Дети Вудстока виду разбитых ими стен?

На сей раз именно он выступает с предложением о новой статуе Свободы в Уганде. Он предлагает поставить памятник Детям Вудстока, разбивающим стены отстойника.

“РУССКАЯ ВОЛНА” И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

В супермаркете порою можно встретить А.-инькину мать. Ее способ постижения окружающего мира производит на Я. сильнейшее впечатление. Пока Баронесса, не теряя времени, “шарит”, по ее выражению, по полкам с продуктами, она одним ухом успевает услышать речи пожилой женщины. Успевает также скрыть улыбку, когда, достав с полки коробку корнфлекса, кладет ее в тележку, на которую опирается Я., молча и внимательно слушающий рассуждения матери А., явно обрадованной возможностью высказаться. А.-инька ее совсем не слушает, жалуется она. Ее рассуждения опираются на два главных потока информации – телеканалы Российской Империи и местные русскоязычные газеты. “Половина “русских” – охранники”, – гласит заголовок газеты, лежащей в тележке А.-инькиной матери. Половина охранников в стране – “русские”, узнает она из этой статьи, когда прочтет ее дома. Эта политическая геометрия Лобачевского, питающая мать А. и, возможно, способная свести с ума ее сына, помогает сформировать рациональную часть ее знаний о стране, в которой она живет. Иррациональная составляющая формируется ею самой таким образом, что характеры и образ мыслей российских парламентариев и политиков, чьи имена большею частью уже незнакомы Я., она чудесным образом обнаруживает в местных политиках, чье лепетание по телевизору на языке аборигенов для нее не больше чем шелест засохшей растительности на придорожных

холмах. Именно эти странные гибриды, с которых работой ее воображения сняты галстуки и надеты сандалии на босу ногу, вершат ближневосточные дела в странном мире А.-инькиной матери.

Я. в очередной раз задумывается над судьбами “русской волны”. Мать А. представляет старшее поколение. При необходимости она сумеет самостоятельно объясниться с местным отроком.

“Ани (я – ивр.) из-за вашей музыки всю лайла (ночь – ивр.)...” – Она запинается, и, то ли забыв от волнения, что знает, как произносится частица “не” на иврите, то ли желая подчеркнуть самую суть своего сообщения, совершает тройное отрицающее движение головой. Затем она склоняет седую голову на сложенные вместе ладони, что означает сон.

“Эванти”, – отвечает ей смуглый отрок. “Что он сказал?” – тормозит она пробегающего мальчишку из “русских”. “Он тебя понял”, – переводит росток “русской волны”, не понимающий уже обращения на “вы” к одиночной личности, и торопится улизнуть. Кто знает, прочел ли ему кто-нибудь русскую книжку про Айболита? Вряд ли, повзрослев, прочтет он Чехова на русском языке. И научить его этому едва ли удастся, как когда-то едва ли удалось бы самого Я. научить читать на идише, на который с легкостью могли соскользнуть в беседе его родители.

Скромный героизм выживания старшего поколения, убирающего и охраняющего супермаркеты, больничные кассы и другие заведения самостоятельного еврейского мира, выгуливающего его стариков и старушек на инвалидных колясках, порой глубоко трогает Я., соединяя в его душе теплую иронию с грустной благодарностью.

В драпированные кресла с подлокотниками и низкой спинкой, отличной от высоких кожаных кресельных спинок, характерных для кабинета начальника или офиса адвоката, приземлились “русские” инженеры, врачи. Смешно имитируя гнев “черных пантер”, порой стонет местная “русская” пресса о неиспользованном творческом потенциале “русской волны”. Сам Я., Баронесса и члены Кнессета Зеленого Дивана этот обиженный контингент нигде помимо “русских” газет, как правило, не встречают. Пикники на почве производственной и земляческой общности с неизменными шашлыками выявляют стопроцентную занятость этой категории вновь прибывших и являют всякому интересующемуся проблемами трудоустройства репатриантов то самое “скромное обаяние” нового еврейского среднего класса, в чьей осанке “сделавших себя” людей проглядывается осознание своей значимости.

Руки специалистов по таянью арктических льдов и пушкинovedов словно вывернуты за спину ситуацией, в которой они оказались. Укоренение трудно, часы и календари, на которые натывается взгляд, напоминают им, что время идет. Пущенные ими корни ищут просветы между камнями и неплодными глинами. И когда видит Я., что добиваются устойчивости и они (не мытьем так катаньем), он снимает перед ними шляпу, которой в любом случае нет применения в этой стране.

– Это на одной колбасе не делается, – замечает он Баронессе.

Ей ли не знать.

А коварный Ближний Восток озабочен, кажется, только одним – как бы ему трансцендентное мировоззрение А.-инькиной матери еще больше запутать и воплотить в действительный и окончательный бред. Ближний Восток смеется в лицо Я., не пропускающему ни одной телепрограммы, где генералы, профессора, интеллектуалы и патриоты высказывают свои мнения. Он старательно вслушивается даже в многоголосую композицию, где все упомянутые действующие лица, начиная от интеллектуалов и кончая патриотами, выкрикивают свои мнения и прогнозы в раскаленную телекамеру. Телеведущий, хоть и восседающий во главе стола, но отнюдь не контролирующийся вызванное им к жизни шумное действие, используя свои административные привилегии, врывается новыми вопросами как порывами ветра в уже бушующее во всю море. Море отвечает яростными накатами аргументированного крика.

Ну докричались. и что? Призрачный мир А.-инькиной матери и общий абсурд ближневосточного своеволия знай себе воплощаются, и все тут.

ЗАГАДКИ НОЧИ

Выглянув из окна на улицу в дневное время, не увидишь ничего особенного. Проедет мусороуборочная машина, забросят в нее содержимое зеленых баков, пройдет мальчик в игрушечном костюме кружка дзюдо. Если засидеться допоздна ночью – мало что изменится, ну наступит тьма и зажгут фонари. Другое дело, если проснуться среди ночи и, не зажигая света в спальне, бросить взгляд наружу через приоткрытые жалюзи – странным покажется, что освещенная фонарями пустынная улица существовала все то время, пока мы спали. Что-то настораживающе загадочное есть в этом ее оторванном от нас самостоятельном ночном

существовании. Так же странно было в детстве, когда нужно было куда-то ехать или лететь, и почему-то непременно нужно было вставать среди ночи, нас будили родители, мы продирали глаза, и уже и комната со стоящими в ней наготове упакованными чемоданами казалась чем-то чужой. Не враждебной, но и не вполне своей. И улица, куда выносили вскоре чемоданы, была другой, странно притихшей, если не было ветра, или притихшей на ветру, если он поднимался и шумящие листвою деревья эту тишину наполняли. И представлялось – что-то непонятное затаилось вокруг, с какой целью? В детстве все любопытно, а смерть пугающе черна.

От возраста, от жизненной фазы так много зависит! Нельзя точнее определить возраст человека, чем по тону, которым он рассказывает врачу о случившемся с ним расстройстве желудка. От славного мальчика десяти лет трудно чего-то добиться, доктору придется выуживать из него факты, прибегая к уловкам и обманам. Девушка лет семнадцати расскажет об этом быстро и со смущением, ведь так мало гармонии в этой паре: расстройство желудка и девушка! Зрелый мужчина, еще верящий в свое бессмертие, краток и ироничен. Женщина, недавно прошедшая новизну климакса, нелегкий уход из жизни родителей, – иронии себе не позволит в рассказе, и опытный врач поймет, что она издалека примеривает на себя это последнее испытание. В том возрасте, который молодежь называет переходным (“с этого света на тот”, – хохочут они, проявляя бесстрашие юности), тяжело скрыть от доктора глубокую увлеченность предметом рассказа, и пол рассказчика уже не имеет значения.

К чему это все – о ночи, о возрасте? Ах да, возраст меняет людей. Мы любили порывы молодежных поветрий, юных и свежих вождей. И как же случилось, что в новых вождях мы видим порой лишь молодых каннибалов с хорошим аппетитом, а в ведомой ими волне – угрозу? Мы опытни, умело имитируем возрастную неуклюжесть, когда прихлопываем и притопываем вместе с ними, чтобы они не выбросили нас на помойку. Мы ведь молоды душой, нам тоже хочется порою все крушить и ломать...

Но смотрите, смотрите, как высоко сегодня небо! Как прекрасно море! Как летают чайки над волнами!

НОВЫЕ ПОДРУЖКИ В. И СТАРЫЕ АНЕКДОТЫ В КНЕССЕТЕ

Во вторник позвонил наконец запропавший было В.

– Он просит разрешения на следующее заседание кнессета прийти с девушкой, – сообщила Баронесса. – Так он сказал: “Прийти с девушкой”.

– Как ее зовут? – спросила она тогда.

– Котеночек, – ответил В.

– Понятно, – ответила Баронесса. – Приходите.

А. утверждает, что в наступающей эре Ислама В. легче других притерпится к полигамии.

“К этому вас никто принуждать не станет”, – огрызнулся В.

Он уже приходил однажды с девушкой по имени Псюша. Это, конечно, не было ее настоящее имя. Так ее прозвали дети в детском саду, куда она устроилась работать на первых порах по прибытии в Еврейское Государство. Мужчины, вспомнила Баронесса, были обрадованы ее появлению, и против Котеночка они, конечно, тоже ничего не будут иметь против. В Псюше быстро обнаружилось тогда ее главное достоинство – она была замечательной мишенью для шуток. Найдя же, что по молодости она мало знакома с анекдотами советского времени, мужчины соревновались в их изложении, наслаждаясь ее восторженным смехом.

Я. рассказал Псюше свой любимый анекдот о женской логике, в котором жена ругает мужа: “Идиот, кретин! Если бы завтра состоялся всемирный конкурс кретинов, ты занял бы на нем второе место”. “Почему второе?” – обижается муж. “Потому, что ты – кре-тин”, – объясняет жена.

Возможно, желая выразить Псюше свое “снимаю шляпу” по поводу ее работы в детском саду или декларируя с присутствующим ему экстремизмом принцип поэтизации полезного труда или просто любя грубую форму этой в высшей степени справедливой, по его мнению, истории, Б. рассказал ей несколько рискованную с точки зрения хорошего тона притчу о Говночисте, который ехал со своей бочкой на телеге, погонял лошадь и ел яблоко. Навстречу ему по тротуару шла Барышня. Поравнявшись с телегой, она зажала нос рукой в перчатке. “Не ндравится? – спросил Говночист, откусывая большой кусок от яблока, – а ср-ть ндравится?”

Неприличное слово Б. произнес с понижением голоса и заговорщицкой интонацией (Псюша все-таки новенькая в их компании), но все равно вышла неловкость. Увидев, что Псюша не уверена, следует ли ей соглашаться с рассказыванием таких анекдотов в ее присутствии, и немного насупилась, он добавил французское слово «пардон». Глядя в глаза скорее В., чем Псюше, он пустился в путаное объяснение, почему содержание этого анекдота целиком и полностью оправдывает его форму. Б.

даже подумал, что лучше, может быть, было бы рассказать его на иврите. Но что за бред, возмутился он, – пересказывать Псюше русский анекдот на иврите! Позже Я., признавшись, что он тоже недолюбливает пуританизм русского публичного слова, пришел на помощь Б., отыскав и процитировав отрывок из Набокова:

“...я заметил с судорогой злобного отвращения, что бывший советник царя, основательно опорожнив мочевой пузырь, не спустил воду. Эта торжественная лужа захожей урины с разлезающим в ней вымокшим темно-желтым окурком показалась мне высшим оскорблением, и я дико огляделся, ища оружия. На самом деле, вероятно, ничто иное, как русская мешанская вежливость (с примесью пожалуй чего-то азиатского) подвигнуло доброго полковника (Максимовича! – его фамилия вдруг прикатила обратно ко мне), очень чопорного человека, как все русские, на то, чтобы отправить интимную нужду с приличной беззвучностью, не подчеркнув малую площадь чужой квартиры путем низвержения громогласного водопада поверх собственной приглушенной струйки.”

Во время чтения текста, Я., как часто бывало при такой “дегустации” Набокова, ощутил мгновенную потерю связи с миром и полное погружение в текст. Он будто покачивался в волнах восхищения и на время забыл о содержании, восторгаясь исключительно формой, но потом сказал: “Это, конечно, не о словесности прямо, но принцип, на мой взгляд, демонстрирует”. Он еще добавил, что не думает, будто сам Набоков был полностью свободен от этой культурной традиции, упорно не впуская в свои тексты ненормативную лексику и заметив однажды, что Джойс при всей своей гениальности имеет болезненную склонность к отвратительному.

Математик А. тоже рассказал анекдот, объяснив Псюше, что площадь Ленина – это место проведения первомайских митингов, а не ширина Ленина, умноженная на высоту Ленина.

Этот роман продлился недолго. Псюша быстро оценила ненадежность своего друга и без душевного надрыва сменила его на более перспективного партнера. В. тогда на некоторое время увлекся автомобилями.

И вот В. вдруг пропал. Для его поисков был применен совершенно новый метод. Я. объяснил всем правила пользования указателями и ссылками в языке Си.

– При пользовании указателями и ссылками функции передается не сам объект, а переменная, содержащая его адрес. Бывает еще замысловатее, когда функции передается указатель на указатель. Например, когда хотят утопить политика с помощью компромата, не подают заявление в полицию, а сливают информацию в прессу, а уж полиция, прочтя статью в газете, займется политиком.

– Значит, если по дороге в “Дом книги” много магазинов одежды, то предварительно затеянный разговор на литературную тему может способствовать обновлению гардероба? – спросила Баронесса.

– Пожалуй, – ответил Я.

– Очень разумный язык, – согласилась Баронесса.

Мы применим с вами функцию, которую назовем “ГдеВ?” с двумя параметрами. Применив универсальный принцип поиска (“ищите женщину”), сформулированный, конечно же, на Острове Пингвинов, где родилось немало прекрасных идей, напишем определение функции.

Выглядеть она будет следующим образом:

ГдеВ?(тип женщины, тип *местонахождения)

Звездочка * в языке Си как рази означает указатель. Итак:

ГдеВ?(американка, &работа);

Значок & означает, что передан конкретный адрес, а не переменная адреса вообще. Не надо пугаться, – сказал Я., заметив тень на лице Баронессы, – сложности на этом заканчиваются, нам остается лишь пожинать плоды. Функция проверила содержимое места работы.

ВывестиНаЭкранСодержимое(работы);
 Ответ на экране: “Нет его там”.

Поехали дальше.

ГдеВ?(американка, &квартира);
 ВывестиНаЭкранСодержимое(квартиры);
 Ответ на экране: “Нет его там”.

– А если в тюрьме поискать, – предложила Баронесса, и все удивились ее мрачным предположениям. Но только не А.

ГдеВ?(американка, &тюрьма);
 ВывестиНаЭкранСодержимое(тюрьмы);
 Ответ на экране: “Там он”.

- За сексуальные притязания. На феминистку нарвался, - предположил А.
- Олух, - сказал Я.
- А, может быть, это, насчет американки, “баг” в программе, вдруг его Соседка соблазнила по Интернету? - предположил Б., и все похолодели.

ГдеВ?(Соседка, &Абу-кабир);
 ВывестиНаЭкранСодержимое(Абу-кабира);
 Ответ на экране: “Нет его там”.

- Уф, пронесло, - вздохнули все с облегчением.
- Больница, - это снова Баронесса со своими дурными предчувствиями.

ГдеВ?(Соседка, &больница);
 ВывестиНаЭкранСодержимое(больницы);
 Ответ на экране: “Нет его там”.

- Это значит, что он не успел познакомился с ее братьями, - прокомментировал Б.
- А может быть, эта особа из наших? - сказала Баронесса.

ГдеВ?(из наших, &квартира);
 Ответ на экране: “Там он”.

Сомнения разрешил звонок В.

Котенок одета очень тщательно, с явным вызовом средиземноморской яркости и еврейско-levantийской безалаберности.

- Здра-австуйте, - говорит она, растягивая слово, и Баронесса, которая слов никогда не растягивает, осознает - в ее доме появилась “сложная девушка”, точнее женщина, лет на семь-восемь моложе ее.

Украдкой она проверяет лак на ногтях и думает о том, что напрасно не попросила Я. протереть запылившуюся люстру, которую люстрой назвать сложно, потому что она выбрана Я. не только из эстетических соображений, но еще и из-за ее серебристого оттенка и минимальной площади, на которой могла бы осесть пыль. В последний раз, когда Я. по ее просьбе протер светильник (так было бы правильнее его назвать) после серии увиливаний, он пустился в рассуждения о том, какая это интересная работа и как ее следует делать, если Баронессе захочется выполнить ее самой.

- Протирка светильника под потолком равноценна выходу на сцену, - разглагольствовал Я. - Одежда при этом не должна быть случайной. Разумеется, пыль с лампы не стирают в вечернем платье. Это - мелодрама. В коротком - дешевая провокация, вроде тех простеньких посвященных эмиграции спектаклей, которые привозили из России на первых порах после нашего приезда сюда. Помнишь, бросалась в зал пара революционных слов, вроде “жопа” и “блядь”, мелькала обнаженная грудь и хотя бы раз нужно было произнести тогда еще тоже очень революционное в России слово “еврей”?

А им очень хотелось в ту пору, вспомнила Баронесса, посмотреть пьесу Островского с полным актерским составом и настоящими декорациями, что и случилось однажды, но позже, когда ситуация созрела экономически.

- Протирка светильника в джинсах, - продолжил Я., - выглядит простовато, но может привести к мысли о том, что строки любимого тобой поэта:

*Казалось, ранняя зима
 Своим дыханьем намела
 Два этих маленьких холма.*

- могут быть отнесены к заднику, от которого не отвлекает шитье на карманах.
- Между прочим, - продолжил он, - в русском языке нет ни одного слова, которым можно назвать эту часть тела публично. Правила хорошего тона требуют делать это только обиняком, и лучше - через Бернса. Однажды, когда я еще учился в школе, даже не в старших классах, учительница литературы (она же была классным руководителем) разучила с нами туристическую песенку про “пятую точку”. Восторгу класса не было предела. У нас с любимой учительницей был теперь общий язык, на котором “это” можно было назвать. В переводе с

французского мне запомнилась шутка о квадратном женском заде из одного романа 19-го века. Дело там, в книге, происходило во время аварии на угольной шахте.

– Какого романа? – спросила Баронесса.

– Кажется, “Жерминаль” Золя. Я прочел его еще в школьные годы, но с тех пор ассоциация возникает во мне всякий раз, когда протирают потолочные светильники.

Я. входит во вкус

– Если надеть платье умеренной длины, – говорит он, – важно правильно выбрать колготки. Незначительные колебания в оттенке могут вызывать эмоции от приподнято-возвышенных до самых, что ни на есть, животных.

Баронессе не хочется быть невзрачной, но и вызывать животные инстинкты – тоже. Поэтому лучше заманить Я. в магазин для совета (для этого ей приходится прибегать к хитростям, самая изобретательная из которых – задержаться у витрины).

А эта “сложная девушка” наверняка сама знает, какие колготки какие вызывают эмоции, не без зависти думает Баронесса о Котеночке.

– Фанта, кола? – приветливо спрашивает она.

– Нет, спасибо. Просто воды, негазированной, – отвечает Котеночек.

“Пра-авильно”, – представляет себе Баронесса реакцию Я. на этот ответ.

И СНОВА ВЫБОРЫ В ЕВРЕЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

Чаще выборов налетают на Еврейское Государство только горячие ветры – хамсины. Они налетают из недружественных Еврейскому Государству краев. Из Европы налетают холодные ветры, и жители из-за них зябнут. Отправим их лишний раз к доктору. Доктор, а не развилась ли у них паранойя? В ветрах ли этих дело? А-а, и вы вчера были у доктора (только у другого), и по тому же поводу! Ну и как передается паранойя, холодными ветрами или теплыми?

Избиратели в Еврейском Государстве отличаются друг от друга не столько взглядами, сколько темпераментами. Ведь тот, кто даже не очень давно живет в Еврейском Государстве, знает, что кто бы ни был у власти – Стронники Мира или Горячие Патриоты, трудно предсказать, будет результат их правления одним и тем же или совершенно другим. Не просчитать. Вот восстали Маккавеи против греков, и было у евреев 150 лет свое государство, восстали против римлян, и погубили страну.

“Так что же, вообще не голосовать?” – спросит впечатлительный читатель.

“Упаси Господи!” – ответил бы им Кнессет Зеленого Дивана.

В Еврейском Государстве выбор, как правило, между героической балладой Горячих Патриотов и убаюкивающей элегией Стронников Мира. Выбор между балладой и элегией труден. Оттого так часто случаются в Еврейском Государстве политические ничьи. Язык Си нас всегда выручает в трудных ситуациях. Так в Российской Империи дворян выручало знание французского языка, когда нужно было что-то скрыть от крестьян. А нам язык Си помогает в формальном описании ситуации. Итак:

```
если(лагерь_вечного_мира == лагерю_горячих_патриотов)
{
    ключ (раскладка_остальных_голосов)
    {
        случай все_на_пикнике:
            победили клерикалы;
            сливаем воду;

        случай много_шутников_пришло:
            победили пенсионеры;
            сливаем воду;

        случай молодежь_заявилась:
            победила марихуана;
            сливаем воду;

        прочее:
            сливаем воду;
    }
}
```

Один из политических анекдотов Еврейского Государства гласит, что когда в воздухе выборов пахнет ничьей, то Лагерь Вечного Мира разбегается добирать голоса в сумасшедших домах, а Лагерь Горячих Патриотов устремляется в тюрьмы. Отчего такая раскладка? – спрашиваете вы. Это проще языка Си. Положим, вы еще с фестиваля в Вудстоке полюбили дело мира так, что наркотики довели вас до психиатрической клиники, с чего бы вам в таком случае менять устоявшееся мировоззрение? Вы проголосуете за Лагерь Вечного Мира. А если вас полиция сцапала на торговле наркотиками? (еврейская полиция не сцапает, говорите вы, она любит гоняться за политиками, а с таким дерьмом, как наркоторговцы, они не связываются). Ну, все-таки попали вы в аварию, сбита вас полицейская машина, а у вас в карманах – словно универмаг психотропных препаратов... Вот вы и в тюрьме, там сама обстановка сделает вас патриотом. Ведь в тюрьмах, как известно, сидят люди с гораздо более твердыми и позитивными убеждениями, чем в сумасшедших домах. Алкоголь ничуть не лучше. Если сильно набраться, то спяну ничего не стоит проголосовать за дело мира, а если в пьяном виде вы кого-нибудь сбили и сидите в тюрьме, то наверняка убеждены, что этой стране остро не хватает свободного от Соседей пространства.

Выборы не обошли и сафари. Правда, чья-то злонамеренная воля исключила из выборов обезьян, они заперлись в своем вольере и смотрят свой любимый сериал “Люди без прикрас”. Вам не знаком этот сериал? Полноте, вы просто сэкономили деньги на канале с милым зайчиком.

Отвлекли от выборов и злющего жирафа, утверждающего, что он выше всех, и потому от Бога положено ему управлять людьми. Но хитрые люди (они так часто бывают умнее жирафов) повесили ему перед вольером большой плоский экран на целых два метра выше его головы, как бы он ни тянул шею. А с экрана показывают ему фильмы, которые только для людей хроникальные, а для жирафа – полное открытие. На них великий дуче своей богатой мимикой внушает жирафу, что он, жираф, – полное дерьмо. А уж когда украшенный кожаным ремешком и прической как у жирафа, вскинутой рукой приветствует его с экрана художник из Линца, и рука его на три метра взлетает над головой жирафа, тогда понимает он свое бессилие перед людьми. Этой высоты ему никогда не достичь, и он понуро опускает шею до самой земли, и по ней теперь маленькие обезьянки, как по спортивному бревну, могут забраться на пятнистую трибуну и сами изобразить великих вождей.

Атмосфера выборов царит даже в младших классах школы. Репортер на радио берет интервью у девочки. Она выиграла выборы в классе и стала старостой. Мы должны изучить ее опыт.

– Ты, наверное, была очень убедительной, – говорит репортер, – и, возможно, что-то обещала детям, раз они тебя выбрали?

– Да, я пообещала поставить автомат с газированной водой в каждом классе.

– Умно. Но ведь и другие дети что-нибудь обещали?

– Да.

– Значит, чем-то ты была лучше других?

Пауза.

– Я принесла в класс конфеты и раздала детям.

– Это же коррупция чистой воды! – Слышно, как микрофон едва не падает из рук репортера, видимо, он пытается схватиться за голову обеими руками. – Ты это сама придумала?

– Мне мама посоветовала.

Ох эти маленькие девочки! Они так честны!

Демократия, утверждаем мы – это здорово! А в Еврейском Государстве это не только право, это наслаждение – выбирать и быть избранным.

О ВОЙНЕ. БАНАЛЬНОСТИ. ПРОСТОТА СПАСЕТ МИР

Война в Еврейском Государстве – вещь интимная и привычная, как голоса прохожих с улицы. Кто не может жить с этим или не успел привыкнуть – давно уехал. Как объявляют о войнах в документальных исторических фильмах? “Работают все радиостанции...”, “мне нечего вам обещать, кроме пота и крови...”

В Еврейском Государстве поверх этого традиционного горного фона – на работе, в семье, между друзьями – об этом говорят, если вообще говорят, – мало. “Ваш ушел”? “Когда звонил в последний раз”? “Сказал откуда”? Войну нужно прожить с минимальными неудобствами, по возможности выиграть (войны никогда не выигрываются), перемолоть последствия, жить дальше (забилась канализация – прочистить, помыть руки, забыть).

Войны начинаются обычно всеобщим сочувствием (математическое слово “всегда” не может применяться в реальном физическом мире), даже добрые европейцы поначалу забываются и сочувствуют.

Когда Я. возносится, возвышается до беспристрастных суждений в мелких житейских противоречиях, Баронесса спрашивает его: “Ты за кого?”

“За тебя”, – малодушничает Я.

“То-то же”, – констатирует она.

Но с европейцами, конечно, все по-другому, – очень быстро их симпатии уже на стороне беззащитных индейцев, снявших всего-то пару скальпов. “Пропорциональность”. Это волшебное слово достает Европейская Совесть из глубин своей души, отрекшейся от насилия. Тут проявляется во всю силу величие ее духа. Это правильно, хотя и банально – встать на сторону жертвы. Но готика и ампири Европейской Души – в том, чтобы встать на защиту тех, кто минуту назад в массовом восторге кричал гладиаторам “Смерть Герцлии-Флави!”; “Добейте ее!”, а вот теперь, когда их гонят с трибун, долг Европейской Совести – встать на их защиту: “Осторожно, остановитесь, они же люди, они же дети. Ими управляют одни эмоции! Будьте благоразумны!”

– Нам так не хочется, чтобы нас поджаривали на сковородке на медленном огне, пытаются играть Кнессет Зеленого Дивана на чувствительных струнах Гуманной Европейской Души. Может, вам известны милосердные способы обуздания зла? – спрашивает он с притворным смирением. Может, вы научите нас, как справиться с ним?

За гуманных европейцев отвечает их духовный отец, лично Император Острова Пингвинов (мало ли чего они могут наболтать сгоряча!): “Мы в ваших краях чужаки, делать нам там нечего”. Очень разумный ответ.

“Так что же, – спрашивает удивленный участник Интернет-форума из Российской Империи, – по этой логике во Второй мировой войне мы должны были остановиться на границе Германии, а то и вовсе на своей?”

О святая простота, воздевает руки к небесам Кнессет Зеленого Дивана, не зря храним мы в душе очаг любви к своей Былой Родине. Простота спасет мир!

Кнессет Зеленого Дивана тоже рад прикинуться простачком. Если бы Вторую мировую войну освещали по сегодняшним правилам, говорит он, то мы в основном видели бы страдания немцев в разрушенном Дрездене. Если бы эта война велась по правилам, соблюдения которых требует Европейская Совесть, эта война, скорее всего, продолжалась бы по сей день.

В общем, нужно закругляться. Этого требует человеколюбие европейцев, этого требует их коллективная совесть, к которой не может не прислушаться Кнессет Зеленого Дивана.

На фоне европейского хора становится вдруг слышно соло Аримана, любимца Соседей. “Да, сейчас пора закругляться, а при случае мы их прихлопнем на хер”, – поет он.

Европейцы морщатся, некоторые даже готовы грохнуть скрипкой об пол, но сдерживаются. Ведь Ариман, в сущности, тоже ребенок.

Так что закругляться придется. До следующего скальпа.

РЕЧЬ ЛОРДА ЧЕМБЕРЛЕНА В РЕСТОРАНЕ СТАНЦИИ ПЕТУШКИ

А знаете ли вы, что именно сказал лорд Чемберлен, премьер Британской империи, поднявшись с полу после своего известного падения в ресторане станции Петушки, где он поскользнулся на чьей-то блевотине, по свидетельству такого авторитетного источника как поэма господина Е.? Не знаете? Неудивительно. Речи этой просто никто не услышал. Помощники премьера были заняты тем, что отирали с его костюма бефстроганов и вымя. Официантки ресторана слушать его могли, но не хотели, посетители же жаждали послушать, но были не в состоянии. А зря. Ведь это была не просто речь, это была речь-провидение.

– Наступят времена, – говорил лорд, известным всему миру жестом поднимая над головой счет, оплаченный им в ресторане Курского вокзала, – и жидяры, которым, как известно, кроме себя и своей Хайки, ни хрена на свете не жалко, наденут каски, бронезилеты и пойдут крушить все вокруг, невзирая ни на белые лица, ни на черные жопы. Для того и оплатил я этот долбаный счет на Курском вокзале (обратите внимание – ведь не сказал же “еханный счет”, как любой из нас сказал бы)... оплатил я счет за вымя и херес, которые и попробовать не успел в Петушках, поскользнувшись нечаянно (конечно, нечаянно, – кто же в Петушках станет блевать специально?) вовсе не на выходе из ресторана, как обо мне несправедливо написано, а еще на входе в него, оплатил, чтобы не вызвать международный скандал, проявив государственную мудрость и сдержанность, а вот лорд Черчилль, мудила (не удержался все-таки – съязвил), этот ни от чего не удерживался, никакой мудрости не проявлял, и пришлось моему народу утюжить Гамбург и Дрезден.

– Разве утюжить Гамбург и Дрезден благороднее и чище, чем скользить на блевотине и платить по счету за невыпитый херес, спрашиваю я вас? – применил

Чемберлен ораторский прием, который в школьном учебнике по литературе именуется риторическим вопросом. (На следующий день счета Чемберлену пришли со всех станций ветки Москва – Петушки, не исключая Есино, в котором, как известно, ни один поезд никогда не останавливался).

– Вот и жидяры (excuse me – евреи) повадятся в свою звезду вставлять портретик Черчилльмана, как октябрята вставляют в свою красную звездочку портретик маленького ильича, когда у него еще не только сифилиса, но даже мысли о мировой революции не было, когда он еще понятия не имел, как отличить Троцкого от Бронштейна. Они всем в нос тычут, будто рав Черчиллис предрек мне: “У тебя был выбор – выпить хересу или заплатить по счету, ты остался трезвым и испачкаешь костюм”.

– Благоразумие и сдержанность при любых обстоятельствах – вот девиз цивилизованного человека! – вскричал Чемберлен и, опьяненный испарениями вымени, снова упал со словами: “Черчилль, ты не прав”.

Вот что может случиться даже с лордом Чемберленом, если его достать, как достали этого великого человека на станции Петушки.

ДВА ПОРТРЕТА ИЗ ГАЛЕРЕИ ПРЕКРАСНОДУШИЯ

– Для утилитарных побуждений идеальным маскировочным покрытием является демонстрация нравственной чистоты, – отвечает Я. Баронессе на ее вопрос, о чем он задумался, пропустив начало новостей. – За прекраснодушием, например, интуитивно угадывается брезгливость.

О причинах широкой распространенности прекраснодушия в интеллектуальной среде Б. однажды утверждал также, что оно является порождением либерального конформизма. Страх остракизма в своей среде довлеет над либеральными интеллектуалами. Смена отживших ориентиров прекраснодушия происходит медленно, незаметно. От них избавляются с оглядкой друг на друга, тихо и стыдливо. Все вместе делаем вид, будто ничего не помним, например, о величии красных знамен. Да? Это когда-то было? Оставим эту тему. Вот права индейцев – это по-настоящему свято! Выше голову! Бросьте слова обвинения в лицо мракобесам, не любящим стрелы и цветные перья в волосах! Но вот – пройдет время, вырастет новое поколение самих индейцев и обрушится с гневом на своих отвратительных предков, выщипывавших перья ни в чем не повинных птиц. Привычка к собственной святости рождает вокруг либеральных интеллектуалов некий словно прозрачный купол, отгораживающий их от не посвященных в таинство прекраснодушия. Отсюда и парадокс, утверждал Б., создающий ощущение надменности и недоступности людей, проповедующих всеобщую любовь и братство, в то время как консерваторы, сепаратисты и прочие реакционеры выглядят земными и симпатично глуповатыми. “Благие намерения – блаженное прибежище ущербных душ”, – как обычно, пересаливает Б. свои обобщения.

Я. вспоминает о посещении им семинара, посвященного вечным ближневосточным темам, на который приехал один из главных архитекторов Дела Мира. Он молод, и были времена, когда Я. считал его лучшим будущим претендентом на премьерское кресло в Герцлии-Флави. Он умен, рационален, практичен. Он хочет не чуда, а сделать мир разумным. Живой символ неудачи, упрямо стоящий на своем. “Это незаурядное достижение властей предержавших, говорит он, – убедить людей, что есть нечто более важное, чем их жизнь”. Я. слушает его со вниманием. Ему бросается в глаза то, как он войдя в небольшое простенькое помещение, в котором проводится семинар, сразу отходит в дальний угол и стоит там, в сопровождении своей помощницы. Помощница улыбается присутствующим и идет по направлению к людям, а он остается в углу, одинокий и серьезный на расстоянии не менее двадцати метров от прилично-тихо шумящей толпы.

Не может быть, думает Я., чтобы этот человек не крыл последними словами Соседей, превративших его дело в труху, а его самого в посмешище. Если его об этом спросить, он скажет, что не думает о Соседах, а думает о нас и будет выглядеть закрытым плотнее, чем герметичный отсек подводной лодки. Он фильтрует для присутствующих свои чувства, он фильтрует и идеи. На семинаре – в основном выходцы из Российской Империи. Он забывает, оправдывает его Я., как знакомы нам пыльные фильтры идей.

А вот второй портрет в галере представляет Прекрасную в Праведном Гневе. Она – сама эмоциональность. Она вызывает у Я. симпатию своей очевидной искренностью. Ее темперамент ни за что не позволит ей что-нибудь скрыть. Ведь это так очевидно, что даже если напялить на нее талибанский балахон, ей не спрятать камня за пазухой. Если задать ей самый простой вопрос, например “который час?”, или (прикинувшись плебсом) “Сколько времени?”, она ответит: “Это ужасный час, несколько времени у нас не осталось”, – энергичным жестом обеих рук подтвердит она свои слова, и камень тут же выпадет из-за пазухи и

ударит ее по ногам. Однажды, когда у телеведущего закончились вопросы, которые он задает всем политикам каждую неделю, она начала было по своей инициативе рассказывать о том, как сказала Соседям: “А вы попробуйте без насилия и убийств...”. Я. так хотелось узнать, что ей ответили Соседи, но тут телеведущий объявил, что время закончилось, и Прекрасная в Гневе смиренно замолчала, ведь для эмоциональных людей так естественно соблюдать дисциплину.

Прекрасная в Гневе ненавидит всякую фальшь и несправедливость, она вдвойне ненавидит и фальшь, и несправедливость, когда они обращены к Соседям. Мы отняли у них свободу, мы не даем им свободно дышать, – говорит она страстно. Но больше всех не переносит она Голду Меир.

– За что? – спрашивают ее.

– В ней было столько высокомерной еврейской праведности, – отвечает Прекрасная в Гневе.

Я. просто взрывается от хохота при этой фразе, но проникается к ней еще большей симпатией.

Отчего, отсмеявшись, он загрустил? Да оттого, признается он себе, что место его вроде бы с ними, но там ему плохо.

ФОБИИ Я.

Он и еще распался бы в себе неприязнь к “либералам”, у которых глаза лучатся идеалами, обращенными к людям, но внутренний взор направлен в небо, чтобы не видеть человеческого дерьма. Но в нем жило опасение, как бы ему не прослыть крутым “русским” сионистом с его суровой и мрачноватой убогостью, отдаленно напоминающей состарившихся коммунистов Российской Империи в болоньевых плащах с такими же допотопными лозунгами. Однако над этими двумя фобиями возвышался, чувствовал Я., холмик еще одной фобии – фобии к окультуренному, образованному, умному нигилизму, который, по его мнению, – разновидность холопства (тут он благодарен Б. за его резкость, которую ему теперь приходится только повторять, а не изобретать заново). Почему?

Где-то на второй год после приезда в страну американская фирма, в которой Я. работал тогда, устроила курсы английского языка. Преподавал репатриант из США. Я. однажды с гордостью сказал ему, что евреи во всем мире – либералы. “Во всем мире – да, а здесь нет, – ответил “американец”, – здесь есть и то, и другое”.

Теперь Я. кажется, что строки, которые он в своей либеральной юности, вполне возможно, прокомментировал бы словами: “Ладно... о-кей...” – теперь словно в зооп-е приблизились к нему:

*Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

.....

*Животворящая святыня!
Земля была без них мертва,
Без них наш тесный мир – пустыня,
Душа – алтарь без божества...*

“Какой все-таки экстремизм!” – думает Я.

– Разве я мизантроп? – спрашивает он Баронессу. Она задумалась, но не ответила.

N++; О СЕГРЕГАЦИИ И КОЛОНИАЛИЗМЕ НА ДОМУ

– Сегрегация бывает двух видов, – начал Б., – хорошая и плохая, то есть хорошая, когда мы отвергаем кого-то, и плохая, когда кто-то отвергает нас. Каждый из этих двух видов содержит подвиды:

- сегрегация социально-имущественная;
- интеллектуальная;
- этническо-расовая;
- сексуально-половая;
- возрастная;
- родственно-семейная;
- и, наконец, сегрегация индивидуально-личная.

По части классификаций Б. не уступает педантичному А., считает Кнессет.

– Как, по-вашему, – спрашивает Б., – громадный разрыв в цене, которую платят везде на Западе за примерно одинаковое жилье в “хороших” и “плохих” районах, разве не средство узаконенной сегрегации?

– Именно, – соглашается Кнессет.

– Подход этот очень разумен и в духе времени, – отмечает Я., – он позволяет одновременно с гневом отвергать сегрегацию в Южной Африке и в то же время успешно практиковать ее, например, в Париже.

– Сразу по приезде в страну я снял дешевую квартиру в таком вот не слишком хорошем районе, – подтвердил А. – Ее окна выходили на соседний дом, и я нередко мог наблюдать многодетную семью в квартире напротив. Там был, видимо, только один туалет, и по утрам мальчики порою справляли малую нужду прямо из окна своей спальни. А в нашем доме двумя этажами выше жила женщина. Ее старшая дочь достигла брачного возраста, и по вечерам дом брался в осаду молодыми людьми. Как коты, они рассаживались на крышах припаркованных машин.

– Границы социальной сегрегации часто совпадают с границами сегрегации этнической, – продолжил Б. – и здесь возникает явление, которое я назвал бы колониализмом на дому. Негативные явления следует изучать там, где ими особенно возмущаются. Известно, кто первый кричит: “Держите вора!” Так вот, изучать домашний колониализм, конечно же, лучше всего на Острове Пингвинов, известном своей изысканной ксенофобией, которую в такой блестящей стране не выражают проламыванием башки “чурке”, а поговаривают – пальцем, опущенным официантом в бокал с вином. Убив однажды в карательных акциях четверть миллиона жителей в колонии, с которой ему особенно не хотелось расставаться, и все же уйдя из нее, Остров Пингвинов и завел у себя колониализм домашний, окутав его словесным туманом защиты колонизированных, из которого изливаются порой потоки гнева на “расистское” Еврейское Государство. Я сделал подсчет – Герцлии-Флавию при ее нынешней технике ведения войны потребовался бы 231 военный конфликт с Соседями, чтобы число погибших в них Соседей сравнялось бы с тем количеством жертв, какое оставила только одна колониальная война Острова Пингвинов.

– У тебя “пунктик” по отношению к Острову Пингвинов, – возразил Я. – Мы тоже там бывали, и никто нам пальцев в вино не опускал, правда, вино мы покупали в супермаркете и открывали и разливали его сами. Но эту историю об официанте и его пальце в вине я уже слышал несколько раз в разных интерпретациях, и она напоминает мне истории об отравлении колодцев евреями и употреблении ими крови христианских младенцев. Мне трудно поверить в то, что житель Острова Пингвинов способен сунуть палец в вино не потому, что он не уважает иностранца, а потому, что он уважает свое вино. Точно так же правоверный еврей ни за какие блага не подмешает в мацу такой некошерный продукт, как кровь христианского младенца.

– Ты веришь в то, что жители Острова Пингвинов суют пальцы в вино иностранцев? – спросила Котеночек, обращаясь к В.

– Не знаю, – ответил В.

– В этой легенде жители Острова Пингвинов обвиняются в дурном вкусе, это хуже обвинения еврея в нарушении кошерности, это с их точки зрения *casus belle*, – заявила Баронесса.

– А ля гер ком а ля гер, – отозвался Б., заражаясь любимым им галльским воинственным шармом. – Если этого мало, – разжигает Б. огонь конфликта, – то я еще напомню, что благородные Пингвины однажды расстреляли женщину, я имею в виду Мату Хари, – Б. складывает губы бантиком, обозначая крайнюю степень эстетического неприятия. Видимо, и этого кажется ему мало, и он производит губами выражающий презрение звук, напоминающий тот, с которым автобус открывает на остановке пневматическую дверь.

– Тебе определенно не терпится с этой а ля гер, – заметила Баронесса.

– Должен отметить, – официально заявил Я., – что в Париже все были с нами безупречно вежливы и очень старались нам помочь, о чем бы мы их ни спрашивали, будь то Элизейские поля или Элизейский Дворец. А особенно потрясла меня продавщица в магазине сладостей. Голос ее был слаще крема и воздушнее эклера, а еще запомнился один мужчина. Он переходил, наверное, пешком из департамента в департамент или после визита к графине шел повидать виконтессу. Одет он был необыкновенно изысканно, руки его при ходьбе почти не двигались, а туловище было наклонено назад, и я пожалел, что нет у меня при себе астролябии, чтобы угол этот измерить и занести с благоговением в путевые заметки. А политкорректный домашний колониализм, как ты говоришь, – обратился он к Б., – это естественная альтернатива твоей голой сегрегации.

– Не изображайте меня таким чудовищем, – обижается Б., – я тоже ничего лично не имею против жителей страны победившего коллаборационизма, более того, я даже бросаю им спасательный круг – валите все на ваших евреев. Пока не поздно. Это они смущают вас, углубляют ваши домашние колониальные владения, эти кратеры, из которых рано или поздно хлынет лава.

– То есть, – смеется Я., – ты предлагаешь им старый, испытанный метод: “Бей жидов, спасай Остров Пингвинов”.

Кнессет с интересом ожидает от Б. ответа, но ответа не следует, и выглядит Б. смущенным.

– Господи, неисповедимы пути твои, – вздыхает Кнессет, сидя на зеленом диване.

– Сегрегация семейная – единственный вид сегрегации, освященный традицией и законом, – перешел Б. к следующему пункту. – Хотя, случалось, копали и под это. О первых катастрофических разрушениях, произведенных сексуальной революцией, нам возвестил Олдингтон в “Смерти героя”. Ильич же все эти г'еволюционные глупости Александре Коллонтай пг'опагандг'вать категог'ически запг'етил. Мое право сидеть на зеленом диване в любое время, когда мне вздумается, или спать на кровати с картиной над изголовьем вряд ли будет поддержано, – предположил Б.

– Вряд ли, – согласился Я.

– А почему, если вздуматься? – воодушевляется Б. – Чем я хуже некоторых?

– Не хуже, не хуже, – успокаивает его Баронесса. – Но ты ведь не против семейной сегрегации?

– Не против, – сникает Б.

Я. упоминание о его зеленом диване и картине над изголовьем двуспальной кровати, которую он делит с известной титулованной особой, несомненно, наполняет неким очень приятным чувством.

– А ведь правда, – говорит он, доводя концентрацию скромности в голосе до уровня, на котором эта скромность становится хорошо заметной, – мы гостей принимаем в салоне, и они не обижаются на то, что мы не приглашаем их спать в своей постели. Жаботинский ввел понятие “асемитизма” (то есть пассивного неприятия в отличие от активного антисемитизма). Оз в качестве примера приводит Льва Толстого, евреев защищавшего, но к себе их не приближавшего. С позиции, которую я занимаю на своем зеленом диване, это вовсе не представляется мне обидным. И Гоголя я обожаю, и на всех его жалких жидочков взираю без всякого личного чувства. И достигается это не многовековой борьбой за равенство, а кратковременным актом самосегрегации.

– О сегрегации по половому признаку можно говорить бесконечно, – объявляет Я., – но самым вопиющим примером этого подвида сегрегации являются общественные туалеты. Сегрегация в них мало того, что носит тотальный характер, но еще и усугубляется явной дискриминацией. В Пассаже, что напротив Гостиного Двора в городе Петроильичевске, я встал однажды по ошибке вместо очереди за зелеными туфлями для жены в хвост длинной очереди в женский туалет. В Еврейском Государстве с его развитым правовым сознанием такое нарушение законов половой сегрегации мне сразу поставили бы на вид. Женщины Российской Империи, терпимейшие существа на свете, не сказали ни слова и только улыбнулись, когда я, отстояв почти всю очередь, разглядел наконец рисунок на двери и поспешно удалился. Этот Кнессет, – продолжил Я., – будет напрасно протирать зеленый диван, если не снимет накопившееся в обществе напряжение либо отменой сегрегации в общественных туалетах, либо изобретением писсуара для женщин.

Идея женского писсуара так захватила технократов Кнессета Инженерного Подбора, что очевидная простота альтернативы (единого и неделимого туалета без стен и препон) осталась вовсе не замеченной, хотя содержала все три элемента великой триады – либерте, эгалите, фратерните. Идеям не было конца, особенно активен был А. Однако и Баронесса, и примкнувшая к Кнессету Зеленого Дивана Котеночек, будто сговорившись, отвергали все проекты. Кнессет, не найдя собственного технического решения, объявил всемирный конкурс, в награду пообещав установить в Уганде памятник изобретателю.

– В Уганде скоро места свободного не останется из-за наших памятников, – отметила Баронесса.

– Я обнаружил в себе тягу к борьбе за права человека, – говорит Я. – Вот например, установлено, что люди склонны держать расстояние в один метр между собой и другим индивидуумом. Что это, как не проявление сегрегации? Странно, что до сих пор никому не пришло в голову начать бороться за свое право стоять в тридцати сантиметрах от собеседника (или собеседницы).

Б. не только всем своим видом выражает согласие, но даже предлагает еще больше сократить расстояние и немедленно включиться в борьбу.

– Что бы вы ни говорили, но сегрегация вызывает негативное к себе отношение, – сказала Баронесса. – Есть много других вполне нейтральных терминов, означающих то же самое. И не только политкорректных, но даже ласкающих слух. Например, право на частную жизнь, право наций на самоопределение, развод по

обоюдному согласию и, конечно же, выдвинутая нашим Кнессетом теория о праве нации сделать себя красивой.

ПРОТОКОЛЫ ОСТРОВНЫХ МУДРЕЦОВ

– Остров Пингвинов никогда и никому не уступал в остроте ума, – заявил Б., – в этом я убедился еще в детстве, когда прочел взхлеб сначала всего Жюль Верна, потом всего Бальзака, а за ним и всего Мопассана.

– Послушай, – обратился Б. к Я. с неожиданным воодушевлением, – а ведь где есть мудрецы, там должны быть и протоколы.

Пораженные этой идеей, Я. и Б. бросились к компьютеру. Они возбужденно спорили и по очереди щелкали клавишами клавиатуры. Баронесса отправилась спать одна, а они все еще продолжали спорить и искать. Наутро, когда, не обнаружив около себя Я., Баронесса спустилась вниз, она застала все ту же пару взлохмаченной, но счастливой.

– Нашли, – объявил Я.

– Взломали, – подтвердил Б.

– Что нашли и что взломали? – спросила Баронесса.

– Протоколы, – закричали они в один голос. На шум спустился и заночевавший в доме В.

– Уже от названия пахнет фальшивкой, – сказала Баронесса. Я. и Б. переглянулись.

– Как и в случае с другими “Протоколами”, это совершенно неважно, – ответил ей Б., – главное, чтобы содержание вызывало энтузиазм.

– И что же в этих протоколах? – спросила Баронесса.

– Да вот распечатка, – показал Б. на пару листов, лежавших на стеклянном столике перед зеленым диваном. Не дожидаясь, чтобы его попросили об этом, он взял со стола листки и принялся читать:

– Протокол 1. История.

Удивительно, как все эти негаллоги не раскопали до сих пор того, что просто лежит на поверхности, а именно, что Жанна Дарк – англичанка.

Ведь уже ее фамилия говорит почти все о ее происхождении. Да и какая уважающая себя галльская девушка стала бы размахивать саблей, шашкой, ятаганом, петициями, чем там еще размахивают эти взбалмошные англосаксонские феминистки? Капитан де Бодрикур, истинный галл, сначала посмеялся над ее видениями и любезно послал ее подальше. Когда же она явилась к нему во второй раз с теми же бреднями о галльской свободе, он опять же, как истинный галл, рассудил, что нежеже развлекаться одному, и, сочтя курьез достаточно забавным, отправил Жанну ко двору, чтобы повеселить своего монарха. Дофин Карл решил с ее помощью слегка побесить англичан, но сначала направил ее к мамочкам-гинекологиням, чтобы те удостоверились, что она действительно синий чулок – английская фанатичка-суфражистка и девственница. Получив соответствующее подтверждение, Карл отправил ее еще и в Пуатье, где располагался отдел святой контрразведки. Оттуда пришел ответ, что она действительно не английская шпионка, а просто чокнутая, как все англичанки и девственницы. Тогда-то и решил Карл воспользоваться ее видениями. Но он не рассчитал, какой ужас может нагнать на англичан появление перед ними якобы галльской девственницы, что и привело к неожиданному и ненужному поражению Генриха Английского и галльской национальной катастрофе – освобождению Острова Пингвинов от власти англичан. Раскаявшись в содеянном, отчаявшийся от свалившейся на него ответственности за дальнейшее управление Островом, Карл отдал Жанну Темную в откуп бургундцам, и уже они на самом пике биржевой стоимости продали ее англичанам. Англичане же сожгли ее, искренне полагая, что если видения девственницы имеют неромантический характер, то речь может идти только о галльской ведьме.

– Как интересно, – сказала Баронесса. – Но почему же независимость Острова Пингвинов – галльская национальная катастрофа?

– А-а, – сказал Б. – Читаем дальше:

– Протокол 2. Искусство.

Самый известный галльский живописный шедевр, принадлежащий перу Eugène Delacroix (Эжен Делакруа), известен в мире под абсурдным названием “Свобода, ведущая народ”. Нужно быть квадратноголовым англосаксом, чтобы не разглядеть на этой картине, истинное название которой “Заклание Острова”, совершенно очевидного. Появление в армии женщины в таком виде (с обнаженной грудью) ведет к немедленному разложению воинской дисциплины. Подтверждение этому не следует искать, вооружившись лупой и прибегая к иносказательным интерпретациям, оно

лежит на переднем плане картины в виде перепившегося санкюлота со спущенными штанами и в одном носке. Если и этого мало, то какое еще желание может вызвать у противника полуобнаженная женщина, как не ринуться сразу в яростную атаку, чтобы этой женщиной завладеть, особенно если ее зовут Свобода, и мы знаем, как падки до нее англосаксы.

– Протокол 3. Военная доктрина.

“История О.” Доминик Ори – аллегорическое изложение военно-стратегической доктрины Острова Пингвинов.

– Все? – удивился В.

– Все! – восхищенно воскликнул галломан Б. – Истинно галльский шифр, и как компактно!

– Что это еще за “История О.”? – спросила Баронесса.

– Я не читал, – сказал Б. и слегка покраснел. – Слышал, что это садомазохистский роман, где прекрасную островитянку (символ страны Острова Пингвинов) ее любовник (символ народа Острова Пингвинов) передает грубому англосаксу, начитавшемуся маркиза де Сада. С помощью только своих убогих умишка и воображения он к такой изысканности в любви, разумеется, никогда не пришел бы.

Баронесса не стала расспрашивать о подробностях. В любом случае военно-стратегические доктрины она передоверяет мужчинам.

– А дальше что? – спрашивает она.

– Есть еще один протокол, посвященный проблемам здравоохранения, – ответил Я.

– Ну, это мне нужно знать, читайте, – говорит Баронесса.

– Протокол 4. Здравоохранение.

В Герцлии-Флавии трудно найти красное вино Острова Пингвинов. Есть местные, есть итальянские, чилийские, наших нет. Догадались! Мало им было секретов Большой Бомбы, и это разнюхали.

– Подождите, откуда они знают про Герцлию-Флавию? – спросил в изумлении В.

– Действительно, откуда? – удивленно переглянулись Я. с Б., причем Баронессе показалось, что Б. что-то прошипел в адрес Я.

– Все негаллоги, – продолжил читать Б., – убеждены нами, что красное вино лечит сердечные болезни. Ни один галл этой чепухе никогда не поверит. Всем известно, что сердечные болезни лечат в борделях. А красным вином лечат побочные явления сердечных болезней, то есть – сифилис. Пораженный орган погружают в бокал с красным вином на две с половиной минуты. Все наши кафе и рестораны являются в соответствии с распоряжением департамента здравоохранения венерическими лечебницами. Галлы в них пьют исключительно гранатовый сок, поставляемый нам Герцлией-Флавией, который по цвету не отличается от красного вина и действительно способствует оздоровлению сердечно-сосудистой системы.

– А как же лечат от сифилиса женщин? – спросила Баронесса.

– И что делать с теми, которые заказывают не бокалы с вином, а запечатанные бутылки? – поинтересовался В.

“Что-то уж больно часто они переглядываются”, подумала Баронесса об Я. и Б.

– Давайте читать дальше, сказал Я., – может быть, там что-то и про это сказано, я еще не все прочел.

– О, вот как раз, – удивленно воскликнул Б. и прочел.

Бутылка красного вина является естественным спринцовочным аппаратом при лечении женщин, страдающих от последствий сердечных болезней. После процесса спринцевания, длящегося три с половиной минуты, бутылка запечатывается и в таком виде может поступать в уличные клиники-кафе или продаваться на экспорт.

Баронесса поморщилась. Я., глядя на нее, задумался. Но ему тут же вспомнился визит Императора Острова Пингвинов в Еврейское Государство, включающий посещение “территорий”. Оттолкнув окружавших его еврейских солдат, Император воскликнул: “Меня не нужно охранять от Соседей!” Позже там побывал и Главный Министр Императора. Оговорившись, он назвал террористами Братьев Соседей. Когда он вышел из зала, где это сказал, в него полетели камни. Втянув голову в плечи, он затравленно озирался.

– Порнография и есть порнография! – заявил Я. неожиданно зло.

– Никакая не порнография! Умно и гуманно! – воскликнул Б.

Он этой идеей находчивых островитян, кажется, гордится так, будто бы она его собственное изобретение. Прежде, чем разлить по бокалам красное вино, он долго и придирчиво разглядывает этикетки на бутылке.

– За вашу и нашу мудрость! – предлагает он тост.

– Погоди, – говорит ему Я., – ты забыл, здесь есть еще один пункт.

– Протокол 5. Футурологический прогноз.

Все наши многовековые попытки предложить себя англосаксам потерпели фиаско из-за их удручающей непонятливости и глупейшего предубеждения о святости свободы. Даже отбив нас у бошей, они снова ушли, оставив нас на произвол судьбы. Коварный, ненадежный англосакс! Свята не свобода, святы искренняя вера, кипучая страсть и горячий темперамент, чье пламя способно поджечь даже автомобили на улицах! Так и быть – мы найдем себе того, кто сполна обладает этими качествами, того, кто нас уже никогда не покинет. Нам кажется, мы его уже нашли! Ты еще пожалеешь о своей слепоте!

ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ (НЕУДАВШЕЕСЯ)

Я. выглядит удрученным.

– Черт-те что, говорит он.

– В чем дело? – спрашивает Б.

– Мы опять бедными родственниками стоим у подножия Европы и вымаливаем ее любовь. Или муравьиной толпой штурмуем ее неприступные стены, оставляя под ними тысячи торчащих вверх лапок. Это не эстетично.

– А что эстетично? – спрашивает Б.

– Мы должны взойти на гору Синайскую, подняться выше Европы и с этой заоблачной высоты обратиться к ней со страстной проповедью.

– И что сказать?

– Сыны света, краса и гордость рода людского, Великая Европа, славный Остров Пингвинов! Вспомните славу свою! Вспомни ты, Остров, как горела на костре святая Жанна во имя твое! Как сыны твои рушили статуи иудейских царей на Храме твоём, приняв их за каменные копии собственных ненавистных тиранов! Будь достоин предков своих. Отринь презренный соблазн колониализма, змеей заползший в дом твой. Возглавь нас, как в дни, когда князь твой – Наполеон, нес свободу народам, воспетый самим Бетховеном. Метания Эммы, наивная кротость Шарля Бовари разве чужды нам? Ничего не принадлежащего нам – нам не нужно! Когда вы поймете нас наконец?

– И это ты называешь проповедью? – спросил Б. с брезгливой гримасой.

– Да, неубедительно, – согласился Я. – А что бы ты им сказал?

Б. задумался.

– Ничего, – ответил он наконец.

ВСЕ – В СТАРТАП!

Отношение членов Кнессета к находящейся на подъеме в то время моде на стартапы вначале было настороженно-скептическим. Слухи о высоких заработках и опциях несколько нервировали их. Однако они никак не решались прыгнуть в омут новизны из немног проржавевших, но стабильных фирм, внутреннее устройство которых не так уж разительно отличалось от привычных гигантов промышленности Российской Империи большевистского периода (там было гораздо больше женщин, со вздохом заметил по этому поводу Б.).

Все сдвинулось с известием о продаже этого чертового стартапа “ХХХ” за миллиарды долларов. Опции его сотрудников обернулись, по слухам, миллионами в банке, сами сотрудники на вопросы об этом отвечали неоднозначно, но с несомненным достоинством. В Герцлии-Флавии, так упорно искавшей нефть и находившей лишь верблюжьих лепешки и неразорвавшиеся снаряды, вдруг словно забились нефтяные фонтаны. А за углом в соседней промышленной зоне, будто разворачивался золотonosный Клондайк. Причем в Новом Клондайке не нужно было с утра до вечера бить землю киркой и трясти сито, на буровой вышке не требовалось от зари до заката соединять и разъединять буровые трубы – все делалось, правда, тоже от рассвета и до потери сознания, – но в кресле со спинкой и за привычными экранами компьютеров, осциллографов, анализаторов логических, спектра и прочих. В атмосфере всеобщего энтузиазма казалось, что добыть инвестиции для новой идеи легче, чем получить разрешение попрошайки на перекрестке поцеловать ему руку за тысячу долларов.

Плотину прорвало не там, где ждали, – первым о переходе в стартап объявил А. Его рассказы о задачах и организации стартапа зажгли воображение друзей. По рекомендации А. все они появлялись в разное время на интервью у организаторов стартапа, и, к счастью, никто из них не был отвергнут. Если цена стартапа на Нью-Йоркской бирже через год составит меньше миллиарда долларов, мы и наши инвесторы будем считать наше предприятие неуспешным, объяснили им. Из этой суммы им причиталось никак не меньше миллиона каждому, и только несколько обделенный воображением А. высказался, что он будет рад и двумстам тысячам, чтобы погасить долг по ипотечной ссуде.

Не все и сегодня может быть рассказано об этом стартапе, но некоторые детали все же могут быть раскрыты. Стартап занимался разработкой зрения беспилотных солдат – точнее вопросами адаптации глаза к изменяющейся мощности светового потока и передачи информации от глаза в различные отделы обрабатывающего центра, в просторечии именуемого Brain. Отсюда и имя стартапа, которое, как водится, было дано на американский манер – “EyeWay Ltd”.

Инвесторы, потирая руки от мысли о военных и гражданских применениях разработки, торопили инженеров. Они даже прислали из Америки своего Верховного Менеджера. Верховный Менеджер своим видом и манерой шутить очень напоминает Я. известного дирижера Франко Дзеффирелли. Взяв в руки дирижерскую палочку стартапа, Дзеффирелли объявил:

– Предыдущий стартап в прошлом году я продал за два с половиной миллиарда долларов, из этой суммы мне досталось двести пятьдесят миллионов, моей секретарше – пять. Я богат, теперь – ваша очередь.

Свое кредо в бизнесе он зафиксировал в нескольких высказываниях, розданных работникам EyeWay. За декламацию наизусть этих высказываний он обещал выдавать по 50\$ наличными (и выдавал). Друзья, члены Кнессета, пришли в стартап не за пятьюдесятью долларами и, сославшись на слабость в английском языке, от декламации отказались. Свое первое техническое совещание (для технических совещаний были выделены две комнаты с овальными столами) А., Б. и В. посвятили вопросу о том, как выудить у дирижера телефон его бывшей секретарши. Баронесса заметила, что в выражение лица Я. закралась тень зависти.

Я. был в восторге от организации работы. Стартап был провозглашен “плоской компанией”, то есть в ней не предполагались начальственные должности – только инвесторы и разработчики. Разработчики разделяются на специалистов и интеграторов, все принципиально равны. Первейший долг каждого сотрудника прежде всего заключается в том, чтобы обеспечить работу товарища, и уж затем – выполнить свою. Решения инженеров не могут быть изменены никем, только ими самими. Каждый ответствен за общий результат. Не один Я. испытывал чувство необычайного подъема. Свобода самовыражения, то есть либерте, сочеталась (во всяком случае, так предполагалось) с эгалите и даже с фратерните. Все давние мечты оголтелого человечества оказывались таким неожиданным образом сплавленными в EyeWay Ltd.

Баронессе досталась непростая роль интегратора. Невозможно хоть сколько-нибудь прилично разбираться одновременно в физике, электронике, математике, программировании, в придачу – в механике и химии. Больше всего ее беспокоит способность людей к тому, что в технике именуется интерфейсом, то есть к умению из глубин своего предмета выставить наружу удобно схватываемые и понятные другим “ручки”, позволяющие связать разнородные сущности в единое целое. Нужно растопить замкнутых и открыть подозрительных, создать атмосферу признания и уникальности каждого и, по крайней мере, на уровне этих “ручек” следить за полнотой связей, испытывая непреходящий страх оттого, что любая из этих загадочных сущностей может оказаться принципиально нереализуемой или безумно дорогой. Хорошо бы иметь резервные решения, но для них нужны еще люди, еще деньги, еще время – объяснения, от которых запаникуют и заерзают в своих креслах инвесторы.

Команда EyeWay Ltd гребет рьяно и с воодушевлением. А. скребет подбородок. Когда он отходит от стола, экран или раскрытая книга дышат надменностью нематериальных построений. Б., напротив, выглядит вполне человеком со своими штативами и лазерными лучами, бегающими по разлинованной стене. На Новый год он, к удовольствию приведенных детей, даже устраивает представление, напуская клубы дыма на пути у лазеров. Когда Я. смотрит на дисплей В., он видит нечто вроде привычных разводок микроэлектроники, но эти разводки должны будут двигаться. В. поясняет: охранники президента следят каждый за своим сектором, а беспилотный охранник будет контролировать несколько секторов по очереди. От одного его вида с бешено бегающими глазами можно будет обмочиться на месте, обещает В. Сам Я., восседая в центре крепостной стены из приборных стоек, лихорадочно пишет программы тестирования зрительной системы в целом и каждого ее модуля. Баронесса вечером дома и даже в постели горячо советуется с Я., как,

не обидев друзей, пригласить независимых экспертов для оценки и консультаций по особенно проблемным узлам.

Как и ожидалось, проблемы возникают одна за другой на этапе интеграции. Неожиданный звонок поступает из Музея Древностей. Два беспилотных солдата добиваются аудиенции директора музея, утверждая, что они обязаны передать на хранение древние монеты. Разработчики учли опыт иракской войны, и сохранение культурных ценностей вошло в список приоритетных задач. Отлично сработал и переключатель, направив информацию от глаза в центр культуры и искусств. Но откуда монеты? Увы, – проблемы на стыке четкости изображения и распознавания образов. “Монетами” оказались латунные пуговицы мундиров условного противника, представленные вместе с обрывками ткани защитного цвета. И хотя по свидетельству наблюдающих военная задача была достигнута – противник бежал в панике, размахивая полами распахнутых мундиров, – в голосе Заказчика сквозила презрительная ирония, – не для того подслеповатые солдаты обучены беседе с сотрудниками музея, чтобы не отличить профиль Александра Македонского от профиля лидера соседнего недружественного государства.

По этому поводу произошла значительная размолвка между А. и Б. А. считал, что проблема вызвана неправильной оценкой поляризационно-обусловленной составляющей оптических потерь, Б. обвинял А. в примитивности математической фильтрации сигнала. Баронесса, как могла, успокаивала друзей, но если ее не было поблизости, дело быстро доходило до высоких тонов, и сенсоры разведки вполне могли бы по дрожанию стекол зафиксировать разговор, а сама разведка его расшифровать, если бы не обилие ассоциативной терминологии, взятой из области систем самовоспроизведения обычных, не беспилотных, солдат, вполне характерной для инженерного русского языка, на котором объяснялись спорящие.

В другой раз все началось с хохота, который раздался из комнаты совещаний, где просматривали материал, отснятый беспилотным солдатом-разведчиком.

– Он приволок постельные сцены, – объяснил вышедший оттуда В.

– Кто именно? – спросил Я.

– К300, – ответил В.

Баронесса похолодела. Солдат-разведчик К300 был отправлен на испытания – собирать сведения о ночной жизни насекомых в лесу Бен-Шемен. Гражданское применение, за которыми, понятное дело, – будущее. На случай непредвиденной неисправности в его базе данных был их домашний адрес.

– Проклятье, изображение опять расплывчатое, – пожаловался В., и Баронесса немного успокоилась.

– У нас могут быть неприятности с законом, – сказала она, – нужно немедленно стереть эти участки записи. Б. возражал, отсутствие этого фрагмента усложнит поиски проблемы, утверждал он, но Баронесса была непреклонна, и запись нехотя стерли.

Еще не менее двух лет потребуется для доводки, оценивают в беседах на Еуеуау-ской кухоньке приятели-сотрудники перспективы своего дела. Но как безудержен был недавний оптимизм финансистов, соревновавшихся друг с другом в стремлении вложить деньги в новый перспективный бизнес, подогревавшийся опасениями упустить последний вагон этого экспресса в будущее, так тяжел и мрачен сейчас страх перед возможным крахом, волной заполняющий их сердца. Все чаще звучат слова “мыльный пузырь”. Список из тридцати окрестных ресторанчиков, куда Еуеуау-цы ходят обедать, продолжает расширяться, но их бизнес-обеды оплачиваются стартапом уже не полностью, а лишь наполовину. Из обычного перечня заказов их кухоньки, где всегда в изобилии были соки, творог, сыры, миндаль, фисташки, изымаются наиболее дорогие продукты. Главный дирижер стартапа вначале призывал их не экономить на оборудовании. Главное, не экономить средства, а как можно быстрее выйти на рынок, опередив конкурентов, говорил он. Стартап роскошно оснащен всем необходимым, но теперь получить деньги на новые приборы становится все труднее. И наконец, о ужас, им срезают зарплаты на 5-10 процентов, и теперь они на все 20 процентов ниже зарплат министров правительства Еврейского Государства, которые по английской традиции и так невысоки, считают стартаповцы, на сей раз проявляя сочувствие политикам.

Увы, и это не помогает. Инвесторы пришли к выводу, что нужно слишком много времени и денег, чтобы довести работу до конца, а испуганный рынок лишь сокращается и, скорее всего, не сможет и не захочет поглощать их изделия. Наступает день, точнее вечер на Средиземном море и утро в Нью-Йорке, когда на драматическом трансатлантическом видеосовещании принимается решение о замораживании деятельности Еуеуау Ltd, что практически означает его закрытие.

Друзья получают уведомления об увольнении, пополняя разношерстную компанию тех, кого называют армией безработных. В этом положении они уже были по приезде в страну, и новый виток безработицы не представляется им таким болезненным. Я. даже решает, не торопясь, посмотреть Северную Америку, прежде чем приняться за поиски новой работы. Постепенно друзья возвращаются на прежние места к своей

рутинной деятельности. А. вернулся к аэродинамике самолетов-разведчиков, Б. – к лазерным системам наведения. В. исчез в стеклянном чреве Intel. Баронесса консультирует небольшие фирмы по вопросам подготовки производства, а Я. занялся программным обеспечением для радиоглушилок, которые противника не глушат, как раньше, а ведут трансляцию задушевных тихих бесед эротического содержания на языке противника. Языков противника Я. не знает, но в сочинении текстов для офицерского состава принимает горячее участие и вкладывает в них всю душу. Пройдет еще несколько лет, и президент Герцлии-Флавии (тогда уже – Вечно Великий) прикрепит к футболке Я. золотую шестиконечную звезду – ведь это именно его тексты отвлекли офицеров ПВО противника во время налета авиации на секретный военный объект.

Несколько пострадали и заработки бывших стартаповцев. Должности министров правительства снова стали привлекательными в их глазах. Последние же глядят на зарвавшихся выскочек со снисхождением опытности, как стареющий ловелас во фраке смотрит на молодого щеголя в спортивной майке, а майка крупными буквами на груди отвечает фраку английской непристойностью.

N++; СТАРТАПЫ. РАЗБОР ПОЛЕТОВ

– Так что же это было? – спрашивает Я. себя и других. – Только налет подгулявшей компании? Не предвещает ли он чего-то, что должно произойти в дальнейшем?

– В этом было что-то от похода Александра в Индию, – задумчиво сказал Б.

– Мне понравилось, – заметил Я.

– Еще бы, – согласился В.

– Идея плоской компании тоже пришла мне по душе, – добавил Я. – Изгнать вертикаль из инженерной практики – это правильная идея. Инициатива, ответственность и свобода сильнее самой совершенной организации и порядка.

– Нужны дополнительные инвестиции в культуру общения, – отметила Баронесса.

– М-да, – промышчал Я. – Когда-то Пушкин обронил замечание, что проблемы России на Кавказе лучше решать не силой оружия, а последовательным смягчением нравов.

– Хорошо ему было говорить, – ответил Б. не без горечи в голосе. – Пытались...

Будни Герцлии-Флавии вернулись в мысли членов Кнессета Зеленого Дивана.

N++; О ПРОГРЕССЕ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ

– Мир толкают вперед люди, создающие материальные ценности, – утверждает Я., – именно они, подобно богу, созидают Новое. Посмотрите на гуманитариев, тысячелетиями гоняются они за собственным хвостом. Прочтите их тексты и сравните с текстом Екклезиаста. Что нового найдете вы? Да в принципе, – ничего. Одно лишь томление духа.

*“Все реки текут в море, но не переполнится море:
к тому месту, откуда текут реки, возвращаются они,
чтобы течь опять”.*

Акт Творения происходит за непрозрачными снаружи, блистающими на солнце стеклами башен высоких технологий, там неторопливо и тщательно из тысяч подробностей собирается Прорыв.

Б. оживился.

*“Из всех искусств самое важное для нас –
Высокие Технологии”, –*

изображает он Ильича. Без грассирующего “р” у него получается даже лучше.

Я. берет еще более высокую ноту, теперь это уже чистая поэзия.

– Бесконечные ландшафты дикой Америки, – говорит он, – стягиваясь по законам оптики в точку в торжествующих зрачках первооселенцев, сначала только немного расширяются до размеров сетчатки глаза, а затем вырастают в саги, своей грандиозностью теснящие сами ландшафты. Беспечно разбрасывают фронтьеры по рекам имена своих подружек, не беспокоясь о картографрах, которые будут искать участки реки без изгибов, чтобы вдоль них легли женские имена. В стеклянных башнях высоких технологий тысячи глаз, вглядываясь в бесконечный ландшафт искусственного мира, эту виртуальную Америку, упаковывают ее в аккуратные стопочки гигабайтов. Свои новые компании они называют искусственными именами.

Саги о них пишутся на табло фондовых бирж. Реставраторы и историки будут осторожно брать фрагменты их созданий на препараты компьютерной памяти, вглядываясь в детали.

Кнессет Инженерного Посева выражает свою причастность к этому процессу горделивым и скромным молчанием. Б. поглядывает на Баронессу, она смотрит на Я., внимая его страстным пророчествам. НОВОЕ СЛОВО, утверждает Я., явится миру из этих надменных башен человеческого величия, оно будет произнесено ушедшими на покой инженерами.

– Вот, где у Я. стоит тяжелая артиллерия, – оценивает Б. систему семейных фортификационных укреплений, – а вовсе не все эти приемы с насмешками.

Он не знает того, что узнал Я. из рассказов Баронессы о ее детстве. Баронесса с детства чувствительна к Слову. У нее положительная аллергия на Слово. “Парриж”, – говорили ей, и в открывшийся рот проникала ложка каши. “Мад-р-р-ид”, – и вторая ложка следовала за первой. Все, что мы знаем о женщине, мы обязаны использовать против нее, считает Я. Глядя на ее фотографию того периода, он задумчиво произносит:

– Хорошо, что я не знал тебя в детстве.

– Почему? – удивляется Баронесса, на этот раз не угадывая ответа.

– Потому что тогда я стал бы пе-до-фи-лом, – по слогам произносит он и уже думает, чем бы ее еще испугать. Ведь они так хороши собою, эти испуганные женщины, которых мы защищаем.

БЕСЕДА С В.В.

В.В. – это Владимир Владимирович Набоков. Свою гипотетическую беседу с ним Я. представляет себе следующим образом. Владимир Владимирович и Я. идут друг другу навстречу по коридору. Владимир Владимирович смотрит на фотографии и портреты русских и английских писателей и поэтов, развешанные по стене коридора, а Я. разглядывает иерусалимские холмы в больших окнах другой стены того же коридора. Или наоборот, Владимир Владимирович разглядывает холмы, а Я. смотрит на портреты министров и глав правительства на другой стене. Осведомлен ли Владимир Владимирович о том, что навстречу ему идет Я.? Вполне возможно, что нет. Я. трудно вообразить эту встречу каким бы то ни было другим образом.

Тем не менее притягательность В.В. для героя нашего романа огромна. Его умение высечь, словно язычок пламени из зажигалки, такую, например, фразу: “– Мы познакомились вчера, – сказала комната. – Я – запасная спальня на dache [сельский дом, коттедж] Максимовых. А это ветряки на обоях”, – вызывает в Я. такую степень удивления, что он от этого удивления освободиться оказывается совершенно не способным.

Я., как известно, – инженер. Другой человек, гуманитарный или, к примеру, военный, будет долго и недоверчиво морщиться, если ему сказать, что между инженером и исследователем может не быть ничего общего. Я., например, претит заниматься выяснением различий между видами бабочек и мотыльков. Даже от такого несложного и недолгого дела, как заглянуть и интернет и выяснить хотя бы, чем отличаются бабочки от мотыльков, и то он умудряется увильнуть, придумывая отговорку на эмоциональном, а не на рациональном уровне. Название науки о мотыльках и бабочках он читал или слышал десятки раз и, тем не менее, воспроизвести его (“энт...”, “эн...”) ни за что не в состоянии. Инженер, говорит он, свое рабочее время посвящает построению новых комбинаций из известных элементов.

Литературное творчество, размышляет Я., по-видимому, содержит компонент строительного дела. Набоков сочетает этот строительный компонент с особой зречестью исследователя, что позволяет ему, например, тридцать страниц вести своего героя через немецкий город и немецкий лес к немецкому озеру. Инженеру, который взялся бы писать роман, думает Я., вряд ли бы дался подобный текст. У него никогда не вышло бы сочетание наблюдения со строительством, а вышло бы, скорее всего, соединение строительства со строительством.

Любопытно, что в одном из романов, где герой исследует жизнь умершего сводного брата, Набоков, с его реками деталей упоминает о деятельности этого героя в некой “фирме”. В этой “фирме” у него неотложные дела, из этой “фирмы” не хочет отпускать его к умирающему брату начальство по причине срочных дел, в “фирму” заглядывает он, чтобы взять денег на дорогу. Правда, не слишком много для писателя, умеющего на тридцати страницах идти через немецкий город и немецкий лес к немецкому озеру? В то, чем занимается эта “фирма”, было Набокову, видимо, до того тошно вникать, что он так и не удосужился придумать для нее хоть какого-нибудь рода деятельности.

Но почему же все-таки прилип сейчас инженер Я. к писателю Набокову? Набоков уже едва ли не тридцать лет не с нами, и потому безопасно беседовать с ним

может всякий, и хотят многие. Я же, кажется, вознамерился приоткрыть для писателя дверь в неизвестную ему область инженерной деятельности, надеюсь, что если удастся ему быть хотя бы чуть-чуть занимательным, то писатель В.В. не утерпит и через щелочку одного прикрывтого глаза станет исподлобья наблюдать за тем, что выкладывают перед ним на покрывалах блошиного рынка инженерного мира.

И прежде всего желает Я. разрушить для В.В. линейный миф, согласно которому в инженерной деятельности человеческая психология отступает на задний план, и вся эта инженерная возня выглядит так: рычаг-поршень-цилиндр, рычаг-поршень-цилиндр, лампочка загорелась. Нет-нет, возмущается и опровергает Я., вы не представляете, господин В.В., сколько тонкой психологии в инженерном деле. Вот, к примеру, взялись вы за некий условный проект. Ведь почти не бывает такого проекта, которым занимался бы один человек. А два человека – это уже психология. И вам, например, нужно соединить свою работу с работой другого человека, который сидит через три комнаты от вашей. Как начать? Лучше позвонить и задать вопросы по телефону или, позвонив, назначить встречу? Или просто войти и сказать: “У меня к вам дело”. У телефона есть несомненное преимущество – способность прерывать все и вся. Сколько вы видели людей, способных переждать его надоедливые трели, не поднимая трубки? При живом же контакте вам легче пустить в ход личное обаяние. А есть ли оно у вас? Да и кто вы? Положим, вы, молодой инженер, идете к старому опытному волку. Как он еще вас воспримет? Ведь он, возможно, в этот момент держит в голове десятки готовых спутаться нитей, чтобы связать их во что-то элегантно-изящное, как полотно парусов и канаты большой парусной яхты. И вот в этот момент явился неуч, которому начинать объяснять теперь от самого порога! Не станет ли он обращаться с вами как опытный редактор с начинающим поэтом или горделивая мать с невестой сына, старого холостяка: “Милочка! Что же вы так торопитесь?” Или, наоборот, вы и есть волк и держите путь к новичку, который начнет потеть и запинаться, чтобы скрыть очевидный для вас факт, что он плавает в своем предмете. Что он его только изучает, а вам уже сейчас нужно то, что делает молодой человек, надежно связать с тем, что сделано вами, и обида унижения – в его беспокойных глазах. Но, положим, контакт уже состоялся. Да способен ли этот человек изложить суть дела так, чтобы вы быстро поняли и получили все необходимые для вас связи в чистом и законченном виде? Не сунет ли он вам в руки длинную спецификацию, бесконечный заголовочный файл, поспешно сделанный эскиз? Или, наоборот, утопит вас в утомительных и совершенно лишних для вас деталях?

Но пусть и это позади, но еще имеется в вашем проекте некоторый прибор, полученный вами, например, из Канады. Очень скоро обнаруживается, что некая его функция не запускается из вашего проекта. Вы шлете немедленный запрос по электронной почте, и после канадских праздников приходит ответ, в котором значится, что, как стало известно канадскому адресату от других сотрудников вашей фирмы, у вас через неделю день рождения, а через две недели в вашей замечательной стране наступит чудесный праздник, и потому невозможно не воспользоваться удобным случаем и поздравить вас с обоими знаменательными событиями. Касательно же сути вопроса, интересующая вас проблема будет немедленно решена занимающимся ею сотрудником, в настоящее время путешествующим с семьей по Европе. Как только проблема будет решена, соответствующие изменения будут внесены в документацию, прибор пройдет испытания... Но вы уже нашли способ обойти проблему, запустив четыре другие функции и добившись требуемого результата.

И вот все позади. Позади совещания, с половины которых вам удалось сбежать, а на второй – подремать. Доволен заказчик, для которого вы внесли несколько последних штрихов по его просьбе. Ах да, ведь есть еще и заказчик! Ужасен начинающий заказчик, свято верящий в силу своей несокрушимой логики и здравого смысла! Для него, по требованию его, разобьете еще неясный для вас самих проект на этапы, обозначенные пунктами плана, из которых заказчик поймет, что вам предстоит сделать, и снабдите каждый пункт точным сроком, подлежащим контролю. Может быть, вам повезет, и вы сумеете его запутать, сочиняя эти пункты по мере их выполнения. Но это получается отнюдь не всегда. И тогда вы, ненавидя себя за очевидную ложь, подадите ему план, из-за которого вы мучительно пытаетесь своему стеклянному взору придать хоть немного благожелательной живости. Эта бумага по мере продвижения проекта неузнаваемо меняется. Черный печатный шрифт покрывается синими линиями пасты, перечеркивающими линии существующих пунктов, и синей же вязью все той же пасты вписаны пункты новые, родившиеся вопреки плану, как дети в третьем мире. Но бывает, бывает заказчик благодатный! Такой, который вкратце изложит суть дела, а на каждом этапе подправит вас вовремя в деталях, которые и он понимает лучше вместе с вами по мере того, как развивается этот новый, не всегда послушный ребенок-проект.

Ну, и конечно, финансы. Очень важно, как все устроится. То есть, на кого будет давить этот пресс. Положим, вы согласились на определенную сумму, которая

всегда недостаточна из-за подстерегающих вас сюрпризов. Есть ли у вас некий второй этап, который позволит вам компенсировать убытки? Нет? Но в таком случае вы – мазохист. Но вы говорите, что у вас выхода не было. Жизнь заставила вас работать на таких условиях. Боюсь, вы не сумели бы этого объяснить В.В. Если бы он мог ваше согласие понять и одобрить, он остался бы в большевистской России или вернулся бы в нее как Горький.

Ну а сам процесс инженерного творчества? Приходилось ли вам играть в шахматы с равным вам по силам соперником? То вы нажимаете на него плотным строем, то он неожиданной комбинацией заставляет вас искать выхода в лихорадке. И после нескольких часов, как бы ни закончилась игра, вы встаете, опустошенные и перебираете в мыслях перипетии закончившейся борьбы. Только ведь от шахмат в итоге – одни эмоции, а тут – материальный результат.

И вот этот самый материальный результат получен, проект закончен. Радость законченного дела. В.В. она, без сомнения, знакома, ведь сколько раз он заканчивал романы. Конечно, когда речь идет о романе, любом романе, даже о романе В.В., всегда найдется некий читатель, который предьявит ему не одну претензию. Скажет, например, что из произведений В.В., в которых свобода – всегда присутствующий герой, нет-нет и выглянет тиран с топором “Смерть пошлости!”. Или обвинит его в том, что В.В. порой забывает о читателе и оставляет его томиться перед текстом, в котором заперся сам В.В. с ему одному интересным узором, а читатель тем временем томится, будто перед единственным вокзальным туалетом, который, не спеша, обихаживает нанятая начальником вокзала уборщица. Вот и Я., возможно, утомил В.В. своими панегириками инженерному делу. И, пытаясь спасти положение, Я. приводит пример из жизни, который, по его мнению, должен объяснить его мысль. Он рассказывает, как однажды еще в Российской Империи к нему на работу приняли молоденькую девушку-инженера, без опыта. Лишь чуть поправляемая Я., она составила электрическую схему, которая должна была по очереди зажигать светящиеся буквы из лампочек на крыше завода. Это был один из тех лозунгов, какие сочинялись в изобилии в праздничной декоративности коммунистических времен. Так вот, очарование от того, что нечто, созданное ею, работает, живет своей жизнью, было так велико, что девушка привела в праздник всю свою семью: мужа, ребенка, родителей, – смотреть на плоды своего труда. Как я ее понимаю! Я. стремится убедить В.В. Ведь в отличие от любого романа, пусть даже очень хорошего, ее произведение обладало абсолютным техническим совершенством, то есть оно выполняло все, что должно было выполнить: по очереди зажигало буквы, оставляло паузу, чтобы можно было полюбоваться всей фразой, а затем разом гасило ее всю, чтобы еще через пару секунд она возрождалась и шагала по длинному карнизу заводского корпуса.

Я. пытается понять, удалось ли ему хоть немного заинтересовать В.В. И тогда торжествующий Я. мог бы сказать: ну как же вы могли подумать, что в нашем деле нет психологии, нет эмоций? Но, может быть, и хорошо, что встреча их не состоялась. Вдруг и впрямь удалось бы ему настолько соблазнить В.В., что он бросил бы писать романы и стал бы строить, например, мосты через реки.

Однако, увлекшись инженерными темами, мы не заметили, что идем по стрелке нашего компаса к магнитному полюсу В.В., а ведь еще в самом начале обещали мы держаться строго на Полярную звезду, в нашем случае госпожу Е. Внесем же магнитную поправку в наш курс.

ЗАГОВОР

Учительница музыки из романа госпожи Е. (*Die Klavierspielerin*) основала в душе Я. “незаконное поселение”. Как это обычно делается в Иудее и Самарии, прежде всего она установила в его воображении антенну сотовой связи, потом обнесла место забором, оградив местных детишек от соблазна открутить гайку и опасности попасть под антенное облучение. Потом появился скромный жилой вагончик охранника, за ним – его семья, потом второй вагончик, потом третий...

Я. должен с этим что-то делать. И он, в соответствии с военной доктриной Еврейского Государства, у которого тыл – могила, решается на упреждающее вторжение. И в его распоряжении тоже лишь маленькая армия, предполагаемая сила которой в инициативе и хитроумии. Он обращается с просьбой к друзьям, просьбой, которая кажется им несколько странной, отправиться в Вену на квартиру к дамам К., то есть к учительнице музыки, женщине крайне замкнутой, и ее матери, женщине более чем достойной. Поселения на холмах Иудеи – драма, замешанная на любви и ревности. Но тут речь идет о холме особенном, речь идет о душе Я., захваченной поселением женщин из внешнего мира. Не возражает и Баронесса. Хотя ее смущает этот подход Я. к целостной ткани романа, выборочный, капризный, своевольный, не желающий считаться с заключенной в нем катастрофой. Баронесса не считает нужным сопротивляться. Не вышел бы он только из этого приключения с

бороздами, прочерченными на лице лакированными ногтями. Ведь у учительницы музыки и госпожи Е. нет никаких причин возиться с нюансами его души и его трактовкой книги, которая для госпожи Е. – ее книга, а для учительницы музыки – ее хоть и виртуальная, но единственная жизнь.

На тайном ночном заседании Кнессета Зеленого Дивана принято решение, брошен жребий, гордиев узел разрублен и Рубикон перейден. В заборе, обтянутом блестящей черной непрозрачной полиэтиленовой пленкой, отделяющей действительное от никогда не имевшего места, появилась дыра с рваными краями.

ВТОРЖЕНИЕ

Группа, в которую входят агенты “Мосада” А. и В. и агент прикрытия женского пола по кличке Котеночек, возглавляется полковником Б. Ведь, как известно, звание полковника не обязывает командовать полками. Для тонкой работы на чужой территории требуются не полки, а именно полковники. Группа отправляется в путь. На мужчинах, как и полагается, черные костюмы и галстуки. Б. несет дипломат, в котором содержатся письма Я. с подробными инструкциями относительно каждого этапа операции. С инструкциями они должны знакомиться по мере выполнения этих этапов, чтобы не засорять память и воображение тем, что не относится к делу в настоящий момент. Так это объяснил им Я. Первое письмо они прочтут по прибытии в гостиницу “...хоф”, где для них уже заказаны три номера.

В лобби гостиницы их встречает барочный фонтанчик с крылатым мальчиком, натягивающим лук. В проходящих мимо него женщинах при виде ангелочка просыпается не то игривость, не то материнский инстинкт, им так и хочется ущипнуть пухлого купидончика за гипсовую попку. А у входа в ресторан, куда агентам предстоит спускаться на завтрак, стоит большая ваза с фруктами. Эти фрукты, кажется, искусственные и, значит, так же не предназначены для еды, как постмодернистский роман на первый взгляд кажется не предназначенным для чтения. О таком романе полагается знать, в него можно заглядывать, как заглянул бы виртуоз-ковбой с тexasской фермы в плотный компьютерный код – с уважением к терпению и упорству тех, кто его создал. Но вот откусили мы от этого чтения кусочек тут, кусочек там, и вполне может родиться в нас пренебрежение к вкусной и здоровой пище. А кто-то улыбается вдалеке, потому что мы уже на крючке и не освободимся, и не первые из тех, кто кичился своей интеллектуальной неуживчивостью.

Б. категорически отказался делить номер с А., и Баронессе удалось сэкономить средства Кнессета, выделяемые по статье “Шпионаж и диверсии”, только на совместном проживании В. и Котеночка, что, в общем-то, и так подразумевалось. На Котеночке узкое платье тоже черного цвета, на плечи падают волосы цвета “наци”. Она покрашена очень тщательно. Ее волосы и брови светлы, как и ее от природы светлые глаза, теперь закрытые темными очками. За день до отъезда Я. шепнул В., что для полного вхождения в образ треугольник должен быть покрашен той же краской. В. кивнул с пониманием, он, конечно, попросит ее об этом от своего имени, заверяет он Я., с трапа самолета в Вене они сойдут в полной боевой готовности. Котеночек стоит на высоких каблуках, но ее платье не слишком коротко, чтобы не привлекать излишнего внимания.

В номере гостиницы, после того, как распакованы чемоданы и зубные щетки поставлены в стаканчики в ванной комнате, Котеночек сдвигает оконную штору и удивляется обилию народа на улице. “И все они – результат...”, – говорит В. и уже через минуту обнаруживает, что его просьба относительно треугольника не выполнена, у “сложной девушки” на все есть свои резоны. Треугольник по ее мнению при любых обстоятельствах должен сохранять свой природный цвет. А вхождение в образ подвластно ей и без причуд такого рода.

– Нам предстоит интеллектуальное противостояние с женщиной, внутренний мир которой весьма сложен, – возражает В. – Не следует пренебрегать продуманными инструкциями Я. уже на первом этапе операции, когда, собственно, и операция еще не началась, – добавляет он.

– Ах, так это инструкция Я., – говорит Котеночек. – Образцовый муж озабочен проблемами вхождения в образ подруги своего товарища. Своей идеальной жене он может красить что угодно, – решительно отрезает она.

В. не нравится то, что эта женщина, кажется, пытается вбить клин в мужскую дружбу. Он не приветствует и шпилек в адрес Баронессы. Уж она точно не пыталась бы ссорить мужчин. Этого он не произносит вслух, что не предвещает их будущему ничего хорошего.

В. бурчит себе под нос, что дисциплинированный солдат из его подружки как из дерьма – пуля, но в прочих разнообразных воинских достоинствах, как-то: воображении, способности к импровизации – он ей не отказывает и потому, подавив недовольство, обращается к женщине с разумными речами.

– А если нас в плен возьмут? – спрашивает В. – Ты подумала, в каком виде ты предстанешь перед следователями? Я даже не эстетику имею в виду. Что будет с престижем организации, которую мы в данный момент представляем? “Если они до такой степени пренебрегают деталями, – скажут о нас, – значит, слава у них – дутая”. Мы ставим под угрозу безопасность Еврейского Государства, – резюмировал В., придав своей несколько простецкой внешности вид чрезвычайно строгий.

Котенок отвернулась, сквозь гостиничное окно она снова смотрит на улицу, пытаясь понять, как выглядят австрийские следователи. В. смотрит в спину “сложной девушке”. Недавно высказанные Я. сентенции об эволюции полов недлинным караваном горбатых верблюдов выплывают, исходят из тумана памяти В., продвигаются как любые мысли перед внутренним взором, чтобы снова вернуться в зыбкий караван-сарай воспоминаний, откуда были вызваны.

Разглагольствования Я. сводились к следующим тезисам. Процесс превращения настоящего мужчины в современного можно считать завершённым. И древний римлянин, и средневековый рыцарь были бы, наверное, разочарованы внешним видом самого могущественного человека планеты, американского президента, который даже короткого ножа не носит за поясом. Не только перья, ботфорты и шпаги канули в Лету, но даже скромная португеза, какой-нибудь узкий ремешок, идущий от плеча офицера к поясу, приказали долго жить. И даже если что-нибудь подобное будет надето по какому-нибудь ритуальному поводу, жена офицера ласково назовет это сбруей, от чего понимающе улыбнется и сам офицер, окутав себя многозначительным туманом своих незаурядных аналитических способностей. Ведь совсем без ничего мужчине никак нельзя. Сложнее с женщинами. Процесс превращения подлинной женщины в современную происходит на наших глазах и длится уже не менее ста лет. Но, видимо, освобождение – всегда сложнее. Дорога к женской свободе устлана женской отвагой и женскими же трагедиями. Что за Венера родится из пены женской революции, кто знает?

Согласно первой инструкции Я. (вывести из игры мать пианистки) А. отправится на задание в одиночку. Мотивировка такого решения достаточно очевидна. Появление сразу троих мужчин семитической наружности фрау К. покажется, по меньшей мере, странным. Славянская округлость, закравшаяся в черты В., едва ли прибавит солидности этой троице в глазах уважаемой дамы. Правда, в сумраке лестничной площадки она поначалу может принять их за уроженцев юга Италии, но это побудит ее с еще большей прытью захлопнуть дверь у них перед носом. Постная внешность сухощавого высокого А. больше подходит к делу, чем живые глаза Б. и очевидная доброта с оттенком простодушия агента В.

После того, как сличением туристической карты Вены с текстом романа без труда установлен адрес, и учительница музыки выпорхнула из подъезда с нотной папкой под мышкой, А. появляется перед дверью госпожи К.-матери.

– Я пришел к вам с деловым визитом, госпожа К., – говорит он открывшей дверь пожилой женщине, которая и сама в воображении А. должна бы напоминать дверь, но не такую, какая навешена на петли этой муниципальной квартиры, а солидную, с медной ручкой, входную дверь музея изобразительных искусств. Всякая уважающая себя австрийская дама, по предположению А., обязана напоминать собой такую дверь в отличие от жителей Герцлии-Флавии, где даже члены Большого Кнессета смахивают больше на портовых грузчиков, а неторопливые портовые грузчики, объединенные в профсоюз, скорее напоминают тот идеал, к которому в воображении А. должны стремиться австрийские дамы.

Такой двери, такой ручки нет и, конечно, не может быть в квартире небольшого семейства К. Но такая дверь и тем более такая ручка, говорит А., имеются в доме господина Я., известного еврейского магната, которого он, собственно, и представляет.

– Нет, нет, я не продавец пылесосов “Гувер”, – чинно представляется А. пожилой женщине, – и не агент-доброволец по распространению средства для похудения, за которого, вероятно приняла меня поначалу госпожа К.

А. доверительно смеется. Госпоже К. вовсе и не требуется худеть, добавляет он. Австрийские женщины дисциплинированы во всем и никогда не позволяют себе превратиться в нечто, напоминающее бочку с пивом. Впрочем, если она хочет еще немного уменьшить вес, что, как известно, предотвращает развитие гипертонии, то он знает одно очень надежное средство, которое с удовольствием доставит ей. Кстати, добавляет он, не будет проблем и с пылесосом “Гувер”, который в квартире госпожи К. должен будет влачить жалкое существование на пособие по безработице. Ведь преданность чистоте госпожи К. так хорошо всем известна. Этот пылесос в небольшой квартире госпожи К., которая, несомненно, достойна проживания в гораздо более роскошных апартаментах, может служить разве что в качестве пикантной насмешки над грязнулями, с которыми у фрау К. не может быть ничего общего. Откуда ему известно обо всем этом? Ну, конечно, от автора ее биографии, госпожи Е., с которой беседовал недавно по телефону господин Я.

Тут мы, собственно, и подходим к делу, объявил А., плавно меняя тон с доверительно-сердечного на официально-торжественный. Дело в том, что у господина Я. подрастает дочь, любимая дочь, как вы догадываетесь. У еврейских магнатов все дочери – любимые. Но эта еще и единственная. Ее зовут Баронесса. Да, пояснил А., у евреев принято порою давать детям такие странные имена. Вы ведь наверняка обратили внимание, как широко, например, распространена среди евреев фамилия Герцог. Среди них и герой романа еврейского Нобелевского лауреата по литературе, и президент Еврейского Государства. Нет, не тот, чье имя связано с сексуальными скандалами, имя того в переводе с иврита означает Мясник, он понимает толк в филе и грудинке не хуже вашего знакомого мясника, госпожа К. Ха-ха-ха. Впрочем, ничего не доказано, ничего не доказано. И решения суда меня ни в чем не убедят, бывает, что правду узнать не дано, особенно когда в деле замешаны еврейские женщины. Ха-ха-ха. А этими именами, символизирующими знатность и благородство, люди, и евреи в частности, ведь они тоже люди, правда, ведь? А. тонко улыбается госпоже К. Так вот люди-евреи таким странным образом добавляю себе некий витамин, которого им не хватает в организме. Обратите внимание на английскую палату лордов, ведь там что ни лорд – еврей. Британская королева – женщина очень большого ума. Привлекая деньги, которые, как вы чрезвычайно остроумно заметили, никогда не выйдут из моды (об этом нам тоже известно от госпожи Е.), королева раздает символы, которые ей ничего не стоят. Вот и получается, что миром правят не те, кто владеет деньгами, а те, кто владеет символами. Ха-ха-ха. А если символы и деньги в одних руках? А? С вами исключительно приятно беседовать, госпожа К., но мы обязаны вернуться к делу. А дело состоит в том, что господин Я. разочарован в системе просвещения Еврейского Государства. Она осталась от увядшей революционной традиции, в соответствии с которой учителя больше играют с детьми в песочнице, чем прививают им различные полезные навыки, как, например, музыкальные. С детьми нужно не только сюсюкать, к ним следует предъявлять требования. Так считает господин Я. Ему от госпожи Е. стало известно о выдающихся успехах, которых вы достигли в воспитании вашей дочери. Господин Я. предлагает вам контракт на три года, в течение которых, рассчитывает он, вы сумеете придать его дочери европейский блеск. Старое доброе европейское воспитание вовсе не исчерпало себя, считает господин Я., напротив, его ждет подлинное возрождение, и господин Я. – среди пионеров этого возрождения. Что касается проживания в Еврейском Государстве, то, исходя из распространенных еврейских фамилий Гольдберг и Розенфельд, у вас могло сложиться впечатление, что это страна золотых холмов, стоящих посреди плантаций алых роз. Из телевизионных программ у вас, возможно, сложилось впечатление, что по этим плантациям из роз носятся соседи с автоматами Калашникова и поясами смертников. Это не совсем так. Я понимаю, вам, конечно, нужно некоторое время, чтобы обдумать такое неожиданное предложение, но в 19:00 я жду вас в номере 777 гостиницы “...хоф”, где мы сможем не спеша обсудить условия контракта. До свидания, госпожа К. Было чрезвычайно приятно познакомиться с вами.

С этими словами А. учтиво поклонился и оставил госпожу К. в состоянии возбужденного недоумения и тревоги, ведь к назначенному времени она даже не успеет посоветоваться с дочерью. Тем лучше, решает вдруг она, это будет для нее сюрпризом. Мать тоже еще может кое на что сгодиться и внести свой вклад в материальное благополучие их маленькой сплоченной семьи.

Как, однако, разговорился А., обычно немногословный в Кнессете Зеленого Дивана! Если бы Я. или Б. услышали этот его монолог, они были бы очень удивлены вдруг открывшимся красноречием А. Хотя стоит ли удивляться: этот случай только демонстрирует известный факт, что всякому человеку нужен “свой” собеседник. То ли тут должна иметь место близость душ, то ли некоторая их комплементарность, то есть абсолютное несходство, обещающее, тем не менее, что обе части подойдут друг к другу, как вокзальное пластмассовое кресло с двумя углублениями в сиденье подходит к задку опустившегося в него не слишком тучного пассажира. А может быть, успел А. за то короткое время, что они покинули Еврейское Государство, соскучиться по матери и рад был пуститься в разговоры с пожилой женщиной и даже допустил в своей речи неуместный при данных обстоятельствах наставительный тон, обычный для него в разговорах с его любящей мамой.

Учительница музыки вылетает из-за поворота как выхлопное облако из венгерского автобуса. Австрия и Венгрия – сводные сестры, сестрица Венгрия размножила на просторах Восточного Блока свои машины для перевозки хомо сапиенс. Как и полагается отпрыскам Венгрии, падчерицы великой империи, ее детки-автобусы никак не связаны с музыкой, они пыhtят на улицах, принимая в свое лоно всех, кто не хочет остаться на остановке. В отличие от машин, на которых написано “живая рыба”, на автобусах никогда не пишут “живые люди”, ведь это и так понятно, в этом можно легко убедиться, взглянув на их сонные лица в

окнах автобусов. В Еврейском Государстве такая надпись на автобусе и вовсе нелепость, Соседи не любят этого натюрлайфа. Хлоп, и живые люди уже частично полуживые, а частично – неживые вовсе. После хлопа на время воцаряется полная тишина, эту невзрачную до того площадь теперь вполне можно назвать Красной площадью. Красная густая жидкость в сочетании с черной копотью обгоревшего железа и плоти – это теперь уже классические тона городского натюрморта.

Агенты Б., В. и Котеночек не сразу последуют за учительницей. Они подождут, пока она съест приготовленный заботливой матерью ужин, переоденется, простирнет под краном ступни колготок. Приглядевшись, возможно, простирнет их целиком, а собственные свежeweымытые ступни погрузит в мягкие домашние тапочки. Вот тогда они и возникают перед входной дверью, и В. жмет кнопку звонка.

На лице учительницы нотными знаками на пяти натянутых лесочках для ловли мелкой рыбы написано недоумение. Нежданные гости намеренно отодвигаются подальше от входной двери, на самый край лестничной площадки, чтобы подчеркнуть, что не собираются силой вламываться в квартиру, если ее хозяйка того не желает. Они же хотя т с ней переговорить на очень серьезную тему, касающуюся ее преподавательской деятельности. Нет, они не из попечительского совета Венской консерватории, и их решительно не интересует ни ее моральный облик, ни даже ее сексуальные предпочтения. Впрочем, всем своим видом они показывают, что лестничная площадка – не очень подходящее место для беседы о сексуальных предпочтениях, моральном облике и даже о методах преподавания музыкального искусства. Учительница соглашается, она приглашает их пройти в квартиру и предлагает сесть. Садятся только двое, третий, с чуть округлым лицом, остается стоять у двери. Только теперь учительница понимает, что именно показалось ей странным в них с самого начала – на всех троих перчатки, и они явно не собираются их снимать. Более того, рафинированная вежливость покидает их лица и сменяется решимостью и даже надменностью.

– Нам многое известно о вас, госпожа К., – произносит сидящий мужчина, и в голосе его звучит, пожалуй, даже некоторая угроза, – очень многое. Ведь все мы прочли (и не по одному разу!) роман госпожи Е.

Пришельцы теперь разглядывают учительницу музыки с нескрываемым любопытством.

– Мы пришли к вам не для того, чтобы вы обучили нас исполнению этюда “Осень” в три члена, тем более что господин А., единственный из нас, кто способен дотянуться до черных клавиш, в настоящее время занят – он беседует с вашей матерью в совершенно другом месте, – добавляет сидящий джентльмен. – Но прежде чем продолжить разговор, мы хотели бы удостовериться в справедливости весьма высокого мнения госпожи Е. о вашем исполнительском искусстве. Например, не могли бы вы сыграть нам произведение чешского композитора Сметаны “Моя родина”, ноты у нас с собой, вам незачем беспокоить себя их поисками.

Мужчины слушают стоя и даже вполголоса подпевают на незнакомом языке (причем однажды пианистке послышалось знакомое слово Ерушалаим). Женщина продолжает сидеть молча. Гости выглядят теперь несколько растроганными, за исключением женщины (женщин вообще очень трудно растрогать – учительнице это хорошо известно). Теперь она играет им Брамса. По мере того как музыка заполняет до краев квартиру семьи К., что-то начинает меняться в лице старшего из мужчин. Он, видимо, и старший в этой странной компании, краем глаза замечает пианистку. Это обычное дело для нее – замечать краем глаза. Боковое зрение – мощное оружие женщин. Мужчину, который смотрит прямо, назовут быком, и в этом не будет порицания, скорее наоборот. Женщина, смотрящая прямо, для тонких игр не годится. А этот гость теперь выглядит молчаливым и задумчивым. Он внимательно смотрит на ее почти неподвижный, несмотря на игру, профиль, (она не считает, что настоящая музыка нуждается в картинных движениях музыканта), на ее руки (они-то и извлекают сейчас из домашнего инструмента пианистки послание композитора). Сквозь щель между дверью в ее комнату и косяком двери он уже разглядел угол серванта. Он тихо проходит в ее комнату, она скорее чувствует, чем слышит, как он открывает дверцу шкафа и рассматривает ее платья. Он возвращается с картонной коробкой из-под обуви и, осторожно сняв крышку, разглядывает ее содержимое. Собственно, ему пора раскрыть последний из конвертов, врученных ему Я. Ведь все предыдущие инструкции выполнены без сучка и задоринки (о самоуправстве Котеночка полковнику Б. ничего не известно). Он начинает догадываться о том, что ждет его в последнем послании, и не кажется удивленным, когда извлекает из конверта чистый лист. Подошедшие к нему Котеночек и В. выглядят озадаченными, но только на мгновение, они тоже быстро схватывают замысел Я. Действие развернуто, они выведены на сцену и теперь могут продолжать игру по своему вкусу. Брамса должна сменить импровизация Кнессета Зеленого Дивана. И вправду, было бы странно предполагать, что Я. использует их в качестве послушных солдат, выполняющих до победного конца свой нелепый долг. Им предлагается игра в бисер по Я.

Учительница музыки вовсе не выглядит испуганной. Нога волчонка застряла в капкане, но подошедшие охотники не достают острых ножей, не целятся из ружей, не вынимают прочных веревок, которыми они могли бы перевязать ему пасть, предварительно зажав в ней пластмассовую кость для туповатых собак, готовых часами возиться с куском несъедобной дряни. Не собираются ли они превратить волчонка в домашнего песика? Этот “старший”, чьи темные живые глаза выразительны и не холодны, теперь достает и разглядывает содержимое картонной коробки – жгуты, плети. Он держит в руках нейлоновую комбинацию, в которой ариец-байдарочник должен был сделать отверстие, подходящее к строению ее тела, но вместо этого он продырявил и избил ее саму.

Пианистка продолжает играть. Можно ли описать словами музыку? Музыка, которая нежным пением флейт легко уносит нас в небеса и грохотом литавр разбивает о землю, заставляет мечтать и проклинать, засыпать и просыпаться, навеивает воспоминания грустные и трогательные, нашептывает непристойности в уши. Можно ли описать,

как она тихо
вступает и

наполняет,
реет,
касается,
обволакивает, смущает,
кружится,
волнуется,
плачет,
не стесняется слез,
просит,
ласкает,
улыбается,
врет,
забывается, молчит...
вспоминает, возвращается, нарастает,

п
р
о
в
а
л
л
и
в
а
е
т
с
я,

возрождается, крадется, вламывается, буйствует, преступает,
ужасается,
задумывается,
переживает,
раскаивается,
снова лжет,
бродит в тихих аллеях,
прогуливается одна вдоль ручья,
смотрит на горные склоны,
взлетает на них,
нежно подгоняет дыханием редкие облака,
легкую молитву отпускает в светлое небо,
умиротворяется,
з
а
т
и
х
а
е
т, стелется,
умирает...

Вас не смутила фортепьянная трактовка? Вы узнали 3-ю симфонию Брамса? То место, перед самым концом. Нежная музыка. Волшебная. Примиряющая. Приманка для

новичков. Брамс для чайников. Учительница музыки понимает, с кем имеет дело. И сыграла только Allegretto, ведь если бы она продолжила, то там дальше, в Allegro, есть волнующие моменты, под которые хорошо бить женщин.

Что? Вам это кажется невозможным? Вы говорите, там струнные инструменты, духовые, они предназначены музыку раскатывать, волочить и растягивать, вальцевать и прокатывать, а рояль работает методом импульсной подпитки, поэтому, объясняете вы, фортепианная музыка по природе своей цифровая, а струнная и духовая – аналоговая, и что написано для струнных на пианино отбарабанить толком нельзя. Очнитесь, в каком вы веке живете? Все аналоговое давно отквантизировано, упаковано в тельца информационных капсул, к каждой приделана головка с адресом и рецептом консервации и хвостик с проверочным кодом отдела технического контроля. И если музыка произведена и расфасована в Вене, одним из многих существующих технических средств доставлена в Тель-Авив, то там вы ее расконсервируете в соответствии с приложенным рецептом, сверитесь с контрольными цифрами в хвостике, и если все совпадает, станете наслаждаться музыкой Брамса, расслабившись на пляже и меланхолично читая рекламу, которую тянет за собой небольшой самолетик вдоль тель-авивской набережной. Конечно, какие-то совсем мелкие детали при этом теряются, но вам их и так не услышать, не понять, не почувствовать. Разве не вы утверждали, что вся классика была однажды написана одним первым композитором. Неким Первокомпозитором. А все последующие композиторы лишь производили всем известную операцию Copy-Paste, заполняя кое-как промежутки между ударами в барабаны и литавры и разнообразя одну и ту же музыку разными легендами о ней. Согласно одной – якобы журчит ручеек, другой – будто бы светит солнышко, а кому-то такое навеет, что навеянное нужно прятать от детей.

Мы настаиваем, группа агентов “Мосада” (и это наверняка подтвердит любая следственная комиссия) на квартире дам К. слушала именно фортепианную интерпретацию 3-й симфонии Брамса. Иначе чего бы они так размякли при выполнении задания? Предположение, что это был 1-й фортепьянный концерт – полная нелепость. Ведь там есть такие подстрекательские всплески, под которые человека и повесить недолго. Пианистка – кто угодно, но только не дура.

Первой оправилась от неожиданности Котеночек (женщины всегда первыми берут себя в руки). Стараниями пианисточки полковник совсем раскис, видит она. О музыкальном прошлом Б. она ничего не знает. Никаких побоев от Б. пианистка не дожидается – это ей не ее белокурый засранец-ученик. (“Гой есть гой, – вдруг вспоминает она смешившие ее в детстве бабушкины уроки жизни, – всегда закончит побоями, сколько бы ни играл Брамса”). Клин клином вышибают, решает Котеночек. Почему бы и в самом деле не привезти Я. и его драгоценной Баронессе эту парочку? Пусть получит Баронесса и воспитательницу, и учительницу музыки. В доме Я. достаточно места, излагает она учительнице свое неожиданное предложение, но если мать и дочь К. захотят, они могут продолжать спать в одной постели, как привыкли.

– Баронесса, в общем-то, и не дочь Я., а его жена, вернее и дочь, и жена, – совсем расшалилась Котеночек, а в жестких глазах учительницы мелькнула искорка любопытства. Эти двое ведут пока две близкие, хоть и контрастные темы, анализирует пианистка, а чего ждет этот третий, с добродушным лицом, прислонившийся к косяку входной двери? Он должен в свое время ударить в литавры или вступить с пронзительным соло на саксофоне? В. в литавры не бьет и саксофона не достает из потайного футляра. Но он подходит к Котеночку и кладет ей на плечо руку в перчатке. В глазах его уже никакой доброты нет, а есть нечто другое, к чему внимательно присматривается учительница музыки. Она смотрит, В. говорит. Он говорит о том, что неплохо бы перейти к деталям, он нарушает субординацию, он говорит размякшему полковнику, что учительница, похоже, согласна в принципе. Б. с пианисткой могут пройти в соседнюю комнату и там без помех заняться оформлением договора, они же подождут их здесь и даже могут украсить их времяпрепровождение ненавязчивым музыкальным сопровождением.

План В. принимается. В случившемся далее, видимо, прежде всего, виноват Брамс, Иоганнес (1833 – 1897), но, пожалуй, и госпожа Е., и впечатлительный Я., может, отчасти и Баронесса. Через несколько минут скрип перьев в соседней комнате сменился, как показалось Котеночку, чем-то вроде постановиваний. Видимо, ни одна женщина, будь она хоть пианистка, не устоит перед полковником разведки, решила Котеночек, особенно если он человек эмоциональный, тонко чувствующий музыку и женскую душу! Я., определенно, будет испытывать неловкость перед госпожой Е. за уже случившееся, но что-то происходит с В. Он теперь похож на танцора.словно в пируэте, он взмывает Котеночка, оттанцовывает с ней к семейному ложу господ К., повисшую на его руке даму не удерживает и окончательно срывает танец падением на кровать. Он не только комкает танец, он мнет подушки и аккуратно застеленные покрывала. Он не только срывает танец, он срывает часть одежды Котеночка. И вот уже он выглядит заправским сапожником из

романа госпожи Е., когда он прибывает набоечку на каблучок Котеночка, прибывает и отдирает, прибывает и отдирает, а другим каблучком сама Котеночек барабанит по тумбочке (музыка)!

Такого концерта не упомнит квартира уже много лет. Барабан-тумбочка грохочет, агенты “Мосада” стонут, дверь кокетливо льнет к серванту, телевизор странным образом то погаснет, то включится, в нем оправдывается мэр города, где вечер воспоминаний устроили ветераны СС. В запретном шкафчике звенят бутылки с яичным и кофейным ликерами, мэр не успевает слова сказать, в номере 777 гостиницы “...хоф” А. яростно торгуется с госпожой К., госпожа Е. пишет роман, сервант смущается.

Посреди этой бури В. наплевать, а Котеночку не заметить изумленного Б., возникшего в дверном проеме, и внимательного взгляда пианистки из-за его плеча. Шум отвлек их от демонстрации гардероба учительницы. Полковник уговорил ее показаться в своих одеждах. Он отворачивался к противоположной стене, пока она переодевалась, его непритворно восхищенные возгласы приняла Котеночек за стоны любви. Полковник отвел учительницу вглубь комнаты и тихонько прикрыл дверь. Впервые с довоенных времен жизнь в Вене закипела на время так, словно и не было Холокоста.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Когда Я. жалуется Баронессе, что госпожа Е. приходила к нему во сне и изрядно потрепала за ухо, Баронесса зовет его к окну.

– Смотри, – показывает она, – Б. уже давно приехал, но не выходит из машины. С таким лицом не слушают новости, тем более в Еврейском Государстве.

– Он слушает Брамса, – уверенно заявляет Я., – если бы он слушал Шумана, легкая рябь волнения и беспокойства пробегала бы по его лицу, а если бы это был Шуберт, тяжкие размышления исказили бы его черты и придали бы им несколько плаксивое выражение. Вчера он поведал мне, что без пробок добирается на работу за *Maestoso* и половину *Adagio* 1-го фортепьянного концерта, а если выехать в неудачное время, дорога займет две симфонии Брамса.

Баронесса смотрит на Я. с недоумением. Она еще не осведомлена о том, что две дамы К. именно в связи с ней строят свои планы на ближайшее будущее, эти планы сулят им близкое материальное благополучие.

И во время заседания Кнессета Б. остается задумчив, он тербит салфетку на стеклянном столике, встает и долго смотрит в сад и уж совсем вне всякой связи с обсуждаемой темой заявляет, что душу настоящей пианистки нельзя понять в рамках устоявшихся представлений о женской душе. Что же это за устоявшиеся представления о женской душе, заинтересованно спрашивает его Баронесса, и чем эта обычная женская душа отличается от души пианистки? Стараясь не ступать на зыбкую почву своих представлений об особенностях устройства обычной женской души, Б. пускается в объяснения насчет души пианистки. Ведь в поисках своей исполнительской неповторимости, объясняет Б., ей нужно много воображения и сил потратить на преобразование однажды созданного, на новые аллегории, иллюзии, нюансы, так немногим удается подлинная революция в интерпретации произведений, чьи авторы – сами бессмертные гении. Эти поиски не могут не изменить ее душу, не заставить заложить эту самую душу дьяволу, для которого, как известно, нет ничего желаннее души пианистки. В общем, под внимательным взглядом Баронессы Б. запутался окончательно.

Озадаченная, было, Баронесса бросает взгляд на Я. Он стоит, прислонившись к лестнице, а на его лице несложно разглядеть победное цветение, он похож сейчас на доктора Ватсона, млеющего от комплиментов Шерлока Холмса. Она мгновенно вспоминает незадачливого кавалера, желавшего пригласить ее на танец тогда давным-давно в ресторане, и чувствует, что сейчас, как и тогда, не в силах сдержать накатывающийся на нее, непристойный при данных обстоятельствах, приступ смеха: так вот, в чем состояла цель поездки в Вену. Я. не стоит на месте, он продолжает импровизировать, мысль об охране своего главного достояния (то есть ее, Баронессы) не покидает его.

Она взлетает по лестнице, хлопает дверь в спальню. Я. очень жалеет, что не может последовать за ней, чтобы, несмотря на увертки, осторожно отнять у нее подушку, которой она заглушает звук, и в смеющихся глазах прочесть уведомление о причитающейся ему посылке, где уложены самые дорогие для всякого мужчины подарки – женское признание и женская признательность, которые, увы, тоже не вечны, и зарабатывать их вскоре снова придется, как поется в песенке, проливая градом пот, необходимость чего, объясняет все та же песенка, диктуется нам долгом перед семьей и собою.

– Все же, несмотря на внешнее радушие, это семейство обращено преимущественно внутрь самого себя, – думает Б., наблюдая за странным поведением Я. и Баронессы.

У В., похоже, возникли проблемы, он пришел один.

– А где же Котеночек? – наконец догадалась поинтересоваться у В. вернувшаяся уже Баронесса.

– Мы поссорились, – ответил В.

Баронесса взглянула на В. Во взгляде ее был вопрос.

– Ей недостает патриотизма, – отшутился тогда В.

Но потом у них вроде все снова наладилось, и через неделю они снова пришли вместе. Волосы Котеночка теперь имели цвет свежего апельсина. Может быть, поэтому компания рассуждала о женщинах. Когда речь дошла до дамских романов, Я. опять вспомнил эту злосчастную книгу, которую не так давно агрессивно рецензировал Баронессе. Книга разозлила его потокой всеобщей любви. Сколько не пропитывай этой патокой железнодорожные шпалы, говорит он, но если уложенные на них рельсы упираются в ворота с надписью “ARBEIT MACHT FREI”... Он рассказал присутствующим о документальном фильме про 48-й год, этот фильм он смотрел на прошлой неделе по каналу “История”. Солдаты, среди которых будущие известные генералы Еврейского Государства, засели в господствующем над местностью христианском монастыре. В какой-то момент становится ясно, что им не удержать позицию. Нужно уходить. Тяжелораненых унести невозможно. На милость нападающих рассчитывать нельзя. Они решают взорвать монастырь с находящимися в нем людьми, которых уже не спасти. Кто-то должен произвести сортировку раненых. Ее поручили, как оказалось, бойцу, который в Освенциме, где он содержался всего четыре года назад, видел, как производят селекцию. К счастью, нападающие сломались первыми, атаки на монастырь прекратились. Если этот зеленый диван стоит здесь, говорит Я., то я обязан этим “селектору” из Освенцима и тем, кто был с ним, и уж никак не герою менструального романа, который в это время упивается Благой Вестью из ладоней европейских монахинь.

– Я не прав? – оглядывается Я. на Баронессу. – Можно и не противопоставлять? Хочу и буду.

Я. нападает зачем-то на весь женский род, забыв, что перед ним не одна Баронесса, привычная отсеивать нарочитую агрессивность в изложении, когда он касается глубоко затрагивающих его проблем. А он уже тем временем порицает рабское начало, которое, по его словам, не редкость в женском характере, он вспоминает купринского героя, считавшего, что религию нужно сохранить исключительно для женщин. Уже совсем увлекшись, он принимается анализировать культурологический стереотип “баба-дура”. Он часто встречал его в недавно перечитанных им тургеневских “Записках охотника”. Автор, говорит Я., постоянно натывается на живые воплощения данного стереотипа, бродяжничая с ружьем и сукой Милкой. В литературе современной это был бы, кстати, кобель Джек. Именно такое имя я дал в детстве щенку, подарено мне отцом. Щенок этот вырос и оказался сукой, так и жившей с мужским именем. Нет, он не литературный критик по совместительству, отвечает он на вопрос, заданный Котеночком. В ее интонации – вкрадчивость с продолжением. Тургенев писал, не адресуясь исключительно литературным критикам, добавляет он. Нет, если бы у него родилась дочь, он не назвал бы ее Джеком, отвечает он на следующий ею же заданный вопрос. Он продолжает. В мире современном, говорит он, традиционный тургеневский тип “бабы-дуры” сменяется новым типом, честь открытия которого, кажется, приписывает себе Я. “Баба-дура с интеллектом”, разглагольствует он, является продуктом полураспада женского рабства, противником которого декларирует себя Я. Для мужчины умного и злонамеренного, говорит он, тут открывается широчайшее поле деятельности. Вот недавно в одной европейской стране разразился скандал с африканским журналистом, заразившим нескольких женщин СПИДОМ. Он соблазнял их на вечерах поэзии, а когда они просили надеть презерватив, спрашивал, не расистки ли они. Конечно, на его месте мог быть и европеец, но Я. этот пример привел для иллюстрации понятия “БД с IQ” как этапа в эволюции культурологических стереотипов.

Баронесса сначала нерешительно улыбается, но постепенно улыбка ее тает. Ее чуть сузившиеся глаза сигнализируют Я., они призывают взглянуть на Котеночка.

– Вы, должно быть, очень счастливый человек, не каждый способен так радовать близких своим оригинальным видением мира, – выпаливает Котеночек, обращаясь к Я.

Наступает молчание. Я. и Баронессе, положим, не впервой слышать о том, что уж больно они слаженны. Слово пара в фигурном катании – то Я. завертит Баронессу на льду, то она катит к нему, не глядя, ласточкой, уверенная, что на него непременно наткнется. Но обычно это говорили люди постарше с добродушной иронией. Я. очнулся и теперь пытается сгладить дурное впечатление, произведенное его речами на Котеночка. Он готовит разъяснения, но время

упущено, и Котеночек выглядит задетой. Она, кажется, решилась на какую-то выходку.

– Вы просто чудо, – говорит она Я. – Бедной женщине, влюбленной в мужской интеллект, так и хочется маленькой девочкой присесть к вам на колени и внимать, внимать...

Котеночек готовится встать с дивана. Баронесса, Б. и В. следят за этой перепалкой с некоторым напряжением. Непредсказуемость Котеночка, особенно в общественных местах, внушает опасения тем, кто с ней достаточно знаком. Слава богу, думает В., у нее хватает осторожности не играть в эти игры с Востоком. Я. изображает крайний испуг.

Котеночек удовлетворяется достигнутым. Она откидывается на спинку дивана, а Я., не оставляя полушутливого тона, пытается все же что-то доказать Котеночку. Он утверждает, что далек от мужского шовинизма, пытаюсь одновременно произвести что-то вроде внутренней проверки, выясняя, не врет ли он именно сейчас. Он за то, чтобы не слишком насиловать природу, как это удавалось в архитектуре древним грекам, вписывавшим в ландшафт свои замечательные храмы. Кроме того, поясняет Я. с похотливой улыбкой, он, видимо, вступил в жизненную фазу, когда оппозиция оголтелому либерализму кажется ему точкой его внутреннего равновесия. Но если уж выбирать, то учительница музыки, потерявшаяся на перекрестках женских дорог, ему роднее и ближе толстовской княжны Марьи, усыпает свою речь Я. литературными примерами, словно лепестками бугенвиллей, которыми осыпана трава в его с Баронессой саду.

Такое изложение кажется Я., пока он говорит, логичным, но в душе у него осаждается легкая горечь потому, что ему, кажется, приходится разжевывать Котеночку то, что Баронесса понимает с полуслова. Мазки, которые он кладет на холст, она видит именно так, как он их задумал и чувствует. По крайней мере, так ему кажется.

Он, извинившись, уходит в туалетную комнату, но там, прежде всего, опасно присматривается к себе в серебристом овале зеркала: не заболел ли он той болезнью, которую так чудно определил Набоков как способность согнуть глупейшую из грез в логическую дугу. Ведь в данном случае речь идет не просто о грезах, а о нежно лелеемых Я. грезах гармонии.

Вернувшись в салон, он поймал взгляд Баронессы. Она смотрит на него если не с упреком, то с предложением думать не только о словах, которые он произносит, но и о том пространстве, в котором они звучат. Ему не нужно прилагать усилий, чтобы догадаться, что она хочет сказать ему: так же как Б. понапрасну обижает не проникшееся сионо-сионизмом еврейство, так Я. способен неуместными высказываниями обижать женщин. Я. тоже не нужно сотрясать воздух, чтобы ответить ей по беспроволочному телеграфу их семейной притертости: “Да, получилось глупо”.

Выйдя в сад и наткнувшись там на Котеночка, дымящую сигаретой, Я. чуть виновато излагает “сложной девушке” свою философию.

– Женская свобода – тонкий канат над пропастью. Нужна чудовищная интуиция, чтобы идти по нему. Но идти нужно, – говорит с убеждением в голосе Я., самозванный тренер женского канатоходства. – Умные и от природы невредные женщины умеют тонко использовать данность и выстраивать жизнь, не жертвуя ни свободой, ни женственностью.

– Видимо, я не так умна, – отзывается Котеночек вполне серьезно.

– Будет тебе, – отвечает Я. с максимальной искренностью, которую он способен отразить на своем лице, – налить тебе чего-нибудь?

– Виски со льдом, – ответила “сложная девушка”.

Протягивая Котеночку стакан виски с позванивающим в нем льдом, Я. продолжает “женскую” тему. Пока он наливал виски в стакан, доставал из холодильника пластмассовую форму, выковыривал из нее ледяные шарики, он вспомнил и, кажется, что-то новое извлек для себя из того тридцатилетней давности эпизода со студентом, лодкой и девушкой. Он никогда не рассказывал о нем Баронессе, а теперь вот изложил Котеночку, будто со стоном поправляя на своих плечах груз вины за то, что он не вмешался тогда. Не выношу насилия над женщиной, виновато улыбается Я., стараясь смягчить патетику этой фразы. Но может быть, именно поэтому, не хочу в женщине рабства. В том числе религиозного. Не люблю возведения ею в святые мужчины, отказавшегося брать в руки топор. От женщины, с рождением не знавшей принуждения и рабства, рождается мужчина, которому можно доверить топор, говорит Я. “сложной девушке”. Такой подход для нее приемлем.

– Знаешь, – Я. не упускает случая, подобно миссионеру, продвигать свое увлечение литературным стилем госпожи Е., – женский мир у Елинек, вылепленный не из мужского ребра и не богом, и не мужчиной, а самой женщиной, как будто предстает в ее книгах, заманчивый и непостижимый, будто кто-то поднес гигантское зеркало к обратной стороне луны. Поднес и сразу убрал. Мне кажется, многие женщины ее свободы боятся панически.

– А вы бы не боялись, если бы вас голым стали показывать по телевизору под разными углами с разных точек, в том числе с “обратной стороны”?

Я. передернуло, он рассмеялся. Котенок потушила сигарету, и они вернулись в дом.

– И что же, ваша жена умеет ходить по этому канату для женщин? – успела тихо спросить Котенок, пока они не расселись снова на зеленом диване.

Я. рассмеялся.

– Ей повезло. Она родилась пумой.

Котенок словно вспоминает забытый карточный фокус, она требует внимания и, само собой, получает его.

– При чем здесь вообще женщины? – спрашивает она, не ожидая ответа. – А вы слышали о некоем профессоре из ГДР? Недавно его вспоминали. Как же его зовут? Не помню. В Первую мировую войну он воевал в немецкой армии, был награжден за храбрость. Еврей, он был женат на немке и считал себя немцем. Он, как и его жена, перенес все унижения, которые выпали ему при нацизме. Его выселили из дома, в котором он жил, его жену называли публично жидовской сукой. Но он оставался непреклонен – он считал себя немцем. По каким-то там законам рейха он остался в живых, он всего-то отсидел в кутузке неделю или две, когда не выполнил предписания властей относительно светомаскировки. Он остался жить в ГДР. Преподавал что-то в университете до конца жизни и остался в своем сознании немцем. А рассказавший об этом журналист! Он выглядел смущенным. Что-то его в этой истории завораживало. Почему вдруг он нам это все вывалил?

Лицо Котеночка надменно дрогнуло, ей никто не ответил. Мужчины молчали, Баронесса разглядывала ее с любопытством.

Поскольку женскую тему, так неудачно развернутую Я., кажется, удалось, наконец, свернуть, он возвращается к исходному пункту, с которого все началось, к дилемме борьбы и смирения. Он явно целится в философию еврейской жизни в рассеянии. Он утверждает, что в прощении ребенком жестоких родителей, в любви слуги к презирающим его господам, в психологии гонимой собаки, которую пожалел убогий старик и ради которого она снова любит весь род человеческий, заложен какой-то магнетизм. И тут возникает выбор – воспеть этот магнетизм как прекрасную сложность человеческой души или волевым актом отменить его для себя. Ловушка зависимости от других образуется иногда из-за разного рода соблазнов, к примеру, привычкой к комфортной жизни, обеспеченной добрым хозяином. Тогда эти, отказавшиеся добровольно от господства над своими жизнями (назовем их “гости”) передоверяют свое будущее другим, которых порой считают красивее и выше себя, способными создать и поддерживать такой порядок, которого они, “гости”, создавать и поддерживать не умеют. Они украшают себя утверждением, что миссия их в этом мире – нести факел инакости. Порой они тешат себя надменной верой, что из-за своей чувствительности и ранимости, вызванных их положением, они в чем-то и выше своих “хозяев”. И бывают оскорблены и обижены, если вдруг им грубо объявят, что они только приласканные собаки, надоедливые мухи. “Ах, бросьте. Все это в прошлом”, – отвечают они. Изворотливость комаров и мух, в ответ терзает воображаемых оппонентов жестокий пророк Я., имеет пределы. Если вооружиться хотя бы полотенцем, можно добраться до каждого комара и каждой мухи. Один изгоняет их через раскрытые окна, а другой рассудит, что пока он выгоняет одних, налетают другие, он берет в руки полотенец и закрывает дверь и окно. Если хотите знать, достает Я. совсем из другой области еще один аргумент в пользу сионо-сионизма, ведь именно его постулаты лелеет Я. в своих речах, американская экономическая система – это тот же “чуркосионизм”, только экономический, предлагающий пробиваться к вершинам, которые вам по плечу.

О РАЗРУШЕНИИ ПОД ЗВУКИ ВАЛЬСА

Как сладостно разрушение! Это понимали наши далекие предки, которых, забываясь, мы мним людьми примитивными, пока какой-нибудь осколок их жизни не заставляет нас вдруг усомниться в их примитивности и нашем совершенстве. Это открытие сделал для себя Я., когда прочел у Флавия аргументацию противников войны с Римом, ставшей началом катастрофы и названной Иудейской войной. Но пыл и страсть разрушения сильнее сухих аргументов.

Пытаясь из прошлого вывести будущее, думает Я., мы хватаемся за кирки и лопаты, чтобы откопать бесценный клад мысли наших предков. Придать ему новое звучание, аранжировать его под новое поколение музыкальных инструментов, навеять новый сон, поднять на небывалые высоты на новом космическом челноке, а потом прямо оттуда ткнуть мордой в старую людскую грязь. И рассмеяться, и вызвать слезы, и пережить катарсис и завтра пойти на работу.

Высокое искусство созидает, чтобы разрушить, или разрушает, чтобы вновь создать? Что? Манерный вопрос недоучившегося пидора? Между прочим, нас, людей

банальной сексуальной ориентации, не в первый раз возражает Я., очень обижает мнение, будто сексуальным меньшинствам в большей степени, чем нам, доступен эстетический полет. Эта выдумка Швейка пустила корни в людском сознании так же глубоко, как мнение о том, что интеллектуальные козни – жидовская привилегия. Но мы – люди толерантные и не станем употреблять слов, которые могут кого-то обидеть. Нет, это не вопрос манерного педераста или коварного жида. Это вопрос, приходящий в возбужденное состояние после нового фильма или новой книги. Так все же, искусство создает, чтобы разрушить или разрушает, чтобы создать? У вас есть ответ? Пришлите его нам по электронной почте. Прислали: “Вы сами то кто будете? Коварный жид? Или манерный пидор? Или и то и другое?”. Спасибо.

Пафос разрушения – наше второе “я”, считает Я. с большой буквы. Вы посадили себя на цепь, говорит он, чтобы сделать себя безопасным? Вы применили к себе все виды нечленовредительной стерилизации? Вы напрасно устроили себе эту пытку. Все, от чего вы хотели избавиться, осталось с вами. Чем больше вы стерилизуете мир, тем больше после вас разрушений. Бойтесь энтузиастов и праведников. Постарайтесь потерять сознание прежде, чем они возьмутся за вас.

Ах, отвечаете вы назойливому Я., оставьте нас в покое с этими вашими сложностями, откровениями и противоречиями. Если такова цена этой вашей интеллектуальной свободы, не хотим мы этой вашей свободы. Согрейте нас! Разве это так трудно для вас, будто бы постигши глубины? Не ссорьтесь с энтузиастами и праведниками из-за своих “принципов”, которые вам так дороги, из-за вашей свободы, из которой вам ведь тоже, признайтесь, не удалось извлечь звуков, способных перевернуть мир. После всех ваших ораторий со скрипами и царпаньем ведь не изменился мир? Ведь не изменился же? А мы всего лишь хотим тепла, мы хотим света, мы хотим любви. Пожалуйста, не мучайте нас. Мы хотим кружиться в волнах старого венского вальса и тихо подмурлыкивать себе в самозабвенном счастье эти божественные звуки.

– Хочешь ли ты, чтобы тебя читали женщины? – спрашивает Я. Баронесса.

– Я бы только для них и писал, – ответил Я. – Ведь мужчинам нужны убийства, замысловатые логические пути их раскрытия, я не любитель этого, любая женщина сразу скажет, что убийца – один из этих двух невинных персонажей, появившихся на первой же странице детектива, пол убийцы она определит, посмотрев имя автора. Но что трогает сердце женщины? – спрашивает Я.

– Дети, – ответила Баронесса коротко, но затем пояснила подробнее. – Ведь о чем мильные оперы? изнасилование и похищение ребенка – это самое хватающее за душу переживание. Только, пожалуйста, не надо изнасилований, – попросила Баронесса, поморщившись, – похищенных детей всегда возвращают в следующих сериях без особого ущерба для них, об изнасиловании этого никак не скажешь.

ФИЛОСОФИЯ ИСПЫТАНИЙ

В ныне покойном стартапе Eyeway Ltd Я. почувствовал себя специалистом по испытаниям. Если кто-нибудь стал специалистом в чем-то вещественном, он в состоянии, и даже обязан, вывести из предмета своих занятий какую-нибудь полезную философию, то есть из продукта материального извлечь и представить миру некую сущность гуманитарного свойства.

Книжных героев, считает Я., следует испытать. Например, в стиральной машине мыльной оперы. В некой фантастической среде.

СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ

На следующий же день после ответа Баронессы на вопрос Я. о женских предпочтениях, изнасилованиях и мыльных операх газеты Еврейского Государства пестрели аршинными заголовками: “ПОХИЩЕН РЕБЕНОК 10 ЛЕТ”, “ИСЧЕЗ ПО ДОРОГЕ ИЗ СЕКЦИИ ДЗЮ-ДО НА УРОК МУЗЫКИ”, “ПОХИЩЕНИЕ. КОМУ ЭТО НУЖНО?”

Баронесса бледна и взволнованна, из глаз Котеночка едва не сыплются искры. Это тот самый мальчик, который когда-то мелькнул на улице в своем белом японском костюмчике для спортивной борьбы, подпоясанный таким же миниатюрным поясточком.

– Его увезли в Австрию, – вдруг объявляет Котеночек.

– Почему непременно в Австрию? – недоуменно спрашивает А.

– Это подсказывает мне мое женское сердце, – отвечает Котеночек.

А. не выглядит убежденным.

– Кому еще он мог бы понадобиться, как не “Австрийскому Центру по изучению Сверхчеловека” в Линце? – возбужденно доказывала Котеночек. – Подумайте сами, где же в наше время еще искать сверхчеловека, как не в сионо-сионистской цитадели – Еврейском Государстве? А этот мальчик в спортивной одежде с нотами

под мышкой, он же просто напрашивался, чтобы его украли. Он же, небось, еще и отличник в школе.

– Да, так и пишут в газетах, – подтвердил изумленный А. Триумф женской интуиции в сочетании с женской логикой его просто потряс. Он, знающий в совершенстве математическую теорию поля, весьма сведущий в теории чисел, от которой столько пользы при изучении Каббалы, никогда не пришел бы ни к чему подобному.

– Не о чем размышлять! – решает Баронесса. – Когда ближайший рейс в Вену?

ВЕРНУТЬ РЕБЕНКА

На борт самолета поднимается компания в полном составе. В., пристегиваясь, подмигивает Я. – на сей раз и треугольник – нужного цвета. Котенок сделала это по собственной инициативе, без всяких напоминаний с его стороны. Так это с женщинами, говорит он, – когда речь идет о детях, они забывают обо всем. Им наплевать на следователей. Правда потом она треугольник сбрила. Почему? Не знаю. Нельзя ожидать от Котеночка стопроцентной последовательности, извиняющимся тоном говорит В. Я. согласно кивает.

Прямо из аэропорта они спешат на железнодорожный вокзал, чтобы после примерно двух часов езды на поезде оказаться в Линце. Едва бросив вещи в гостинице, они направляются на поиски Центра по изучению Сверхчеловека. Они не обращаются к прохожим, чтобы не засветиться без надобности.

Но, не успев даже разбиться на группы, они наткнулись на то, что искали. Институт не считал нужным прятаться от людских глаз, хотя и официальной вывески не было на его фасаде. Правда, с тыльной стороны здания что-то все-таки было написано по-немецки, чего прочесть они не сумели. Но интуиция подсказывала им – они на месте. Открыв дверь, они свободно прошли в вестибюль.

Внезапно, шедший впереди А., резко развернулся, и члены группы увидели, как побледнело его лицо. Бросив взгляд в дальнюю часть Центра, Б. понял, что потрясло А. – по коридору шла фрау К. собственной персоной. На ее руке красовалась черная нарукавная повязка с нарисованным на ней нотным ключом в готическом стиле. Группа поспешила ретироваться на улицу, а затем и подалее в парк, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию.

– Как она оказалась в Линце? А может быть, и учительница музыки здесь? Когда и зачем они переехали из Вены? Впрочем, это не так важно. Важно то, что теперь возможности маневра резко ограничены. Фактически в игре без опасений остаются только Я. и Баронесса, которых госпожа К. и ее дочь никогда не видели. Правда, Котеночка тоже можно использовать, закрыв ее длинным черным платьем и паранджой. Несколько дико она будет смотреться в компании мужчины славянской наружности, но это все же лучше, чем ничего. Выдавая себя за эмигрантов из России или Украины, Я. и Баронесса попытаются проникнуть внутрь Центра, устроившись на уборку его помещений. Тут как раз пригодится им опыт, полученный в Еврейском Государстве. А., дворник с опытом, тоже мог бы пригодиться для наружного наблюдения, но ему нужно быть особенно осторожным, чтобы не быть опознанным госпожой К. Для этого он приклеит усы, бороду и наденет тирольскую шляпу с пером, решает полковник Б.

– Дон Кихот, получивший пятнадцать суток общественных работ, – комментирует В. с чувством некоторой компенсации за уготованное ему наказание – передвигаться по улице с черным свертком на двух ногах, о которых прохожие не знают, как они хороши, и потому совершенно лишены возможности позавидовать В.

Баронессе и Я. повезло с работой. Их берут на уборку помещений вместо турка, устроившего дебош в публичном месте, где он оскорбил женщину своими приставаниями. В полиции он утверждал, что находился с этой женщиной в интимной связи на территории Пратера, когда они вместе ездили гулять в Вену, “на его деньги”, утверждал он. Женщина смеялась ему в лицо и отвечала, что скорее спарилась бы с кроликом, который делает это медленней, чем этот турок, судя по его темпераменту. Турок вспылил и теперь убирает парк напротив Центра изучения Сверхчеловека. Он худощав, одного роста с А., они с любопытством поглядывают друг на друга, когда оказываются поблизости.

Австрийские подрядчики, специализирующиеся на уборке служебных помещений, так же придирчивы, как еврейские, но в них Я. и Баронессе не хватает теплоты бухарских евреев, преобладающих в этом бизнесе в Еврейском Государстве. Неудивительно, решают они, ведь австрийские подрядчики – просто австрийцы, а бухарские евреи – сплошь сионо-сионисты. Пока Я. шваброй гоняет воду по коридорам Центра, пытаясь по развешенным на стенах картинам угадать пристрастия и фобии руководства Центра, Баронесса пылесосит коврики, протирает столы и ребристые поверхности вентиляционных щелей дисплеев. Их здесь еще не заменили жидкокристаллическими. Что это – недостаток средств или просто экономность,

анализирует Баронесса. Она уносит в раковину чашки с остатками дешевого кофе и недорогого чая. Это убеждает ее, что финансовое положение Центра не бог весть какое блестящее и, значит, они вполне могли прибегнуть к похищению. Вообще же, думает она, нет лучшего прикрытия для разведчика, чем эта работа. Наверняка каждый третий из тех, кто шумит пылесосом или оттирает черный след, оставленный дешевой обувью из Китая на покрытии пола в различных заведениях закрытого типа, – разведчик “Мосада”. Вот только Европа, на ее счастье, нынче бедна секретами.

Никаких следов мальчика они пока не обнаруживают, как не обнаруживает ничего подозрительного и наружное наблюдение – странная дама, прогуливающаяся в строгом черном одеянии и парандже, сквозь прорезь которой видны только темные очки. Ее сопровождает русский по виду охранник, на лицо которого надвинута черная шляпа, чтобы скрыть добродушное выражение лица. Бицепсы его, наоборот, оголены – тоже, чтобы отвлечь внимание от его физиономии. Полковник Б. советует котеночку поработать над походкой. Одежда надежно скрывает все захватывающие подробности ее тела, говорит он, но походка слишком явно выдает норовистость ее характера. Сыграть смирение – ее заветная мечта с раннего детства, отвечает котеночек, чью покладистость можно объяснить только горячей преданностью делу, которому она служит в данную минуту. Сам полковник Б., готовый к принятию срочной информации от своей агентуры, в основном сидит на скамейке в парке с большими наушниками на голове. Иногда ему становится совсем уж скучно, и он подходит к А. под видом работодателя и объясняет, как тщательно нужно затягивать в Австрии полиэтиленовый мешок, который он достает из урны на тротуаре. А. понимает задачи маскировки и зеленеет только в силу, казалось бы, давно забытого математиком протестного рефлекса.

Так прошло два дня. Окончательно соскучившись, Б. на время бросил пост и отлучился к ларьку, где купил сосисок с пивом. Съев порцию, он пришел в необычайно благодушное расположение духа и вспомнил Достоевского, который из всех иноплеменников хоть и немного, но все же благоволил к немцам, упоминая именно об их благодушии. Не едал ли он в этом ларьке, спросил себя Б. И правда, невозможно поверить, чтобы в таком блаженном состоянии, в каком он сейчас находился, можно думать не о туалете, где солидный мужчина с увеличенной простатой может освободиться от излишков пива, а о “драг нах остен” или тем более о “ферфлюхте юден”. За этими размышлениями, во время которых Б. прогуливался, глядя на детей, игравших в парке, на хорватов или румын, передвигавших громадные пластмассовые шахматы по каменным клеткам, он даже упустил каким-то образом звонок от Баронессы и, лишь потом, обнаружил SMS: “Францу-Б.-фердинанду от фон Пахофен. Пока никаких следов. Ауфвидерзеен”. “Данке, продолжайте”, – набрал Б. и отправил ответ.

“Доннер-веттер, что-то здесь не так, – думал Б., окончательно входя в образ. – Наш фюрер не иначе как подмешивал крахмал в сосиски или развлекал водой пиво”.

В Б. закрепленное Достоевским за немцами благодушие стало сменяться положенной немцам сентиментальностью. Он думал о густой барочной красоте Вены, где он бывал до этого, о разлитом спокойствии ее парадной и устроенной жизни. Думать о Вене в лице было даже покойнее, чем в самой Вене, где рядом с пивным ларьком вполне может остановиться конный экипаж с маленькими туристами из Токио или большими из Мюнхена. И тогда лошадь, которой слишком много времени нужно, чтобы распрячься и посетить общественный туалет, мощной струей обдаст брусчатку мостовой, добавив десяток темно-зеленых шаров в подвязанный ей под хвост кожаный мешок, сопроводив это постоянным и густым запахом конского пота.

Вот чего можно добиться, думал Б. о Вене, если отбить две турецкие осады и строить 500-700 лет, строить готические синагоги и барочные фондовые биржи, а не какое-нибудь социал-демократическое говно на скорую руку. Ничего, все построим, говорил себе он, выпуская излишки пива в туалете. Пиво покидало не только мочевой пузырь, но уже и голову полковника, и к нему возвращался его обычный образ мыслей и боевой настрой с семитской целеустремленностью и остаточным привкусом арийской самонадеянности. “Упорством и силой”, повторяет он пришедшийся ему по вкусу девиз австрийского императора. И еще “постоянством”, добавляет он от себя, с благодарностью думая о стабильности цен в общественных туалетах Австрии. С неодобрением вспоминал он о том, как скачут цены за посещение туалетов в Италии, достигая вершин в Венеции. По мере того как пиво покидает его организм, Б. пускается в размышления о том, что если организовать продажу австрийского пива по сниженным ценам австрийским туристам в Италии, то вернуть расходы с прибылью можно будет по договоренности с итальянскими партнерами от увеличившихся доходов итальянских туалетов. Позже, после конфузного возвращения, о котором будет сказано далее, в докладной записке на имя главы “Мосада”, которая на следующий же день ляжет на стол главы правительства Еврейского Государства, полковник Б. напишет: “Изучать историю германских племен на берегах Рейна и Дуная, так же как и строить

геополитические прогнозы на будущее, необходимо имея два параллельных графика на оси времени – графика объема и качества производства сосисок и пива. Считаю необходимым создать в “Мосаде” специальное подразделение по контролю качества этих ключевых продуктов экономики германских племен”. “Одобряю, – наложит резолюцию премьер. – У меня есть подходящие кандидатуры, с опытом надзора за кошерностью в госучреждениях, уволенные со своих должностей предыдущей коалицией”, – допишет он. Далее будет приведен перечень из четырех фамилий членов партии, особенно досаждающих премьеру напоминаниями о той роли, которую они сыграли в его избрании. Видимо, такую возможность предполагал полковник Б., приписав в конце: “P.S. Сотрудникам организуемого подразделения необходимо помнить, что попытки изменения культурно-бытовых устоев жизни представителями других племен даже с самыми добрыми намерениями будут восприняты крайне болезненно племенем-прим. Через два столетия местные либералы оценят посторонние влияния на культуру их племени как весьма плодотворные, во время же самой ломки устоев ситуация может стать взрывоопасной”. Неожиданный прагматизм Б., видимо, объясняется той высокой ответственностью, которую возлагает на него звание полковника “Мосада”. “То, что не видно отсюда, – видно отсюда”, – цитирует он слова Старого Ястреба, в котором кресло премьера неожиданно для многих выявило прагматика. “Доведение сосисок до стандартов кошерности может привести к очередной катастрофе”, – заключил Б.

И еще одну короткую записку напишет он своему начальству, вспоминая о Вене. Такой существенной кажется ему добытая информация, что даже в этом письме он использует кодовые обозначения. В Австрии, пишет он, проживает примерно такое же количество людей, что и в Еврейском Государстве. Устойчивость же его покоится не на количестве населения, а на архитектурном стиле на букву Б. и шоколадных конфетах под названием “Моцарт”.

На третий день, под самый вечер, когда Я. и Баронесса, закончив работу, спускались по ступеням лестницы парадного входа Центра, на ближайшей к зданию остановке затормозил трамвай, в вагоне которого явно происходило что-то не совсем обычное. Лица пассажиров, видные сквозь окна трамвая, были красные и возбужденные. Слова, которые они адресовали, по-видимому, кому-то около передней двери, сопровождались взмахами кулаков, у некоторых весьма увесистых, слова эти казались проклятиями.

В открывшейся наконец передней двери показалась виновница скандала, и В., Котеночек и, конечно же, полковник Б. мгновенно узнали учительницу музыки, о необходимости занятий с которой никто так и не решился рассказать Баронессе, как и о возможном прибытии учительницы и ее матери. Б. в своем отношении к пианистке все колебался, как всякий мужчина в его положении и возрасте, отягченный страхом перед разными ограничениями, которые непременно внесет в жизнь мужчины любая женщина.

Перед выходом из двери учительница, о страсти которой многими способами, скрытыми и явными, досаждала пассажирам трамваев памятно агентам “Мосада” из романа госпожи Е., обернулась, по-видимому, чтобы возразить кому-то из обращавшихся к ней пассажиров, хотя это обычно не в ее правилах. При этом она грифом висящего у нее на спине контрабаса сбила очки с носа пожилого гражданина. Но главный сюрприз был впереди – под конец она выдернула за руку из трамвая застрявшего там мальчика лет десяти в белом костюмчике для дзюдо. Двери трамвая закрылись и он тронулся дальше, а головы и кулаки в трамвае сначала синхронно разворачивались назад по мере движения трамвая, а затем вразной возвращались в естественное состояние, предписанное международным предубеждением всякому добропорядочному австрийцу, совершающему служебную или частного характера поездку в трамвае: голова смотрит вперед, а кулаки лежат на коленях. В это время мальчик поправлял на себе костюмчик, подтягивал поясик и вообще выглядел очень довольным. Было очевидно, что он уже многому научился у своей даровитой учительницы и в их совместном с нею передвижении по трамваю от задней двери к передней принимал самое горячее участие, используя навыки искусства дзюдо.

ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ

От неожиданности В., сняв шляпу и держа ее на отлете, нырнул под паранджу Котеночка, чтобы изобразить влюбленную парочку, как и полагается действовать в таких случаях революционерам, подпольщикам и разведчикам “Мосада”. Я., спускаясь по ступеням, увидел разъяренного турка, несущегося через дорогу с метлой наперевес на защиту неизвестной ему мусульманки, чьи честь и достоинство так нагло попирались на его глазах этим вконец оборзевшим русским охранником. Я. ринулся наперерез, но турок, перехватив метлу в правую руку, левой нанес ему оглушительный удар в ухо, от которого все поплыло в глазах Я., и ему стали

чудиться голоса – сначала крик на иврите “шекель-ва-хэци”, потом русский мат, а позже турецкое бульканье и отрывистый немецкий пунктир. Откуда это вавилонское столпотворение, пытался сквозь шум в голове понять он. С матом, положим, понятно – это он сам, Я., приходит в себя. Бульканье и пунктир – это турок оправдывается перед обступившими их австрийцами. Но откуда здесь этот рыночный иврит? А-а, это, должно быть, семантическое отражение сильного удара в ухо, догадывается он. В его мыслях повергнутого интеллектуала-аналитика одна неточность, – это не просто австрийцы собрались вокруг них, они-то как раз поспешили отойти подальше от этих иностранцев, у которых и другого языка-то нет, кроме как материться по-русски и бить друг друга в ухо. Это наряд проезжавшей мимо полиции оказался на месте происшествия, как нельзя более кстати для поддержания австрийского правопорядка и совсем некстати как для турка, так и для агентов “Мосада”.

Еще тогда, когда Я. ринулся наперерез турку, Баронесса, со своего места увидевшая первой приближающийся полицейский патруль, махнула рукой, чтобы А. и как раз подошедший к нему со своими урно-мусорными указаниями полковник Б. убрались побыстрее и подальше с места разворачивающегося скандала. Захваченный врасплох, полковник Б. не придумал ничего лучше, как бросить на дорогу пакет с мусором, который не преминул опорожниться на улицу города Линца своим малопривлекательным содержанием, не подходящим не только ни одной из центральных улиц этого города, но и ни одной австрийской улице, на которой проживают ее коренные граждане. Он схватил за руку ничего не понимающего А., которому тирольская шляпа с пером закрывала обзор, и, еще больше разбрасывая мусор по проезжей части, потащил в направлении парка через дорогу прямо под колеса еще одного белого полицейского “фольксвагена”. Тем временем учительница музыки нырнула в здание Центра и исчезла в нем вместе с мальчиком и контрабасом.

Баронесса сопровождала Я. на “скорой помощи” в местную больницу, а оставшиеся участники скандала были доставлены в ближайший участок на полицейских машинах.

Вот и предстала Котеночек перед австрийскими следователями, но Боже, в каком виде! Ее черный наряд скрывал ее сверху донизу от глаз следователей, которые, соблюдая приличия, даже не предложили ей снять паранджу, не говоря уж обо всем остальном, что было весьма кстати, так как позволяло скрыть, как горят у нее от стыда щеки и сбитый треугольник. Они только попросили предъявить документы. Из предъявленных В. и Котеночком фальшивых паспортов явствовало, что они граждане Австрии Райнер и Анна Витковски. Граждане Австрии не владели немецким, номера паспортов, введенные в компьютер, показали, что Анна убита более сорока лет назад, а Райнер является не ее мужем, как объяснили эти двое, а братом, отбывающим пожизненное заключение в венской тюрьме за убийство своей сестры Анны и их общих родителей. А. и Б. и паспортов предъявлять не стали, и полковник, чувствуя, что время работает против них и вот-вот появится пресса, заявил, что больше они ни слова не скажут, и попросил немедленно вызвать представителей посольства Еврейского Государства. Старший следователь с пониманием кивнул головой.

Атмосфера в посольстве, куда они вскоре были доставлены, была напряженной. Министерство Иностранных Дел и “Мосад” – в принципе одна и та же организация, но необходимость создавать громкие должности для политиков привела к тому, что у организации две головы, а двум головам на одном теле, собственно, и делать больше нечего, как ссориться друг с другом. Посол в Вене, как назло, был креатурой Головы Иностранных Дел. Особое раздражение вызвали у него их фальшивые паспорта.

– У нас, как всегда, не было времени на подготовку, – оправдывался полковник Б. – Нужно было действовать быстро, пока эти экспериментаторы не превратили нормального сионо-сионистского сверхчеловечка в какого-нибудь австрийского монстра. А в Австрии мы никого не знаем, кроме героев романов госпожи Е. Уж не прикажете ли мне, – начал тоже раздражаться Б., – выписать себе паспорт на имя Вольфганга Амадея Моцарта, а им (Б. кивнул в сторону В. и Котеночка) на имя Роберта и Клары Шуман. (Хорошо еще, что им не попала Баронесса с ее запасным паспортом на имя Софи фон Пахофен).

Они бы еще долго могли так препираться, ведь эти препирательства составляют 90 процентов внутриведомственной и междуведомственной деятельности любых государственных учреждений, а еврейские госслужащие к тому же многословны и убедительны, так что этот процент легко может подняться даже до 91. Тем не менее Организация у них одна и Государство одно, и вот уже четверка неудачников поднялась на борт самолета Вена – Тель-Авив раньше других пассажиров. Чтобы сохранить то немногое, что осталось от их инкогнито, их размещают одних в бизнес-классе. Когда самолет взлетает, полковник Б. не заказывает шампанского. Когда он разливает по маленьким рюмочкам водку “Русский стандарт”, рука его дрожит от досады.

ЕДИНОБОРСТВО В ЛИЦЕ

Тем временем Баронесса, убедившись, что ничего особенного с Я. не произошло (такие и даже более сильные акустические удары они получают, проходя по рынку Кармель, не в одно, а в оба уха), оставила Я. на попечение медицинского персонала, а сама отправилась назад к зданию Центра изучения Сверхчеловека. В Центре она скажет, что вернулась потому, что забыла кошелек в раздевалке. Конечно, кошелек в такой стране, как Австрия, мог бы спокойно дожидаться ее до утра и был бы сохранен даже надежнее, чем в Австрийском Государственном Банке, но в кошельке находится трамвайный проездной билет, а она не намерена тратить впустую ни единого цента.

Этот разработанный Баронессой план ей не понадобился, по ступеням парадного входа Центра спускалась пианистка все с тем же контрабасом на спине и подпоясанным мальчиком в японском костюмчике, которого она держала за руку. Баронесса с неприятно подумала, что контрабас наверняка расстроен от такого обращения и служит исключительно для передвижения с ним в переполненном трамвае для внушения ребенку привычки третирования серой людской массы. Наступал решительный момент. Сионо-сионистская пума из Герцлии-Флавии – против австрийской, в полосах из белых и черных клавиш, что делает ее скорее тигрицей, чем пумой. Баронесса отдает себе отчет, что дело здесь не только в ребенке, она должна заодно произвести расчет на месте с той, которая захватила не без помощи госпожи Е. воображение мужчин из ее салона, а один из этих мужчин даже приходится ей мужем. Что находится в папке для нот, которая тоже висит на учительнице? Женщины вообще склонны навешивать на себя кучу всякой дряни, думает с неодобрением Баронесса, напрочь лишённая такой склонности. Раньше они носили на себе кольца, ожерелья, замысловатые шляпы, веера. Теперь груз, который они носят на себе, отражает идущий вовсю процесс нивелирования женщины. Говорят, они даже вводят себе тестостерон, чтобы испытать блаженное чувство мужской агрессии. От тестостерона, слышала она, у них нечто, должно иметь размер ноготка мизинца, вырастает до размеров среднего пальца. Баронесса брезгливо ежится. Я. рассказывал ей, что в Нью-Йорке он видел, как шла по 5-й авеню группа из трех мужчин и одной женщины. Все ростом от 190 сантиметров до двух метров (Баронесса завистливо сглотнула слюну, с ее 160-ю ей непросто будет справиться с рослой учительницей). Вся группа – в формальных строгих костюмах, полы мужских пиджаков и волосы женщины развеваются нью-йоркский ветер, мужчины все налегке, а на плече женщины – дамская сумочка, а поверх нее law-пад, размерами напоминающий нотную папку, но содержащий бумаги, относящиеся наверняка к деньгам и преступлениям, а не к музыке. Эту сумку и папку она непрерывно поправляла, и именно это, рассказывал Я., придавало сцене их движения по улице такой законченный, почти кинематографический характер. Женщины-художницы аналогичным способом таскают на себе мольберт и сумочку, а вид жриц музыкального искусства вообще внушает ужас. Если бы тротуары в городах были шире, пианистки наверняка волочили бы за собой рояль на поводке. В нотной папке учительницы теперь, наверное, не платье, а тот кухонный нож, который она, ожесточенная изнасилованием и побоями юного арийца, оставленная в недоумении нерешительным еврейским полковником, возможно, испытает на сей раз уже не на себе, думает Баронесса. Тошноту ощущает она и при мысли о железных пальцах пианистки, смыкающихся на ее шее.

Баронесса вновь сглотнула слюну и пошла навстречу учительнице, насвистывая собачий вальс. От волнения она сфальшивила, и это, видимо, расслабило учительницу, она презрительно усмехнулась. Эта внутренняя усмешка, не отразившись на ее лице, могла бы остаться не замеченной мужчиной, но не женщиной, тем более Баронессой. Пренебрежение задело ее и придало ей сил и смелости. Она еще полна сочувствия к этой женщине. Я., похоже, удалось передать ей свое отношение к ней. Он считает, что глубокого повествования о высокой женской трагедии пришлось ждать более двух тысячелетий – от Эсхила до Флобера, а потом еще сто лет – от Флобера до госпожи Е. Только на этот раз трагедия написана самой женщиной. Я. читает книгу о ней с середины, с конца и с начала. Он вечно пристаёт к Баронессе: можно я прочту тебе еще вот этот кусочек, и вот этот. Правда, здорово? Баронесса желает решить проблему, не входя с учительницей в физический контакт. Вполне может быть, она боится, что через физический контакт она подцепит чуждые ей женские качества. Поэтому она, поравнявшись с пианисткой, лишь предпринимает неожиданную попытку вырвать ребенка из ее руки. Но Баронесса уже много лет не играла гаммы, и учительница только вздрагивает от неожиданности и, не снимая контрабаса, удивленно смотрит на незнакомую женщину. Очарованная ее нежданной агрессией, она вдруг делает нечто совсем невообразимое – целует ее в губы прямо на улице и на глазах у маленького кандидата в сверхчеловеки. Баронесса из семейства кошачьих, и

поцелуй в губы для нее (будь это мужчина или женщина) означает только то, что ей частично перекрыли дыхание. И это тягостное насилие над ней вызывает у Баронессы ярость. Будто заперли ее одну в магазине запасных частей к старым автомобилям или дали 45 минут, чтобы написать школьное сочинение о футбольном матче между командами Ливерпуля и Манчестера. Руки Баронессы отчаянно машут за спиной учительницы, пытаясь наносить жалкие женские удары кулачком по спине, но попадают в контрабас, который в ответ на эти комариные укусы не желает производить никаких величественных звуков. Он только сердито гудит и ухаает, как старый филин, объевшийся мороженого на Грабен-штрассе в Вене. На помощь Баронессе приходит мальчик. Он узнал тетю из соседнего дома, сионо-сионистское воспитание, которое он успел получить в начальной школе, толкает его на посильный ему героический поступок. Улучив момент, он резко выворачивает ногу учительницы, в отличие от ее рук тренированную только наступать на собачье дерьмо и педаль рояля, и та, неудачно попытавшись повиснуть на оттолкнувшей ее Баронессе, падает на землю вместе с контрабасом и нотной папкой. Баронесса и мальчик бросаются к подходящему трамваю и, пока учительница выпутывается из музыкальных постромков, вскакивают в него. Когда трамвай трогается, учительница, наконец, поднимается на ноги. Она хватается обеими руками гриф контрабаса и швыряет музыкальный инструмент под колеса уходящего трамвая, но тот в последний раз коротко ухаает и обдаёт учительницу брызгами звуков лопнувших струн. Вершины деревьев в парке остаются безучастными к происходящей на их глазах драме, словно головы страусов, соединенные длинной шеей с обширным задом на длинных ногах. Бронзовый господин на постаменте рядышком не потрудился воспользоваться своими пухлыми щеками, чтобы издать какой-нибудь подходящий к случаю звук. Например, “пф-ф-ф”. И снова пассажиры трамвая повторяют свой ритуал синхронного поворота голов назад и асинхронного возвращения в нормальное положение, вот только руки их остаются на коленях все то время, пока длится эта сцена. И только Баронесса и мальчик прильнули к стеклам трамвая и смотрят назад, пока трамвай не погружается в туннель. Мальчик даже помахал учительнице с грустью, и широкий жесткий белый рукав был похож на белый колокольчик старинного школьного звонка, сообщающего учительнице о конце урока.

– Хальт! Цюрик! – закричал вдруг мальчик водителю трамвая, потому что учительница помахала ему рукой в ответ. Зоркие глаза ребенка разглядели то, чего не увидела не только Баронесса, но, вполне возможно, не разглядела бы и сама госпожа Е., которой так чужда хорошая мелодрама, производящая целительный, оздоравливающий массаж женского сердца, – слезу, текущую по щеке пианистки. Водитель подчинился, и трамвай двинулся задним ходом.

Мальчик повис на шее учительницы, а она, раскачиваясь и уже не скрывая слез, напевала ему нежную детскую песенку. Баронесса прислушалась. “Айн, цвай, шпацирен унтерофицирен...” – послышалось ей. (Я. утверждал позже, что этого не могло быть. Это клевета, это противоречит всему, что ему известно о пианистке. И уж конечно, госпожа Е. никогда не позволила бы ей этого сделать. Просто Баронесса не знает других австрийских детских песенок.) Наконец мальчик разжал руки, учительница опустила его на асфальт, поправила на нем задрвшую белую курточку, заботливо подтянула поясик, и он побежал назад к трамваю, пассажиры которого плакали навзрыд. В трамвае ехали сплошь хорваты и турки.

Когда Я., Баронесса и мальчик уже сидели на вокзале Линца, ожидая поезда в Вену, Я. заметил миниатюрную мышку, шмыгавшую между шпалами и рельсами. Он рукой указал на нее мальчику и Баронессе.

– Что она здесь делает? – изумленно спросила Баронесса, и на ее лице отразились испуг и желание немедленно поджать под себя ноги.

Мальчик, напротив, испытывал энтузиазм от неожиданной встречи и даже попытался угостить фройляйн мышку печеньем, но фройляйн нырнула под затрясшийся рельс, и поезд, прибывший из Зальцбурга по пути в Вену, раскрыл перед ними двери вагона второго класса.

ДОМА

Когда Я., Баронесса и мальчик вернулись домой, вся компания уже была в сборе. Они обменивались подробностями операции, а мальчик рассказывал бывшему полковнику Б. о встрече с мышкой.

Полковник, в свою очередь, рассказал о том, что пока он сидел в засаде в парке города Линца, у его ног устроилась белка и трудилась над чем-то, что она подняла с земли. Словно она нашла монету в два евро и отчищает ее от налипшего грунта. Она была очень похожа на мышку, но только с таким карнавальным, пушистым хвостом, рассказал Б., но дальше, забывшись, он стал рассуждать о чем-то, что показалось мальчику недостаточно интересным. Котеночек и Баронесса, слегка

приведшие себя в порядок после дороги, отправились со спасенным мальчиком к его родителям.

– Разве все дело в хвосте? Разве из-за хвоста белка пользуется всеобщей любовью, чего никак не скажешь о мыши? – вопрошал тем временем Б. оставшихся в салоне мужчин. – Хотя найдется в мире немало людей, преодолевших свое отвращение к мыши. Или все дело в том, что о белке достоверно известно, что она не будет, забиваясь в глухие углы, обшаривать наш дом, не лишит нас покоя, пробежав однажды по подушке и задев наши волосы, пока мы засыпаем?

Но разве она виновата в том, что она мышь, спрашивал себя Б. А разве мы виноваты в том, что мы только люди, отвечал он себе вопросом на вопрос. Я., прислушивающийся к рассуждениям полковника о жизни грызунов, замечает, что так много усилий потрачено на то, чтобы человек был не просто человек, а человек разумный и терпеливый, столько успокаивающих уколов воткнуто в задницу племенному инстинкту. И ты думаешь, что кто-нибудь рискнет пустить насмарку семидесятилетний курс лечения европейской племенной чумы? Ты хочешь рискнуть? Не хочу, говорит Б. тоном, которым он обещал бабушке не бегать по квартире так быстро, что у нее от этого мелькает в глазах, и не кричать так громко, что у нее закладывает уши. Так к чему этот бунт против европейской терпимости, спрашивает Я. Нет ответа у задумчивого Б. в данную минуту. Уже получасом позже он сбрасывает с себя эту задумчивость и объявляет Я., что и он сам, и Я., и Кнессет Зеленого Дивана, и все прогрессивное человечество живут в эпоху заката постнацистского синдрома. Дальнейшее упорство в проведении в жизнь идеи многокультурного общества может привести к возрождению нацизма. Разумеется, не там, где он зародился, а, скорее, в среде его победителей и жертв. Разве оправданными оказались трагедии на пути воплощения идеи социальной справедливости, которая к тому же провалилась в итоге, спрашивает он Я. Разве красота идеи гармоничного многокультурного общества, чья осуществимость пока нигде не доказана, стоит таких временных побочных эффектов, как Холокост или судьба армян в Турции. Я хоть и ощущаю ответственность за судьбы мира, но мне, прежде всего, страшно за энтузиастов-евреев, продвигающих эту идею. Ну вот, Б. – опять завел шарманку, вздохнул Я. Но полковник в отставке гнет свое: ведь пока либеральный еврейский профессор, прикрыв глаза, возносит в небо песнь о всеобщей любви (прежде всего, конечно, – к себе, такому чудному), у него, как у глухаря, притупляется слух. Из этого состояния его выводит только хлопок по уху, которым награждает его кто-нибудь из уставших слушателей, на потеху всем утверждая, что уважаемый профессор только что пукнул от избытка воодушевления и что так не ведут себя в общественном месте. Уверю тебя, горячится Б., он от такого душевного напряжения рано или поздно и в самом деле пукнет.

– Многокультурность – болезнь общества, – заявляет Б., доктор по национальным заболеваниям, – и когда она уже является свершившимся фактом, то лечить ее, конечно, нужно терпимостью, обеспечивая максимальное качество жизни, которого можно добиться при хронической болезни. Но что верно для любой болезни, верно и для этой: лучшее средство от нее – профилактика. Львами, змейками и другими народами лучше любоваться и любить их с безопасного расстояния. А под руководством опытного инструктора льва можно погладить, а змейке подарить кузнечика.

Отдав ребенка родителям, Баронесса и Котеночек вскоре вернулись домой. И там застали мужчин в состоянии, отличном от того, в котором они оставили их, уходя. Те то ли праздновали победу, то ли стирали из памяти шероховатости операции, но они были уже изрядно навеселе. В. приволок из багажника своего автомобиля четыре комплекта армейских штанов, которые вместе с остальным барахлом бросили ему его друзья – резервисты, отправившиеся налегке провести денек на Красном море. Нацепив штаны, защитный цвет которых ассоциируется у всякого с военной доблестью, и белые домашние футболки, символ принципиального миролюбия военных людей, друзья восседали на Зеленом Диване. Обнявшись и раскачиваясь, они держали в руках кружки с пивом и распевали немецкие народные песни.

Нах остен шпацирен
Цвай дойче официрен.

– Хороши голубчики, – отметила Баронесса.

Шисен алле юден айн,
Йо-ха-ха-ха, –

фальшивил совсем окосевший А.

– Во! – удивляется Я. – Я такого продолжения никогда не слышал.

– Говорил же тебе, – Б., полковник в отставке, увещевает смущенного В., – не подливай ему в пиво “Русский стандарт”. В крайнем случае – “Кеглевича”.

Баронесса, прихватив с собой Котеночка, отправилась на кухню, чтобы приняться за приготовление закуски. Этот поход на Восток пора было плавно превращать в организованное отступление по всем правилам немецкого военного искусства.

Пока они возились на кухне, а Я. с Б. выясняли на примере России и Германии, что в большей степени способствует укреплению радикальных идей в обществе, пиво или водка, В. нашел-таки в дальнем углу морозилки забытого там много лет назад “кеглевича”. Чтобы загладить промах он подлил его А.-иньке в пиво. Спор был в разгаре, Я. горячо доказывал, что пиво опаснее водки, когда А. снова привлек всеобщее внимание.

– Я все готов простить нашим вождям, – говорил он, – распри и коррупцию, демагогию и бардак, одного я им не прощу никогда – ослабления оборонной мощи нашей страны.

По щекам А. текли крупные слезы. Спор теперь переключился на закуску. Жирная пища нейтрализует действие алкоголя, с этим были согласны все. Спорили о том, что скормить А. раньше – жаркое с фаршированной куриной шейкой или студень, покрытый тонкой пленкой жира, как весенние улицы Российской Империи бываю покрыты потемневшим городским снегом. Баронесса и Котеночек так заботливо обхаживали А., что и Б., и В., и Я. стали бузить и грозить, что они готовы подмешать себе в пиво даже субботнего вина, чтобы заслужить внимание женщин (уж это будет всем отравам отравой, утверждали они, хуже этого только средство от тараканов К300).

По мнению женщин, ситуация начала выходить из-под контроля. Они объявили “мертвый час”, разведя мужчин по спальням и садовым лежакам, загрузили всю посуду, в которой можно смешивать пиво с другими напитками, в посудомоечную машину. И даже пытались напевать им на иврите колыбельные песни из тех, что поют ребенку после обрезания, когда будущий воин Еврейского Государства получает свое первое ранение на седьмой день жизни, а затем, плачущий, усыпляется приложенной к его рту ваткой, смоченной субботним вином.

N++; О ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИИ КУЛЬТУР

– Это было еще в годы моего студенчества, – начал рассказывать Я. – На курсе то ли философии, то ли научного коммунизма, представленная к обсуждению тема была – взаимовлияние культур. Вдохновленный принципами пролетарского интернационализма, оспаривать которые в те времена никто вслух не решился бы, я решил, что ничего скользкого в этой теме нет. Я заявил, что считаю очень удачным примером взаимопроникновения русской и узбекской культур вышедший недавно в Ташкенте фильм о любви и о нежности. Никакого подвоха в этом моем заявлении не было, – решительно заявил Я., хотя никто таких подозрений и не высказывал, а Б. даже подтвердил, что он что-то такое помнит и ему тогда этот фильм тоже понравился. Баронесса фильм не помнила, и Я. пошутил, что она, похоже, и правда моложе его, и паспорт, предъявленный ею в загсе (Запись Актов Гражданского Состояния) для получения свидетельства о браке, не был фальшивым.

– А тогда в воздухе повисла пауза, – продолжал Я., – ребята все были хорошие, – не без ностальгии заметил он, – но мне показалось, что какая-то капля все же покатила у них по спине за воротом. Кто-то решил, что капля теплая, кому-то она показалась прохладной. Преподавательница наша тему свернула, не глядя в мою сторону, и была права – этим заезжим еврейчикам вечно не хватает такта, высокие принципы потому и высокие, что сияют в высоте, а не капают тебе за шиворот. Во всяком случае, я сегодняшний решительно и принципиально осуждаю Я. тогдашнего за эту еврейскую попытку навязывания русской культуре чего бы то ни было. Не имеет значения – хорошего или плохого.

Я., вспомнив студенческие годы, замолк. Тогда его внутренний мир был более цельным, отмечает он, – как легко смотреть людям в глаза, когда ты на стороне всеобщей любви и терпения. Зато сейчас он понимает и чувствует, отчего кто-нибудь при этом мрачнеет и уходит в себя. А что изменилось? Он всего-то ныне вместо братства любящих людей – за братство любящих народов. И из-за этой малости он теперь иногда мрачнеет и уходит в себя.

– Да, непростая тема, – сказал Б. и напомнил о том, как подорвался на национальной mine местный политик. Он и сидел-то за рулем машины, в которой, кроме него, как он думал, никого не было. Переключая еврейские радиостанции, угощавшие его восточной музыкой, он буркнул: “кто кого оккупирует – мы Газу или Газу нас?” Неделю детонировало минное поле политкорректности. Если бы не ремни безопасности, ни за что не выбраться бы ему из своего автомобиля с одним только фингалом под глазом. А недавно одна русская девочка по телевизору тоже сказала что-то неаккуратное по поручению своей партии. Я уж думал, что после этого от нее даже ямочек на щеках не останется. Но она – молодец. Вернулась в телевизор и открыла такой шквальный огонь любви ко всему восточному, что когда перестала

жать на курки и гашетки, из окопов противника так никто и не встал, осталось только подогнуть бульдозеры и эти окопы засыпать.

– Я все-таки продолжаю считать, что взаимовлияние культур вещь плодотворная, – сказал Я.

К этому он добавил воспоминания уж совсем из своего детства о том, как удобряли поля содержимым коровников и конюшен.

– А это к чему? – спросил Б.

– А вот чему, – ответил Я., – на каких органических удобрениях вырос великий роман госпожи Е.?

– На собачьем дерьме, – ответила Баронесса, не способная ошибаться.

– В разбросанном по улицам собачьем дерьме в Еврейском Государстве нет недостатка, – сказал Я., – но вот культура международного уровня в нем хоть и всходит, но по мне – не так скоро, как хотелось бы.

Догадлива Баронесса! Она уже поднимает телефонную трубку. В туристическом агентстве заказываются шесть билетов в Вену. Мест в гостинице она не бронирует.

– Справимся за один день, – говорит она, сдвигая в притворной суровости брови, что означает ее готовность воспрепятствовать расточительности беззаботных членов Кнессета Зеленого дивана.

А Я., кажется, удалось скрыть, что помимо заботы о процветании еврейской культуры, его, как христианских паломников в Иерусалим, тянет на святые места в Вену, откуда прозвучало для него божественное слово госпожи Е.

Есть и у Б. побочные соображения – он хочет в спокойной на сей раз обстановке найти баланс в своих счетах с Европой.

ЗА СОБАЧИМ ДЕРЬМОМ

Их нынешний приезд не отягчен грузом тайных миссий. В поезде, везущем их из аэропорта в Вену, они расслаблены. Европейский пейзаж кольнул их сердца ностальгией. Европа, к которой они накопили обид за последние годы, – их старый дом, и их обиды стынут в прохладном воздухе хмурого австрийского утра, не находя опоры в почти обнаженных еще силуэтах деревьев.

Пратер разочаровывает. Несмотря на солнечный воскресный день, нет ни компаний, жарящих шашлыки, нет групп, пьющих шнапс. Собак, видимо, уже два дня не кормили, чтобы они не гадили в парке. Посетители парка либо бегут на роликах, либо шагают с длинными палочками а ля Johnnie walker, но у них, увы, ни в одном глазу.

– Не хватает только массового забега ветеранов Второй мировой на инвалидных колясках, – бурчит Б. с неодобрением.

Они прочесывают Пратер, вооружившись суковатыми палками, которыми они разгребают павшую листву и мертвые ветки. На их руках – резиновые перчатки, а В. тянет за собой здоровенную сумку на колесиках с открытым зевом. Очень редко, находя удобрения высокой культуры, которые сама госпожа Е. вульгарно именуется собачьим дерьмом, они благоговейно поднимают их с австрийской земли и кладут в сумку В.

Я. вспоминает, что, по госпоже Е., суковатая палка это еще оружие охоты на розовых фламинго. Видимо, угрожая палкой невидимой птице, он смахнул с пояса свой сотовый телефон. Когда он обнаружил пропажу, в нем возникли противоречивые чувства – освобождения и огорчения. Последней мелькнула мысль о том, что уже завтра, дождавшись темноты, он сможет позвонить из Тель-Авива в Пратер. Глупо надеяться, что телефон поднимет учительница музыки, а с ее учеником ему и вовсе разговаривать не о чем, хотя они и коллеги по электричеству и даже по спорту. Но только не по водному. Я. хранит значок начинающего альпиниста, заработанный им на Кавказе в ущелье Джан-Туган, где горы – не картинка по телевизору, а воплощенная и материальная отповедь Иову.

Встреченные ими австрийцы сначала смотрят на эту компанию с недоумением. По их лицам видно, что они, тем не менее, стерпят любые чудачества приезжих. Но вскоре и они зажигаются энтузиазмом и начинают помогать, разбившись на две группы. Те, что с собаками, идут впереди и поощряют своих четвероногих питомцев ласковыми окриками. “Какен, какен, ферфлюхте юден!” – говорит вместо них про себя Б., потому что австрийцы этого ни за что не скажут, понимает он. Те, что без собак, попросив для себя резиновые перчатки, присоединяются к воскреснику по очистке национального венского парка, они очень стараются. Б. возмущается за них этими ужасными людьми, “дие туркише юден”, шепчет он на ухо Баронессе, которые позволяют своим собакам гадить где попало. Вскоре появляются папарацци. Это насторожило компанию с Ближнего Востока, но они рассудили вскоре, что снимки появятся только в вечерних новостях или утренних газетах и они успеют улететь раньше, чем их опознают австрийские следователи.

В одном месте, разворошив листву, они наткнулись на парочку, которая занималась любовью, надеясь под прошлогодними листьями укрыться от бинокля учительницы музыки и палки ее ученика. Они смущенно отряхиваются и присоединяются к воскреснику, даже не попросив резиновых перчаток.

Наткнувшись на место в кустах, где трава кажется выжженной, Я. понимает, что именно отсюда наблюдала из засады учительница музыки за соитием турка с австрийской женщиной. Соития, в котором было так много энергии, необходимой для красоты текста, и так мало любви. Не перенесла давления в мочевом пузыре, оросила здесь пианистка живой струей землю парка.

Я., встав в знакомую нам позу прорицателя (Я. Теодора Герцля Африканского), обращается к австрийцам с речью.

– Помяните мое слово, – говорит он, – на этом месте будет возведен Храм, Храм Австрийской Словесности.

С этими словами он оглянулся и, найдя несколько камней покрупнее, сложил из них небольшую пирамидку. “Я-я”, – согласились австрийцы, но Я., хоть и не был уверен, что его правильно поняли, не стал вдаваться в объяснения. Прорицания должны быть окутаны туманом, решил он.

Парк был обшарен, а драгоценного культурного материала в сумке было совсем на дне. Гости, прибывшие с Ближнего Востока, обменялись рукопожатиями со своими новыми друзьями. Ни те, ни другие не снимали резиновых перчаток. С влюбленными они не обменивались рукопожатиями, а только подмигнули им заговорщицки и понимающе.

Я. решил, что его суковатая палка не поместится в чемодане. Он переломил ее надвое об колено, одну половину швырнул в пруд, где уже плавали древесные коряги, другую положил в пакет, с которым бродил по Пратеру, рядом с романом госпожи Е.

– Если ты не пописаешь в Пратере, – шепнул он Баронессе, – считай, что не была в Вене. Это все равно что побывать на Святой Земле и не макнуть руку в воды Иордана.

Есть вещи, по поводу которых Баронесса никогда не спорит с Я. К таким вещам относится ВЫСОКОЕ СЛОВО. Баронесса удалилась в кусты.

– Мы найдем это место по обилию белых ромашек, – льстит он ей, когда она возвращается.

Собранного материала недостаточно. Компания решает задержаться в Вене еще на день. Тем более что на сей раз они въехали в страну по собственным паспортам, с частным визитом, преследующим исключительно культурные цели. Они могут посмотреть Вену. Они снимают комнаты в отеле. Когда они выныривают из метро на эскалаторе и вследствие этого готический собор святого Стефана наступает на них как статуя Командора, а затем оборачивается суровой скалой в озере с барочными берегами, Я. даже готовит госпоже Е. телеграмму: “Удивлялся отчего не пишете Вену тчк теперь догадываюсь тчк способна вытеснить внутренний мир”. Они бродят в толпе таких же праздных гуляк со всего мира, каковыми они и сами явились сейчас на Грабен-штрассе.

– Они тут понятия не имеют, как мы на них обижены за их дешевую мораль. – Я. пытается завести Б., но Б. не реагирует, он с завистью вдыхает воздух беззаботности бывшей имперской столицы.

– Провалиться бы им, – наконец говорит он с беззлой завистью.

– Не жалко?

– Жалко, – признается Б.

А., съевший порцию сосисок с пивом, заявил, что желает скопировать все это в Тель-Авиве, не исключая некошерных сосисок.

– Если строить в Тель-Авиве Вену, непременно получится китч, – возразил Б.

– Ну почему же? – не соглашается Я. – Если внести в барокко технологию и насмешку, то вполне может получиться нечто своеобразное, – говорит он. – Я представляю себе площадь в Тель-Авиве, где на фасаде роскошного барочного здания каждый вечер в 19:00 на балкончики выезжают привязанные к настоящим американским электрическим стульям настоящие музыканты и исполняют настоящие скрипичные сонаты Бетховена. А напротив барочное здание в виде картинной рамы, в которой лазерным лучом во всю стену – сменяются картины Вермеера. А посреди площади – бронзовая статуя Бен-Гуриона, произносящего страстную сионистскую речь, стоя в стремнах вставшего на дыбы лошака или мула.

Кнессету Инженерных Наклонностей мысль усадить всех музыкантов на электрические стулья кажется забавной.

– В этом есть некий символ, – говорит Б. – В порыве умиления мы усаживаем свое прошлое на электрический стул.

Когда они разглядывают чумную колонну, поставленную в память об эпидемии в Вене, Б. вспоминает о похожей колонне в Линце.

– Та поставлена в благодарность за то, что чума миновала Линц, – говорит он.

– Хотя ее можно рассматривать и как символ чумы, как раз оттуда и вышедшей.

– Поговори об этом с Соседями, – предлагает ему Я., – они скажут, что именно эта, венская, колонна является символом настоящей чумы. Ведь именно в Вене Герцль издал свою программную книжицу – “Еврейское Государство”.

– Надо бы приставить к колонне охрану, – забеспокоился В.

– Накаркаешь, – нахмурилась Котеночек.

Когда вечером они приходят в отель, Я. выливает воду из чайника в раковину, а пакетики чая достает из чемодана. Баронесса смотрит на него вопросительно.

– Я оставил на умывальнике крем для бритья с ивритской этикеткой – воду могли отравить.

– Кто? О нашем приезде никому не известно. – Баронесса чувствует, что тут затевается для нее какой-то спектакль, и уж во всяком случае, она не намерена его срывать.

– Обслуживающий персонал отеля может быть родом с Ближнего Востока и испытывать к нам негативные чувства.

– Этого даже для Б. многовато. Я видела горничную в другом конце коридора, она по виду коренная австриячка.

– А, тогда все в порядке.

– Австрийским немцам ты доверяешь? – подыгрывает она, улыбаясь, но Я. вдруг становится серьезным.

– Знаешь, тут напрашивается что-то смешное, вроде “без приказа и чувства долга они нас ни за что не отравят”, а сейчас и чувства нет, и приказывать никому. Но я все время пытаюсь понять по их глазам – что там, за вежливостью, за усталостью, за “да отвяжитесь вы от меня, я хочу жить своей жизнью”. Должен быть там какой-то мощный образующий пласт.

– И ты разглядел его?

– Иногда мне кажется, что да.

– И?

– “Вы нас никакой силой во второй раз в то же дерьмо не затянете”!

– Не так уж мало, – смеется Баронесса.

– Пожалуй, – теперь смеется и Я.

Наутро что-то уж очень долго возится он в ванной. Баронесса застаёт его разглядывающим себя в увеличительном зеркале для бритья.

– Нигде больше не видел таких зеркал в гостиницах, – говорит он.

Баронесса тоже заглядывает из-за его плеча в зеркало, но тут же исчезает из его увеличенного мира. Я. же пускается в объяснения, продолжая смотреть на себя в зеркало. Видимо, точно такое зеркало, принадлежавшее раньше ее отцу, говорит он, использовала учительница музыки для хирургического расширения нижнего входа в свой внутренний мир. Нечто подобное происходит сейчас со мной. Баронесса насторожилась. В этом зеркале, продолжал Я., мое лицо крупнее и значительнее. В нем я чувствую себя немецким евреем. И знаешь, я сразу же многое понял. Глядя в это зеркало, я мог бы написать четыре толстенных тома, пересказывая беседу Иова с ненавистным ему Богом, этим супергоем, устроившим ему Холокост. Господи, как же нужно было его ненавидеть, чтобы все это выдержать, не выдав себя. Чтобы не навлечь его гнева на свое будущее потомство. Напрасно. Бог послал к его потомкам своего Сына, прекрасно зная, чем все закончится, то есть что Сын-то его воскреснет, как ни в чем не бывало, а об участии миллионов, убитых его именем (не только евреев) нет до сих пор достоверных сведений. Я вижу, как позже послал Он в соблазн немецким евреям поэта Гейне. Как, повторяясь в искусстве соблазна, отправил он евреям русским поэта Пастернака, наделив его поэтическим дарованием и стремлением укрыться в тени Сына Его, чьи ученики в это время истребляли друг друга посредством пушек и газов. К нам, впервые понявшим Его Отца, поэт Пастернак обращается с недоуменным пожиманием плеч. Обращается с удивлением: как не поняли мы Его дара свободы и любви, как не сумели сменить кожу так, чтобы самим искренне и глубоко чувствовать этот великий душевный подъем, когда старая шелуха летит в огонь, а вновь надеваемая оболочка шита из снежных хлопьев и чудных стихов. Увы, грустный юмор у нас от Создателя. Поэт умрет, выпоротый на конюшне новым Хозяином – Лысым Энтузиастом. Гениальность чеховского видения мира проявляется в судьбе Пастернака, повторяющей сюжет “Скрипки Ротшильда”. Вот только у Чехова тощего жида сначала прогоняют со двора, его преследуют мальчишки и кусает собака. И лишь в конце рассказа ему завещают скрипку. И он, повторяя печальную музыку своего гонителя, трогает ею сердца городских обывателей. Реальной жизни не присуще чеховское мастерство композиции, историю с Пастернаком она komponует в обратном порядке: начинается с поэзии, заканчивает поркой. Набоков пожалел Пастернака, не сказав во время этой порки, что он думает о его романе. Они родились в одной стране, а умерли в разных. Набоков все потерял и все сохранил. Он родился и умер никогда не поротым русским аристократом. Он родился и умер, так никогда и не сбросив с плеч груза свободы.

Баронесса суеверно отвернула зеркало к кафельной стене ванной, и Я. сразу замолчал.

Он обнял ее, что-то мистическое почудилось обоим в этом закованном в зеркала и кафель пространстве, таком тесном по сравнению с простором туалетных комнат их дома, такого далекого отсюда. Будто сквозь потолок ванной комнаты венской гостиницы они обратили свои взоры вверх. Для чего же еще дана нам свобода, если не для того, чтобы роптать. Ведь по образу своему и подобию Ты не создал нас рабами, возносили они Туда свои оправдания, не произнося ни слова и глядя в гипсовый потолок со встроенными лампами с круглыми никелированными ободками.

На следующий день они отправляются по предложению Я. в район Йозефштадт, охотничьи угодья и заповедник пианистки. Идея навестить Йозефштадт оказалась удачной. Видимо, великая тень притягивает сюда собак и их владельцев для откладывания драгоценного материала. Я. отмечает странную особенность: в кварталах, где дома с лепниной, – удобрений больше. Там же, где стены домов гладкие, – культурный клад вовсе отсутствует. Прочесывая Йозефштадт, где Я. постоянно озирается в поисках заветных теней, они добираются до границы квартала.

– Давайте посмотрим, что за ним, – предлагает Я.

– Давайте, – соглашается компания, и только В., которому тянуть за собой почти полную сумку, не проявляет энтузиазма.

Хотя район, в который они вступают, носит, судя по карте, весьма австро-австрийское имя, Рудольфсхейм-Фюнфхауз, резкая смена декораций бросается им в глаза. Безлюдность улиц Йозефштадта вдруг сменяется многолюдьем, австрийцы резко сменили свой внешний облик, заметно посмуглев, помолодев и обзаведясь усами. Кое-где на улицах стояли в бездействии в этот неурочный день и час ржавые прилавки с прислоненными к ним изглоданными крышками и досками. Вместо ставшей привычной для них надписи Wien перед их изумленным взором возникла светящаяся реклама со словом Istanbul.

– Сегрегация по-венски, – комментирует Б.

– Многокультурное общество, – поправляет его Котеночек, – не запретишь же людям снимать жилье там, где они хотят.

– Такое впечатление, что сейчас из-за угла появится разгневанная толпа, несущая на носилках не успевшего взорвать себя подстреленного шахида, – заявляет Б.

– Пошли отсюда, – говорит Баронесса, становясь ближе к Я., а он любуется ею – боже, как хороши испуганные женщины. Котеночек, наоборот, поднимает голову и подтягивается, А. выглядит напряженным, и только В. равнодушно зеваает.

– Как не стыдно, – упрекает Я. – Турки – наши друзья и союзники. В пятнадцатом-шестнадцатом веках евреи бежали в Турцию от преследований европейцев, и турки приветливо принимали их.

– Я. прав, – говорит Б., – специализация турок не евреи, а армяне. В твоей внешности, пожалуй, есть что-то армянское, – добавляет он, задумчиво глядя на Я.

Баронесса теперь уже почти насильно тянет Я. назад в Австрию.

– Эта нарядная Вена всего семьдесят лет назад с энтузиазмом встречала фюрера, он родом из Линца, – не унимается Я.

– Если бы в шестнадцатом или семнадцатом веках туркам все же удалось бы взять Вену, Гитлер, вполне возможно, родился бы мусульманином, – усугубляет Б.

– О Господи, – стонет Баронесса, ускоряя шаг.

Компания, увлекаемая Баронессой, ретируется под защиту вымершей австрийской династии Габсбургов, назад, в богатый культурными ценностями район Йозефштадт. Лица австрийцев, хоть они почти не встречаются на улицах, все же, попадаясь, успокаивают Баронессу. Как ни силится разгоряченный очевидной несправедливостью Я., но и он не может найти в них ни малейшего следа угрозы. Слово в подтверждение, около Я., развернувшего карту Вены, останавливается средних лет австриячка.

– Вам помочь? – спрашивает она.

– We are OK! Thank you, – отвечает ей Я.

– Вы что-нибудь ищете?

– Район Йозефштадт.

– Вы в нем. Что интересного в Йозефштадте?

– Die Klavierspielerin, – отвечает ей Я. по-немецки.

– А, Елинек, – говорит женщина.

– She is a genius writer, – произносит Я., готовый вступить в спор.

– Я-я, – говорит женщина и машет им на прощание рукой.

Перед отлетом, как выяснилось, Б. оставил на ступенях городской ратуши, вонзавшей в ночное венское небо освещенные шпили, невнятное письмо. В нем он в туманных выражениях, которые, по его мнению, должны были затушевать несомненную заинтересованность пишущего, предлагал создать денежный фонд для постройки

новой чумной колонны в городе Вене для предотвращения новой вспышки ужасной болезни. Крайне осторожно намекая на некое прошлое, он призывал венцев в будущем не оставаться сторонними наблюдателями на карнавале мировой истории, а способствовать продвижению идей свободы и человеколюбия. Б. тактично не указал в своем послании, кто именно эти качества олицетворяет в современном мире и откуда нужно опасаться прихода чумы.

Я. к этой затее отнесся скептически. Хватит с них Герцля, говорит он Б. Они заперлись в крепости, ты их оттуда не выманишь, да и стоит ли? Такой чудный заповедник послевоенного отрезвления или, наоборот, опьянения. И нам они не читают моралей.

В Тель-Авив компания отправилась ранним утром. Здесь им вряд ли кто-то поможет. Они высадились у парка Яркон. Как и в Вене, В. катил раскрытую сумку, а остальные, набирая из нее пригоршнями драгоценные удобрения, широкими жестами сеятелей разбрасывали их по зеленой траве парка. Теперь оставалось только ждать, пройдет ли по парку учительница музыки, зазвучат ли в Тель-Авиве дивные звуки.

КОКТЕЙЛЬ Е.Е.

– Если в чешское пиво, произведенное в Австрии, добавить небольшую долю еврейской водки “Кеглевич”, – начал В., – то результат получается дивный. Этот коктейль нам всем знаком как “Коктейль Е.”. Меня посетила мысль, а что, если в “Коктейль Е.” добавить водки “Русский стандарт”, и назвать этот напиток “Коктейль Е.Е.”?

Баронесса с испугом обернулась к А., и точно, он уже обтирал пену со рта и готовился к речи.

– Живодер, вивисектор, – шепнула Котеночек смущенному В.

– Ренессанс восточной культуры в Еврейском Государстве должен быть немедленно приостановлен и прекращен, – начал вещать А. – Так же, как мы под корень разделились с местечковой культурой остн-юден, так выходцы из всех Соседистанов должны с корнем вырвать этот национальный позор. Ну, посудите сами, что это за песня:

“Вен их нем а биселе яш, ой! ой!”

В этой песне пригубленный наперсток водки выглядит подвигом, как оборона Масады. С наперстком водки разве можно оборонять Голанские высоты? А восточная музыка? Вот если бежать на осле с поля боя с Голанских высот, то модуляции в пении возникнут сами собою, а тягучести разве что помогут ослу благополучно опорожниться. То ли дело бравая европейская музыка...

– Пожалуйста, не надо, – попросила Баронесса.

– Ладно, – проявил покладистость А. и продолжил, – любая национальная культура и так на девяносто пять процентов состоит из других культур, и только пять процентов составляют ее собственный неповторимый аромат. И раз так, то я ж-желаю (так и сказал: “ж-желаю”), чтобы эти девяносто пять процентов были набраны из лучших образцов иноземного ассортимента – американская экономика, европейское искусство, борьба с преступностью по-сталински. “Вор должен сидеть в тюрьме”. – А. опустил пивную кружку на стеклянный стол с таким грохотом, что Баронесса съежилась, а Я. поморщился.

– Явный перебор с “Русским стандартом”, – тихо заметила Котеночек.

– Да, – сказал В., и глаза его пылали исследовательским огнем. – Чуть меньше “Русского стандарта”, зато добавить итальянской граппы. Борьбы с преступностью по Муссолини, думаю, будет достаточно, даже слишком.

– Еврейская культура должна впитать все, – поднял голос А. и хотел еще раз стукнуть кружкой по столу, но, на сей раз, Б. был наготове и придержал его руку, – принять все лучшее, что есть в мировой культуре, и сделать еще один шаг вперед, как нам всегда и везде удавалось! Почти что, – подумав, добавил он, сбавив тон.

– Ва-у, – очарованно зашептал В. – а что с граппой-то будет! Куда Риму будет до Петах-Тиквы? А в Тель-Авиве – собор святого Петра вместо Дворца Культуры, ну не Петра, конечно, а Моисея.

– Так! Какие компоненты нужны? Напомни, пожалуйста, я записываю, – обратилась Котеночек к В., собираясь в супермаркет.

– Ты что, тоже выпьешь эту гадость? – восхищенно спросила ее Баронесса.

– Чего не сделаешь для родины! – возвышенно ответила Котеночек.

– Я думаю, – сказал Я., – что понимаю теперь, почему всегда любил антисемитскую литературу. Ведь самое страшное в человеческом общении – это когда тебя игнорируют, третируют, не замечают. Когда ты не интересен. А в настоящей антисемитской литературе я чувствовал себя героем. Там мне приписывались такие необыкновенные качества, какие, если рассеять фимиам и посмотреть на себя в зеркало, мне трудно в себе отыскать. Наоборот, когда я слушал своих защитников, мне казалось, что они сейчас отойдут за угол и плюнут. Я люблю антисемита за то, что он меня возвышает. Многие из них, я это чувствовал, испытывали глубокую потребность объяснить мне свое чувство, отчитаться мне в нем, но сдерживались. И каждый раз мне хотелось заплакать и броситься им на шею со слезами. А уж они бы тогда точно зарыдали. Они испытали бы такой катарсис, что готовы были бы откусить себе крайнюю плоть. Слава Богу, природа этого не позволяет, и я, конечно, тоже не дал бы такому случиться. “Не надо, – сказал бы я, – в этом нет никакой необходимости. Я вам и так верю”. Антисемиты, как правило, люди с тонкой организацией души, ранимые и чувствительные, которых в детстве обидело равнодушие какой-нибудь жидовской сволочи. А людей, которые бы не заслуживали внимания, не существует в природе. Они все безумно интересны. Вот и я интересен антисемиту, и потому он мною нежно любим.

ЧЕРТ ПОБЕРИ! ОПЯТЬ СНЫ

Да, Я. снова снятся сны. Беседы, посвященные национальной идее и ведшиеся поздним вечером, рождают в нем ночью вещие сны. В тесном дворе, в котором скопилось немало людей, где кто-то по ошибке закрыл массивные чугунные ворота, разезжает сама по себе какая-то тяжелая строительная машина, кажется, экскаватор. Он вертится на гусеницах, манипулирует ковшем с редкой расческой на конце, поднимает и опускает к самой земле поблескивающее голый сталью лезвие бульдозерного отвала. Люди бегают по двору как зайцы.

Я. вскакивает в кабину, дергает рычаги, в которых ничего не смыслит, и видит, как тяжелая клешня опустилась на чью-то голову, а отвал прижал человека к стене. С ужасом понимает Я., что, дергая без толку рычаги, он стал соучастником преступления. Но вот наконец кто-то распаивает ворота, уцелевшие люди бегут и он с ними. Его никто не ищет и не обвиняет, но ему теперь всю жизнь придется молчать и утаивать свое ужасное прошлое, а ведь до сих пор ему нечего было скрывать.

От этих размышлений он не просыпается, и вскоре, хотя во сне тяжело определять временные промежутки, перед ним появляется Веничка, прилегший на панцирную кровать в одежде, и, опершись на локоть, интересуется:

– Все забываю спросить, ну как тебе там?

– Нормально, – отвечает Я.

– Не писаешься теперь по ночам от своих комплексов?

– Нет, не писаюсь, – отвечает Я. И все же, подумав, жалуется: – Знаешь, в своей прошлой жизни там, у вас, я пару раз проделывал мысленный эксперимент. Я воображал, что моему приятелю ночью приснился сон, будто он еврей. И представлял себе, как он просыпается в холодном поту. И знаешь, в этом эксперименте была для меня некая сладость. Здесь же меня, особенно в первые годы, мучил кошмар, что я, забывшись, ляпну что-нибудь лишнее о России и задену совершенно зря приличного человека из ваших.

Веничка откинулся на подушку и едва ногами не взбрыкнул от хохота.

– Теперь понимаешь, говнюк, сколько ты нам доставлял неудобств?

– Понимаю, – сказал Я. виновато и проснулся.

Едва приоткрыв глаза, он различил занесенную над самым ухом ладонь с соединенными вместе пальцами, но, не успев еще рвануться в сторону, понял, что это только скомканный угол одеяла.

ПИСЬМО Б.

Я. ошибался или, вернее, ошибался кто-то другой, а именно некто, пишущий эти строки, полагавший, что сны Я. навеяны вечерними беседами, посвященными национальной идее. Настоящая же причина была сверхъестественной и основывалась на связи, посредством которой между близкими людьми прогоняются потоки впечатлений и мыслей каналами и средствами, о которых человечеству еще предстоит узнать. В этот вечер Б. сочинял письмо своей младшей сестре, в котором описывал происшествия прошедшего дня, собираясь по окончании сочинения отправить свое послание в Миннеаполис, штат Миннесота, электронной почтой.

Выполнив свое намерение и поставив последнюю точку около полуночи в субботу на 34-м меридиане, Б. сделал попытку вычислить: возможно ли, что его сестра на бог знает какой долготе Миннеаполиса, где сейчас то ли на 9, то ли на 10 часов меньше, заглянет в E-mail, и стоит ли ему подождать ее отклика? Нажав кнопку "Send", он решил, что не стоит, и в этот самый момент его сообщение раздвоилось на электронную и неизученную составляющие. Электронная двинулась через серверы в Миннеаполис, а неизученная потекла в сны Я.

В своем письме Б. писал: "Сегодня утром я был на пикнике со своими бывшими сотрудниками по фирме NN. Как человек, озабоченный национальной идеей, я и здесь старался не упустить возможность произвести какие-нибудь наблюдения, которые послужили бы углублению моих знаний в этом вопросе. Конечно же, в таких собраниях сильнее всего сентимент старой дружбы и общего прошлого. Но, даже мысленно вычтя его, в этой смешанной еврейско-русской компании (были мужья и жены), я не сумел выделить двух различных национальных потоков. Разница между людьми, не исключая меня самого, вся явно укладывалась в допуск различий человеческих характеров. Ты можешь подумать, что все эти тарелочки с салатиками, шутки и стаканы с вином, которые передавались и гуляли вдоль стола, застили мне глаза и заставляли видеть только такт и даже нежность общения. Но ведь так и было. И мне на какой-то миг стало неловко за свой сионский энтузиазм. (Я называет его сионо-сионистским, я тебе писал, откуда это взялось.) Вернувшись домой, поспав и посмотрев здешние новости, я прошелся по другим каналам и остановился на одном из российских, по которому показывали вечер, посвященный давно умершему кинорежиссеру. В зале и на сцене было много знакомых лиц, хотя не всех я сразу узнал, а когда узнал, почувствовал, как много прошло времени с тех пор, когда я видел их в последний раз. Но постепенно, по мере того как я смотрел эту передачу, плотное дыхание благоговения, стилизованных и настоящих молитв, спазмов в горле, секущихся от волнения речей, святости двойной перегонки, едва ли не жертвенного блеска в глазах (люди там были культурные, как Леннон когда-то просил задние ряды хлопнуть в ладоши, а передние потрясти бриллиантами, так сидящих в зале можно было попросить погрометь культурой), вся эта вакханалия благородства и святости нагнала на меня такого ужаса и такой тоски, что я выключил телевизор и улегся читать набоковского "Николая Гоголя". Набоков, как всегда, быстро меня успокоил и вернул чувство реальности. И тут я вдруг почувствовал облегчение, потому что понял, что я ведь было уже почти поверил, что все эти троцкие, все это еврейское дерьмо, которое плавало и вращалось на поверхности русского водоворота во времена юности большевизма могли быть и одной из причин этого самого водоворота. И еще, вспомнив роскошную тихую пастораль сегодняшнего утра, я вдруг словно услышал крик Набокова, рвущийся из его прозы, зовущий не судить огульно о русских по творящемуся в России безумию. И это показалось мне таким близким и похожим на тоску Иосифа Флавия, тоже потомка блестящего рода, которого безумный водоворот в Иудее превратил в изгоя, предателя, изгнанника. Конечно же, на совести Набокова, имеющего преимущество в два тысячелетия человеческого опыта, нет преступлений, несомненно, во множестве совершенных флавием. И все же эта параллель запала мне в голову, и своим открытием мне захотелось с кем-нибудь поделиться.

А у нас теперь на весь период с конца октября и примерно до середины апреля установится роскошная погода. Приезжай. Съездим опять и на север, и на юг, благо наш север, как тебе хорошо известно, удален от юга не слишком далеко.

Пока.

Б."

МИРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В. ПЛАН ВТОРОЙ – ДУБИНА НАРОДНОЙ ВОЙНЫ

Неразрешимость ближневосточного конфликта как военными методами (о чем неустанно твердили Дети Вудстока), так и политическими (что они же доказали на практике), представлялась Кнессету Зеленого Дивана к этому моменту вполне очевидной. Оригинальный, спортивно-оздоровительный метод выхода из положения был предложен Соседями. Заключался он в том, чтобы по стартовой очереди из автомата Калашникова евреи ринулись бы в массовый заплыв к берегам Европы, откуда они и прибыли (те, что посильнее, могут плыть и в Америку), а оздоровление Ближнего Востока наступит само собой просто в результате их, евреев, отсутствия. "Смотрите, в какой рай превратилась Европа без евреев", – говорят Соседи.

Благородная Европа требует разъяснений. "Плыть – не значит доплыть", – отвечают и подмигивают Соседи.

Беседа с европейцами, прибывшими в составе делегации Европарламента с официальным визитом в Кнессет Зеленого Дивана для продвижения на Ближнем

Востоке идей многокультурного общества, натолкнула В. на мысль о возможной эффективности ниже изложенных им принципов народной дипломатии. Представление было коротким.

- А.
- Уильям.
- Б.
- Жан-Жак.
- В.

- Марко, Марко М., - зачем-то уточнил фамилию итальянец (видимо, потому, что имя Марко может носить и югослав, решил В.).

- Какие методы разрешения конфликта использовались до сих пор? - поинтересовался Марко.

В., специалист Кнессета по военным вопросам, изложил.

- Так нельзя, - пошутил Уильям.

- Конечно нельзя, - подтвердил Жан-Жак, - но можно ли уточнить, как именно нельзя, - добавил он и приготовился записывать, раскрыв тетрадку в клеточку.

- Нет, нет, - возразил Марко, - что было, то было. Существуют более элегантные методы ведения борьбы. Выигрывать учитесь у нас, - сказал он, и Жан-Жак заметно напрягся.

- О чем они? - недоуменно переглянулись Баронесса с Котеночком.

- Все непонятное в жизни мужчин как-то связано с футболом, - предположила догадливая Баронесса.

Собственно, остальное в этой встрече было неважно и представляло собой обычный набор любезностей и вежливых несогласий друг с другом. Важно же было то, что именно с этой точки заработала творческая мысль В. Да еще как! На следующее заседание Кнессета он пришел с готовым планом, который сам назвал "Новой мирной инициативой".

- Правительство, связанное различного рода конвенциями, должно отойти в сторону, - излагал он. - За дело должен взяться народ. Народ против народа - это справедливо и пропорционально. Народ мы небольшой, значит, и симпатии европейцев нам обеспечены.

- Начать нужно со "стихийного" формирования 1-й партизанской бригады Сдерота, - это нетрудно. Следом за этим вокруг полосы Газы нужно насадить дремучий лес, - утверждал В. - Что за партизанская война без дремучего леса? План всеобщего озеленения Ближнего Востока разработан давным-давно Вечно Великим. Деньги на эту цель не так трудно будет раздобыть у Организации Объединенных Наций и Евросоюза. "Аппарат искусственного дыхания Газы" - такое название можно будет дать новому лесу. Затем нужно выкопать партизанские землянки. Это гораздо более надежные жилища, чем те, в которых живут сейчас сдеротцы. Таким образом, 1-я партизанская бригада будет выдвинута на боевые позиции без всяких международных скандалов. Традиционная задача партизан - пускать под откос поезда с боеприпасами и живой силой противника - теряет смысл в местных условиях из-за отсутствия у противника железнодорожного сообщения. Как известно, живая сила противника в основном бегают по улицам толпами, а боеприпасы носит на себе.

Истинные цели партизанской войны скрыть невозможно, но вот методы ее ведения нужно засекретить. Основную роль здесь играет отдел дезинформации, который возьмет на себя Котеночек. Она после жесткой торговли с противником продаст им за немалые (персидские) деньги карты расположения боеприпасов на партизанских базах леса Искусственного Дыхания Газы. Соседи тут же начнут рыть туннели под Газой к этим оружейным складам. Средства на рытье туннелей для переброски оружия изыщут сами Соседи из пожертвований их собственных соседи-сионистских организаций. Стоит подбросить им идею объявить о строительстве метро в полосу Газы, и тогда можно наверняка рассчитывать на европейскую гуманитарную помощь. Для хранения оружия нужны прочные блиндажи. В условиях партизанской войны, известное дело, строят их из толстых бревен. При тайном персидском финансировании большая часть Соседей будет занята на рубке леса. Когда бревен и подземных ходов под Газой будет достаточно, наступит решающий этап операции.

В., похоже, намеренно закашлялся, стараясь потянуть время и тем усилить эффект. Напряжение висело в воздухе Кнессета, как рука шахида на пути к кнопке. Откашлявшись, В. продолжил:

- В один прекрасный день все средства массовой информации Еврейского Государства объявят об аресте Котеночка по подозрению в шпионаже. Из предосторожности соседские лесорубы вернутся из леса, соседские землекопы поднимутся на поверхность. В это время партизаны начнут срочно разбирать блиндажи, вязать из них плоты и закладывать их в прорытые туннели полосы Газы. Тут пригодятся средства, полученные Котеночком за "измену". CNN покажет кадры, отснятые ими в аэропорту Вены, - на борт самолета поднимается группа мужчин с одинаковыми нотными папками.

Тут уж сообразительные Соседи все поймут, – пояснил В. – Еще немного, и признания будут добыты у Котеночка следователями, против которых она не сможет устоять. Соседи, не дожидаясь разоблачения, откроют ураганный огонь из всех “касамов” и, вследствие этого на собственной реактивной тяге сначала сдвинутся, а потом и вовсе отчалият всей полосой Газы на деревянных плотах в открытое Средиземное море.

– Кибенимат! – не сдержал возбуждения В., переходя на разговорный иврит. Часть жителей Еврейского Государства полагают, что это эмоциональное выражение пришло в иврит из арабского фольклора, другие выводят его из Нового Завета.

Кнессет Зеленого Дивана восхищен сметкой В., проявившейся не только в продуманном оперативном-тактическом планировании, но и в предусмотрительном изыскании источников финансирования для осуществления всех этапов операции, что, безусловно, является большим плюсом во всяком плане.

– Ни о каком насильственном перемещении лиц здесь не может быть и речи. Добровольный характер отплытия будет очевиден даже для Организации Объединенных Наций, – отметил Б.

Но оказалось, что и это не все. В. предусмотрел и дальнейшее устройство образовавшейся водной акватории.

– На освобожденном месте следует устроить огороженный заповедник белых акул для сохранения экологического баланса, – говорит он. – Это поможет и в сохранении баланса угроз Еврейскому Государству, без которых оно может погибнуть от внутренних междоусобиц, среди которых я бы выделил лишь наиболее очевидные и опасные:

- свинья и курица;
 - восточная музыка и фуги Баха;
 - черные шляпы и многоцветные знамена, да мало ли, – вздохнул В.
- Он мудр и прозорлив, этот В., признал Кнессет Зеленого Дивана.

МИРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В. ПЛАН ТРЕТИЙ – ДВА БЕРЕГА ТЕМЗЫ

– Троянский конь – не наше оружие, – заявил В. – Все говорят “ах, греки, ах греки...” Греческая история началась с гражданской войны из-за бабы и закончилась кражей нашего Бога. Нечему нам у них учиться. Наши военные приемы мы должны основывать на наших национальных традициях. Мы должны использовать, – продолжил он, – овечью шкуру – испытанное оружие нашей праматери Рахили в соперничестве с Исавом за сферы влияния. Итак, я заворачиваюсь в овечью шкуру, а Котеночка объявляю своей сестрой, как Авраам Сару, чтобы мне в этой овечьей шкуре не угодить сразу под нож.

– В Книге – не овечья шкура, а козья, – уточнил А.

– В козьей сам пойдешь, – неучтиво огрызнулся В.

– После скандала с картами боеприпасов не поверят, – заметил Я., – сразу заподозрят, что Котеночек – твоя жена.

Сказал и прикусил язык, потому что лицо В. удлинилось, а Котеночек стала смотреть в потолок.

– Да, пожалуй, этот план не очень хорош, – сказал В. – А хоть бы и поверили, что сестра, – Котеночка я и за родину не отдам.

Котеночек перестала смотреть в потолок, и взглянула на В., как показалось присутствующим, не без нежности.

Б. рассмеялся.

– Взгляды Авраама на институт брака были, как выясняется, шире и либеральнее нынешних, – заметил он.

На самом деле, и его патриотические чувства нисколько не задеты заявлением В.

– Кто не готов предать женщину, не предаст и родину, – продолжает он вышучивать В.

Насмешки Б. действуют странным образом – теперь не только Котеночек, но и Баронесса смотрит на В. с гордостью, как на государственный флаг Еврейского Государства при исполнении его печального гимна.

– Есть еще путь Иисуса Навина – дорога меча и разрушающего стены шофара, – сказал В., но члены Кнессета замахали на него руками.

– Геноцид первой степени и расизм чистой воды, – сказал Я. – Сколько бы мы ни ссылались на божью волю, большая часть христианского мира к ней, как всегда, останется равнодушной. Акустический метод борьбы, правда не шофарами, а преодолением звукового барьера самолетами F-16 над домами Соседей, многократно испытан и ведет лишь к тому, что у них среди ночи сыплются стекла из окон и они выходят на интифадку сверхурочно, помимо обычного расписания. Нам только и хуже.

– Помните, Лаван подсунул Иакову в первую брачную ночь Лию вместо Рахили, – сказала Баронесса.

“Почему женщины запоминают из Книги именно эти места?” – подумал Я.

– Этим Соседей не проведешь, – заметил Б., – эту подмену они практикуют и сами, обещая небесных девственниц земным шахидам.

– А что там было насчет крапчатого скота, манипуляциями с которым Иаков обвел вокруг пальца Лавана? – вспомнил законопослушный А.

– И вовсе не обвел вокруг пальца, – ответил Б. – Иаков, будучи подлинным отцом современной генетики, воспользовался своими познаниями в этой области и предложил Лавану произвести дележ скота таким образом, чтобы Иакову достался скот с пятнами, а Лавану – однотонный. Лаван согласился. Тут-то и продемонстрировал Иаков, насколько разумнее работать в хай-теке, чем, например, на телевидении. Он разложил перед баранами ветки, на которых кольцами срезал кору до белизны. Получилось что-то вроде жезлов, которыми полицейские регулировщики путают водителей, когда светофор не работает. Бараны тоже запутались, занимаясь сексом и глядя одновременно на эту пестроту, отчего скот рождался пестрым, а Иаков становился богаче.

– В случае с Соседями пробовали, не помогло, – мрачно сказал Я., – им постоянно крутят голливудские фильмы, а они все равно рожают шахидов.

– Пойдите, – не сдается Б., – а помните, что было дальше? Иаков возвращается в землю ханаанскую со своим пестрым стадом и думает, как бы ему избежать гнева Исава, обманутого им в юности. В этом эпизоде он постмодернистскую изоционность генетики элегантно чередует с таким традиционным приемом, каковым является обыкновенный подкуп: он высылает впереди себя стада-взятки в подарок Исаву. Обратите внимание, он высылает не одно стадо, а несколько, то есть он не дает одноразовую крупную взятку, а превращает коррупцию в стиль жизни. И таким образом приходит в Шхем.

– Опять не работает, – Я. сегодня мрачен, – Солдат умасливал частями, Генерал-пианист пытался сунуть в лапу по-крупному, и вот, где мы сейчас?

– Движемся дальше, – сказал Б., – в Шхеме любопытство единственной дочери Иакова (Я. назидательно посмотрел на Баронессу) закончилось сначала всеобщим обрезанием шхемцев, а затем и тотальным избиением ослабевших от этого акта аборигенов.

– Хватит вмешивать в дело женщин, – неожиданно решительно заявил В., и никто не решился ему возразить, даже сами женщины.

– Ничего не получается, – резюмировал Я. – Две тысячи лет скитаний среди квадратноголовых европейцев лишили нас силы воображения. Мы недостойны своих праотцев. Северная полоса реки Темзы, как и южная ее полоса, останутся Лондоном, а земли Иуды и Биньямина останутся, видимо, Западным берегом реки Иордан, не говоря уж о заиорданских землях Рувима и Гада.

Кнессет обеспокоен мрачностью Я. Он сегодня просто не в духе, предполагает Кнессет. Споры возникают относительно способов вывода Я. из этого состояния. Котенок предлагает таблетки, А. – свежий воздух и растительную пищу, Б. – полюбоваться женщинами на набережной, а В. – вместе пробежаться утром километров шесть-семь. И только Баронесса ничего не предлагает, хотя уж ей, казалось бы, и карты в руки.

О ПОЛЬЗЕ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Жизнь дается нам в настроениях. Из всех настроений лучшее – оптимистическое. Это как-то связано с солнцем. Солнце испаряет наши мрачные и влажные мысли. Золото стало золотом еще и потому, что напоминает солнце. Золотые монеты стали круглыми по той же причине (квадратные монеты легче в изготовлении, из них удобнее складывать золотые небоскребы). Проснувшись оттого, что солнце заглянуло в ваш темный до того сон, вы сердитесь притворно и, задвинув жалюзи, улыбаетесь тому, что оно теперь ждет вас, думая, что вы обижены и не видит вашей усмешки. Поэтому вы приоткрываете жалюзи и сообщаете ему сонной улыбкой – все в порядке.

Что-то больно нас высоко занесло под настроение – к самому солнцу. Опустимся низко. Низко, низко. Ниже некуда. Ведь как, в самом деле, все зависит от настроения. Ведь вот под хорошее настроение даже поход в ванно-туалетную комнату – счастье. Вот в этой – с унитаза видно небо, а в другой – можно скорчить самому себе в зеркале рожу, а в третьей – не видишь ни своей физиономии, ни неба и, значит, можно погрузиться в глубочайшие размышления. А если вы настолько состоятельны, что у вас три ванно-туалетных комнаты в доме, то вы можете наслаждаться своей значимостью и свободой и ходить из одной в другую, в одной на небо посмотришь, в другой рожу скорчишь, в третьей погрузишься в размышления.

В счастливом настроении впечатлительные женщины иногда плачут. Но это ерунда, женские слезы – вода. Больше плачут – меньше писают, говорят воспитательницы в детских садах. Обратите внимание, сказал однажды Я. членам Кнессета, в романах

госпожи Е. героини чего только не проделывают, чего только с ними не проделывают. Но они никогда не плачут (или я не все читал?). И именно оттого, что они совсем не плачут, именно от этого они так много пишут.

В хорошем настроении вы радуется всему. Перечень банальностей вы легко составите сами – всякий там блеск моря, о котором говорят буддисты, что бог в каждом из нас, как солнечные блики в каждой волне, улыбка ребенка (и вот уже потекли счастливые женские слезы, а значит, в Генисаретском озере останется на один туалетный бачок больше воды) и т. д. и т. п. В хорошем настроении даже неразрешимость ближневосточного конфликта вызывает радостное чувство. Ну в самом деле, ведь если просто прийти к компромиссу и разделить, то слезы высохнут, а значит, высохнет и Генисаретское озеро, и мы с вами, как Он, пройдемся в резиновых сапогах по грязной луже, и из мира исчезнут не только святость и чудо, но и желание жить и побеждать. Можно создать многокультурное общество, в котором не бывает скучно (об этом у нас уже столько говорено!), а можно устроить переучет прав и долгов. Мнение о том, что правовое общество существует на Западе, глубоко ошибочно. На Западе общество – компромиссное, и оттого в нем так скучно. Термин “правовое общество” относится исключительно к Востоку, утверждаем мы. Ведь именно на Востоке люди знают свои права. Мы обязательно сюда вернемся, говорят нам Соседи и показывают ключ от того, что было там, где теперь стоит наш город. Вы поставили свой Купол на той горе, где стоял наш Единственный Храм, говорим мы и показываем на Нашу Стену. Вы обязаны нам заплатить за наши страдания, говорят они нам. Вы в остатке страдания остались должны нам – за наши страдания, отвечаем мы. Мы все равно вернемся, говорят они. Не раньше, чем вернутся к жизни те ваши и наши, кто погиб в войнах из-за вашей несговорчивости, отвечаем мы. Но такие мелкие счеты – дело взрослых упрямцев. Жизнелюбивое юношество, как всегда, правовые вопросы решает молодым радикальным способом – либо вы, либо мы. К тому времени, когда повзрослеют и остепенятся эти юноши, подрастут в еще большем количестве новые. И бурная радость жизни снова затопит Ближний Восток. И будет сиять солнце, и будет блистать море, и родится воин, и, глядя на него, заплачет женщина. И не иссякнут воды Генисаретского озера!

ОДА ТЕЛЕВИЗОРУ

В отсутствие парламентариев Я. и Баронесса становятся просто семьей.

– Я совершенно не понимаю психологию неверных мужей, – начинает Я. хитро. – Ты их понимаешь? – спрашивает он Баронессу.

Она смеется и молчит.

– Не понимаю, – Я. продолжает дурачиться, – ведь чужие женщины – они такие чужие, в них все совершенно незнакомо, ничего не найдешь на привычном месте. “Не увлекайся”, – говорит Баронесса взглядом.

– На них бывает любопытно смотреть, – продолжает разглагольствовать Я. – но трогать их руками, нет, уж меня, по крайней мере, увольте. Зрелая любовь прекрасна, – заявляет Я. – В ней нет случайностей, ее лепит опытная рука мастера, знающего жизнь. Эта рука пройдет по глине и камню, не дрогнув, не ошибаясь. Баронесса смотрит на него вопросительно.

– Я голоден, – говорит Я.

Баронесса любит легкие супы, и один такой, по китайскому рецепту, бурлит сейчас в кастрюльной вселенной, где раскручена спиральная галактика разбитого яйца. В ней носятся по кругам и овалам кукурузные солнца. Легкий пар от кастрюльки принимает фильтр-уловитель, он гудит и светится на кухне, которую Я. и Баронесса спроектировали вместе, чем очень гордятся. Собственно от нее, от кухни, и разошелся по дому оливковый цвет, перекинувшись на зеленый диван и зеленоватого цвета спальню.

Как и у всех других, у них две жизни: одна – реальная, из которой они пытаются изгнать случайности и эксцессы, в которой страховки должны покрыть возможные убыли. Другую они проживают, опершись друг на друга и вместе на зеленый диван, глядя в ту сторону, где ими же поставлен своей светлой и плоской стороной к людям TV SANYO 28''. На деле телевизионные перипетии накатывают и отходят как морские волны, а случайности и эксцессы вторгаются в реальную жизнь.

Вот на канале истории нам рассказывают биографию Марка Твена. В ней все так по-человечески знакомо и привычно. Вот – полное забавных приключений детство, которое по мере отдаления от него представляется все более заманчивым и ярким. Вот – бурная молодость, напигованная безрассудствами. Вот – завоевания зрелости, а вот и отчаянные и безнадежные попытки выплыть из накапливающихся потерь и растущего одиночества. Ах, знал бы он, как часто “русский” легион вновь прибывших сионо-сионистов и кандидатов в сионо-сионисты, отправляя бодрые

письма родным, вспоминал рекомендованную им методику организации гастролей, когда первая половина города, посмотревшая спектакль заезжих артистов, горячо рекомендует его второй половине города. И лишь перед третьим спектаклем, на который приходит уже весь город с гнилыми помидорами и тухлыми яйцами, самозванным актерам нужно бежать, прихватив кассу. Но они так не сделали. Кто – в силу инерции, кто – в силу усталости, а другие скрыли от первых и вторых романтическую натуру. Их, этих третьих, было, как выяснилось, вовсе не так уж мало.

А в новостях появился на экране телевизора симпатичный террорист. Он устал от всего этого, говорит он, если бы его перестали преследовать, он стал бы учителем в школе. У вас есть странная иллюзия, отвечает ему Я., будто вы и в самом деле дети и вам, в конечном счете, по этой причине все простится, в том числе – смерть. Но это только иллюзия – смерть никогда не прощают. Ты можешь, если хочешь, стать учителем, но ты, скорее всего, опоздал.

А вот другой эпизод. Соседи помогли попавшим в автомобильную аварию еврейским солдатам, вытащили их из машины, вызвали “скорую помощь”.

– Вот, не всегда ведь дело заканчивается линчеванием, – говорит обрадованный телеведущий, – значит, есть надежда.

“Есть”, – молча, соглашаются Я. с Баронессой.

– Может быть, – добавляет Я. вслух.

Щелк – и мы на российской программе. Там идет вдохновенная дискуссия о Боге. В его существовании никаких сомнений у дискутирующих нет, спор скорее о том, православный он или какой-нибудь другой.

– Как, однако, в Российской Империи религия прижилась, – удивляется Баронесса. – При нас об этом почти никто и не думал, и не говорил.

– Это образованная элита вертится перед зеркалом в новом сарафанчике, а народ попроще пытается разогреть щи на горелке религиозного рвения. Скоро пройдет, как везде в Европе, – самоуверенно заметил Я.

За ним этот грех, – самоуверенность в некоторой пропорции с самонадеянностью – водится, считает Баронесса. Я. и сам в этом порой признается. Сейчас он изображает предполагаемую реакцию Б. на свое заявление.

– Судя по количеству еврейских холопов и холопок, публично припавших к животворному источнику русского православия, дело обстоит несколько серьезнее, – говорит он голосом Б., – еврейский холоп, как природный имитатор, – лучший индикатор глубинных процессов, происходящих в обществе, в которое он погружен.

Баронесса улыбается, когда к концу фразы Я. удаётся его имитация.

А на канале документальных фильмов – лента местного производства. В ней об известном журналисте рассказывает его дочь. Ей на вид чуть больше двадцати. В фокусе ее рассказа помимо отца – пожилой араб, который когда был молодым, в поисках заработка пришел в Иерусалим и нанялся работником в семью отца. Покладистый, обделенный агрессивностью (это видно в фильме), он сумел развить философию хоть и простую, но собственную, которая велит ему держаться подальше от абстрактных ценностей. Свою энергию (это тоже показано) араб направляет на то, чтобы вытолкнуть своих детей в тот мир, где он только помощник, любимый чужими детьми статист, редко видящий детей своих. Его взрослые дети теперь в Америке, где у одного своя аптека, а у другого – небольшой супермаркет. Мечта теперь уже пожилого араба сбылась. Но дети хотят вернуться, когда евреи дадут им возможность жить на своей земле с поднятой головой. А журналист тем временем ведет войну за лучший, справедливый мир, мир без подавления, без блокпостов и сегрегации. В этом мире араб ведет его дом, а он борется за права арабов.

“Случайно ли, что в доме его оказался именно араб? – задает себе вопрос Я. – Ведь видели мы недавно другой фильм о трех сестрах, йеменских еврейках, всю жизнь проведших на кухне сельскохозяйственной школы в заботе о кухонных котлах и даже не вышедших замуж? Пожалуй, случайно, – решает Я. – Могла бы быть и йеменская еврейка, но получился бы другой фильм. Интересно, кто были родители журналиста? Вполне может быть, что они – из пионеров сионо-сионизма, из тех, кто перелопачивал в день по тонне коровьего навоза, выше локтя загонял в коровье лоно руку с семенем быка. Надевали ли они для этого на руки резиновые перчатки по плечо длиной? Были ли у них такие перчатки?”

А мира, за который бьется журналист, как не было, так и нет. И сегрегация только крепнет. Соседи, жертвы сегрегации, сами выказывают к ней заметную склонность. Чем дальше удаляется реальная жизнь от гуманной идеи, тем трагичнее и возвышеннее держится ее адепты. В конце фильма мы видим журналиста гуляющим по берегу Атлантического океана где-то рядом с рекой Гудзон. Атлантический океан, под стать ему, – всеобъятен и сед.

“Не скучаешь по дому?” – спрашивает его дочь с сильным американским акцентом.

“А есть ли у меня вообще дом?” – без всякого акцента отвечает ей отец. В ответе его печаль преодолевается верой в свою правоту.

А вот и реклама подоспела. В музыкальном вихре фиолетовых тонов повисает на экране флакон духов, своими гранями посылая отблески в сторону зеленого дивана. А рядом в легком фиолетовом платье под цвет музыки возникает светло и воздушно молоденькая женщина, для которой эти духи предназначены. Она смотрит прямо на зеленый диван, и строгость ее лица подчеркивает хрустальную строгость флакона, эфирность ее облика контрастирует с его гранями. Духи называются “Гипноз”, а девушка очень красива.

– На тебя похожа, – говорит Я., не отступая от твердого правила – комплименты жене должны быть безбожными.

От Баронессы ему за это достается улыбка, а на экране уже появилась овечка в полном парашютном снаряжении. Что она рекламирует, пока непонятно, но когда она жалостно блеет, Я. с притворным удивлением восклицает: – О, и эта тоже.

Этот выпад достигает цели. И теперь Баронесса со смехом уходит снимать кастрюльку с огня.

ТЕЛЕВИЗОР И ЧТЕНИЕ

Сны Я., как и события в реальной жизни, стали часто начинаться телефонными звонками. На сей раз звонил сотовый телефон.

– Вас приглашают на интервью по второй программе ТВ, – услышал он и запаниковал.

– Я не умею импровизировать, – взмолился он. – И не знаю, куда ехать.

– Приезжайте к нам, – объяснили ему. – Завтра, в шесть вечера.

И повесили трубку.

– Куда же ехать, в Тель-Авив или в Иерусалим? Где у них студия? – заметался он. – Или, кажется, в Герцлии?

И дальше сон Я. был спокоен и тоже навеян просмотром телевизионных новостей. Ему снились беспилотные домашние тапочки Авиационной Промышленности. Они летали по Городу в поисках иностранных рабочих и, находя, били их по головам.

Потом уж совсем безобразие стало происходить – Иехезкель Кантор в прайм-тайм ткнул два растопыренных пальца в глаза ведущему теленовостей.

– Кому досталось – Хаиму или Гади? – не успел выяснить Я.

Наутро, за бритьем, он придумывал интервью.

– Вы, кажется, не очень любите прессу, – начинает ведущая.

– Я расстался с неограниченным доверием к журналистам, рожденным русской “перестройкой”, – уточняет Я.

– Мы ведь не создаем жизнь, мы только ее отражаем словом, – укоряет его ведущая.

– Как отражать – вы решаете, – отвечает Я. – Вот, например, на этой неделе вы нас измучили рассказами о двойном голосовании Иехезкеля Кантора в Большом Кнессете. Я теперь голос его узнаю, даже если на рынке Кармель он мне крикнет в самое ухо: “шекель с полтиной!” А вот о том, что Рами Меири нарисовал новую картину на заборе, никто по телевизору не сообщил, я даже не знаю, как он выглядит, этот Рами Меири, я даже не знаю, действительно ли он создал эту картину на заборе или какой-то нахал-самозванец воспользовался его именем. Вы непременно должны это выяснить! И я хочу, чтобы новости начинались с того, что телеведущий с круглыми от возбуждения глазами крикнул бы нам с экрана: “Господа! Сегодня Рами Меири нарисовал на заборе такую картину! Такую картину!” А история с вашим Иехезкелем у меня уже в печени сидит. В Большом Кнессете все результаты голосований заранее известны любому журналисту, когда это голосование хоть кому-то интересно. А история с Иехезкелем интересна разве что адвокатам, да и то только как источник дохода.

– Адвокатов вы, кажется, тоже не жалуете? – рада перевести стрелку телеведущая. – У вас типичный обывательский комплекс неприязни к журналистам и законникам.

– Хорошо, скажите, во что обошлись судебные издержки по делу Иехезкеля? А кто-нибудь знает, за что он проголосовал дважды? Вы сами знаете?

– Неважно, – увернулась от ответа ведущая.

– Конечно, неважно, – согласился Я.

Через два дня вечером к обсуждению темы подключился Кнессет Зеленого Дивана.

N++; ПРЕССА ПОД ОГНЕМ КРИТИКИ

– Как в ООН перед каждым участником собрания стоит табличка с его именем и именем страны, которую он представляет, чтобы можно было заранее знать, что он

скажет, – замечает А., – так и перед каждым журналистом должна стоять табличка, например D0.

– Что это значит?

– Индекс демагогии по десятибальной системе, – отвечает А.

– Ага, – комментирует Б., – значит, D9 – это журналист, который свои заметки строчит в постели за утренним кофе и наслаждается тем, как он задаст сейчас перцу генералу или политику.

– Или с таким воодушевлением и страстью обличает социальные язвы общества, – вступил Я., – что, кажется, завтра мы его уже не увидим на экране телевизора, не услышим по радио, не прочтем его блестящую статью в газете. Он бросит перо и рядовым социальным служащим муниципалитета посвятит остаток жизни служению малым мира сего. Но нет, на следующий день он уже громит политическую партию за незаконный сбор средств в избирательной кампании ничтожного политика. О, если бы в политику устремились все журналисты! Что за чудный мир воссиял бы на грешной земле! Увы, делают это только глупейшие из них.

– Но ведь в этом и состоит их обязанность, – возразила Баронесса. – Пресса – цепной пес демократии.

– Господи! – взмолился атеист Б. – Так почему же я не чувствую ароматов демократии, а только... – Б. повел носом, будто учуял запах псины.

– Да ладно, – сказал Я. примирительно, – кто всерьез принимает прессу? Эти субстанции вечно чем-то хронически больны. В Советской Империи у них была вечная краснуха, а в Еврейском Государстве – то чернуха, то желтуха, то обе вместе. А чтобы получить портрет здешней русскоязычной прессы, нужно добавить чуть доброй русской традиции принимать кликушество за пророчество, а юридивых – за вождей.

Но тут же примиренчество Я. будто испарилось в мгновение ока на южном солнце.

– Но ведь правда, – начал он плавно повышать голос, – до чего надоели, черт бы их побрал, с их попытками вечными меня расстроить. Ну, хоть бы иногда рассказали мне об увеличении удоя в кибуце “Еврейское счастье” или о перевыполнении плана в забое “Глубокий” угольной шахты “2-я сионистская”. Что? Нет угольных шахт в Еврейском Государстве? Так вырвите, мать вашу... писаки хреновы! Что вы мне мозги полощите с утра до вечера тем, что А. дал деньги Б. на предвыборную кампанию (Как же! Этот А. догонит, еще раз даст, иронизирует Б.)

– Да какое мне дело? – продолжал Я. в неистовстве. – Это не мои деньги. Или вы забыли, где мы находимся? Здесь Еврейское Государство, мать вашу! Что вы делаете вид, будто если Б. даст денег А. на выборы (теперь настал черед А. ухмыляться), то я проголосую за то, чтобы мне палец оттяпали? А вот вам! – вскричал Я. и преподнес невидимому писаке знакомую любому школьнику в Российской Империи фигуру из трех пальцев. (Тут надо заметить, что в Еврейском Государстве фигура эта известностью не пользуется, ее запросто и без всякого злого умысла может сложить в вашем присутствии босс, записывая в тетрадку на память суть даваемого вам поручения.)

– А наши русскоязычные газеты-интернет! – продолжал разоряться Я. – Это уж вообще мрак беспросветный. У этих – другая мода, у этих – все вокруг дураки. Сами вы – сплошь дураки, козлы сиреневые! И ваш предполагаемый читатель-мазохист – тоже дурак! А мотыгу вам в руки? И матом погнать на ниву русско-картавой словесности! И радовать меня! Понятно? Радовать!!! Вперед! Строем! С песнями, мать вашу!

Б. на сей раз спокойнее и деловитее Я. Он предлагает половину несчастных журналистов пристрелить, оставшихся разделить еще на две половины. Одну высечь за дело, другую – для профилактики.

– Будьте благоразумны, – решил успокоить всех А., хотя в успокоении нуждается один только Я. – Западная пресса не лучше, полощет нас денно и ночью. И ведь их можно понять – клиенты журналистов требуют зрелищ. Чемпионат мира по футболу – раз в четыре года. А матч Герцлия-флавия – Соседи проходит в любой сезон и при любой погоде.

– Футболисты за чемпионат мира получают миллионы, где мои миллионы? – бурчит Баронесса.

– Bravo! – в восторге возопил Кнессет. – Вот неисчерпаемый источник финансирования Герцлии-флавии. Новости из Герцлии-флавии должны продаваться, ведь мы – главный экспортер новостей в мире.

– Далась вам эта пресса, – сказала Котеночек с легким оттенком надменности, – читайте книги.

Наш жизненный потолок щекочет нам пятки, пока мы нежмся в ванной чужих переживаний. Чтение – само по себе прячущееся под ярким светом настольной лампы ретро, куда мы убегаем от видеорядов, носорожьем стадом пробегающих по нашей нежной (все еще нежной) сущности. Мы заворачиваемся вместе с буквами в пуховое одеяло, сбереженное на память о детстве, откуда торчит только наш сопящий нос. Он достался нам по наследству от наших персональных взрослых. Он – наш носорожий рог, его мы клеиваем в паспорт на самое видное место, им мы отбиваемся от слепящей глаза жизни, которая рано или поздно набросит на наше лицо покрывало, на жизнь непохожее. Этим чувствительным рогом мы вынюхиваем сладости судьбы, которые она приносит нам сегодня в постель вместе с кофе. Но кофе мы сегодня не пьем, мы выливаем его, как чай, на блюдечко и радуемся своей находке, потому что через кофе не видно (ведь это не чай) dna блюдечка. Мы радуемся, мы теперь не видим ни своего конца, ни конца вселенной и можем приступать к тому, ради чего завернулись в это одеяло, в котором нам так тепло. Мы готовы заглянуть в чужую жизнь, в которой хоть что-нибудь, да не так, как в нашей, которую мы прописали себе. Что манит нас в чужих тайнах? Чего еще не знаем мы о самих себе? Ночь клубится вокруг нашего дома, она отрезала нас от чего-то и зарезала кого-то в нас. Нам этого теперь не хватает, и мы ищем его за чугунным заборчиком букв. Что там скрыто от нас? У нас есть полевой бинокль нашей пронизательности, через который ни черта не разглядеть в тумане, как будто недостаточно обычной ночной темени, чтобы нас запутать. Мы навинтим, как глушитель на пистолет, что-то, что раздвинет темноту, но это что-то не справляется с туманом, через который нам придется двинуться лично, чтобы что-нибудь понять. А понимать зачем? Что пониманье нам добавит? Оно лишь радость нам отравит грядущих дней. За этими буквами вовсе не то, что там есть, а то, что мы хотим найти. А если не отыщем желанного, нам обязательно что-то встанет поперек пути – туман или слишком мелкие буквы, а то и языка родного не узнаем. А-у-у! Эти люди там, за решетчатыми буквами, обладают необыкновенным тактом. Мы танцуем с ними лишь тогда, когда сами того пожелаем. Не обижаясь, они оставят нас в покое, когда мы отложим в сторону их глянцевое жилище. Они не нарушают непомеченных границ нашего одиночества, не кланчат внимания к своей уникальной мимолетности, как это обычно делают жалкие живые люди. Они и есть вечный рай на земле. Мы даже прощаем им колкости, делая вид, что к нам они не относятся. Ведь печатные души нас не видят и, значит, не в нас персонально целились. То, что это о нас, знаем наполовину только мы сами. А по поводу второй половины мы станем отнекиваться. Зачем нам юридически оформленное признание наших несовершенств? Эй! Тот, кто ворочает подгоревшие картофелины в этом словесном раю, кто из нас засыпает? Наше внимание или ваше умение? Подуйте на костер, мы хотим искр, улетающих вверх, в темноту ночи. Мы за них заплатили на кассе, а теперь возьмем сдачу сонным зевком. Не подливайте нам крови в страницы, нас от нее тошнит. Чужие соития нас волнуют, но слабо. Мы хотим соития своего и особенного, такого, в котором душа и тело воспаряют в благоухании. Вы так умеете? Мы ведь сознательно позволяем морочить нам голову за наши же деньги. Бездна наших желаний всегда ждет нас в свои объятия. Мы у нее – желанные гости. Плюх с высоты, и давайте снизу посмотрим, как мы лихо летим в виртуальные гости к госпоже Е. Да еще вопрос – будут ли нам виртуально рады? Мы все время путаемся – где пишушие, где читающие, кто кому морочит голову? Или это у нас метод такой – идти по грани, не понимая, когда мы серьезны, а когда во всю мочь издеваемся над собой? Мы ведь ни от кого ничего не скрываем, вот и в компьютерных делах мы сторонники открытого кода, то есть такого, в котором каждый может что-то испортить. Ведь мы уважаем своих собеседников, а значит, обязаны дать им возможность вставлять в наш текст свою опытность и свой полет. А в свободном парении мы были в кино уже много раз. Мы любим в этом падении увидеть крутые, как мы с вами, уступы скал и уцепившиеся за них растения, этих маленьких скальных женщин (они от своих утесов – ни на шаг). А наши женщины? Иногда им хочется полетать, мы возвращаем их себе беглым огнем с плеча (мы стреляем лучше, чем они летают), потому что мы их искренне любим и с нами им будет лучше, чем там, в этом холодном небе. Мы, признаться, и сами не часто любим туда взлетать. А внизу, мы знаем, течет река среди острых камней, о которые разбиваются в хороших фильмах плохие люди. А мы с вами ни за что не погибнем, мы сохранимся, целы и невредимы, мы воспарим в последний момент и еще успеем полюбоваться бурлящей рекой. Вы успели? Вопрос, неожиданно обращенный к вам в лоб, непременно заставит вас очнуться. Задал? То-то же, а то – “наши деньги, наши деньги”. Не в деньгах счастье, – утверждают те, у кого они есть, и (в редком единстве мнений) те, которые о них только слышаны. А вот у нас нет единства мнений с самими собою о подлинном значении денег. Мы в этом вопросе полны ужаснейших внутренних сомнений. Этот вопрос – простой. Очень много маленьких, колючих вопросов набились нам в башмаки, мы поэтому не снимаем их даже в своей постели, чтобы не испачкать кровью наши белоснежные простыни.

Чтение – встреча с самим собой в своей спальне, но в чужом теле. Читайте, читайте, дорогие дамы и господа, майне дамен унд херрен, это совершенно безвредно и бесполезно. Проверено постоянно действующей комиссией при комитете человеческих несовершенств. И не сердитесь, не глядите букой. Ведь что написано пером и испачкано свинцом, тому не сделаешь Delete.

N++; О ДЕНЬГАХ. СТОЛКНОВЕНИЕ ПОДХОДОВ

Кнессет Зеленого Дивана не обходит вниманием тему денег. Но у Кнессета столько забот, что к вопросу о деньгах он подходит вплотную только сейчас, да и то обсуждение начинается с позерства Я.

– В дни нашей юности, – говорит он, – жизнь ради денег вызывала в нас вполне искреннее презрение. Я всегда был готов в те годы уйти на гораздо хуже оплачиваемую работу, лишь бы она была увлекательнее предыдущей. Вот только тяжело было расставаться с людьми. Уходя, я не искал встреч с ними, догадываясь, что той особой связи, которую рождает совместная повседневность, уже не вернуть. Но я годами еще продолжал мысленно с ними беседовать. Пардон. Отвлекся... А было у меня тогда совершенно твердое убеждение, что с женщиной, произносящей фразу, вроде “ты должен обеспечивать семью”, нужно тут же распрощаться и пожелать ей удачи в подходящем для нее сером мире унылой практичности.

Баронесса покачала головой, шуточно подтверждая этим жестом: “Вот за таким суровым человеком я плетусь по жизни”.

– И я всегда отлично знал, – продолжил Я., – что, несмотря на практицизм и реалистичность, моя жена вполне разделяет этот мой снобизм, иначе чего бы она возилась со мной. И уж никак не готов был я тогда причислить деньги к универсальным показателям успеха.

Мужская часть Кнессета слушала Я. молча, но с интересом и очень внимательно, а на лице Котеночка не трудно было прочесть желание привести полудюжину китайцев, сидящих неподалеку на корточках в ожидании подработки, чтобы они вытолкали из дома (и без всякой вежливости) этих самцов, мечтающих об удобных, ручных женщинах. Но этот дом не ее, и потому она тоже молчит.

– Работать за деньги я учился уже здесь, в Еврейском Государстве, – продолжил Я. – Что-то изменилось во мне... – Он поймал взгляд Баронессы, потому что ждал его и готов был ответным взглядом подтвердить сказанное: да, я изменился, да, самое банальное благополучие той самой женщины мне теперь гораздо важнее собственного полета.

– А я и сейчас к этому не готова, – неожиданно перебила его Котеночек, будто переворачивая песочные часы и то ли объявляя, то ли напоминая, что существуют на свете “сложные девушки”, и им самим требуются беззаветные мужчины. Все взглянули на нее с интересом, кроме В., который стал смотреть в пол. – Стать рабом денег, ради чего?

Но тут вдруг окрысился А. Романтическое бескорыстие подружки В. его, похоже, возмутило. И он завелся:

– А вот ты представь ситуацию: двое друзей – X и Y. X руководствуется философией бескорыстной любви к красоте жизни, и к моменту t у него имеется на счету в банке двадцать тысяч долларов. Y работает не без энтузиазма и увлечения, но результат измеряет в денежном выражении. К тому же моменту t у него – четыреста пятьдесят тысяч долларов. И вот в этот момент t возникает ужасная ситуация – у X заболевает ребенок. Чтобы ему помочь, нужна операция, которая не покрывается страховкой, и которую делают на другом конце света за четыреста тысяч долларов. И вот он идет к Y...

– Это удар ниже пояса, и он никуда не пойдет. Можно обратиться к государству, общественности, к другим людям с деньгами, не к друзьям, – говорит Котеночек, стараясь подавить волнение.

– А Бог любит удары ниже пояса, читайте книгу Иова, он особенно любит устраивать испытание людям идейным, честным. – А.-инька сейчас похож на безжалостного мясника, разрубающего тушу быка точно по схеме, висящей в мясных магазинах.

Я. задумывается, как выглядела бы такая схема разделки человека в магазине каннибалов.

– Государство, общественность, другие “люди с деньгами” – это долго, и еще бабка надвое сказала, получится ли вообще, а ребенку операция нужна сейчас, а не завтра, и я еще намеренно смягчаю ситуацию, щадя ваши нервы. Этот X для себя, может быть, не пойдет, а для ребенка пойдет, иначе... – А. запнулся. (Ого, отмечают сидящие на Зеленом Диване, под семью метрами сухого песка в его душе, оказывается, влажно). – Кем бы тебе хотелось быть в этой ситуации, X или Y?

Воспользовавшись молчанием Котеночка, А.-инька дает волю своим садистским наклонностям. Как он красноречив сегодня, однако, отмечает Кнессет, не бывший свидетелем его беседы с фрау К. в Вене.

– Уж если разводить достоинству до конца, то, положим, Х все-таки идет к Y, и перед последним возникает дилемма: если он даст деньги и на следующий день что-нибудь произойдет с его собственными детьми или женой и потребуются деньги, а взять их негде, а Х вернуть не может и вряд ли вернет вообще, то все его старания оградить по возможности от несчастий своих близких рухнули в угоду беспечности Х. Если же он откажет, то... – А. снова запнулся.

Я. следит за Баронессой. Она ни за что не выскажется сейчас. Но, молча, она на стороне А. с необычной для себя жесткостью. Тут женская солидарность оказывает на нее так же мало влияния, как сопротивление воздуха на скорость полета падающей гири.

Жалостливый Б. пытается перевести спор в более общее русло.

– Мы возвращаемся к старому спору о столкновении идеи еврейских пророков, их модели справедливого общества и англосаксонской идеи личной свободы и личной же ответственности... – начал он, но разошедшегося А.-иньку не так легко остановить. Он гремит как Зевс, заподозривший Геру в измене:

– Вот и получается, что все это прекраснотушие – фиговый листочек для эгоизма и безответственности...

– ...я не стану цитировать еврейских пророков, – продолжает Б. настойчиво, и А.-инька понимает наконец, что ему пора остановиться, – но мне запомнился эпизод из воспоминаний одного еврейского автора девятнадцатого века, получившего одним из первых светское образование. Он рассказывает о еврейских нищих, что они отличались от нищих христианских, униженно просивших милостыню у двери, тем, что смело входили в дом, требовали помощи и, если бывали ею недовольны, могли проклясть хозяев. Из того же, что мы видим вокруг себя, нельзя не прийти к выводу, что англосаксонская идея индивидуальной свободы и индивидуальной ответственности победила у нас старую еврейскую благотворительность.

– Члены Кнессета Зеленого Дивана, – заключает дискуссию Я., – проходят собственный процесс ломки. Свой переход они совершают от традиции русской, высоко ценящей искренние намерения и легко прощающей отрицательный результат, когда он обуславливается постоянно свирепствующим в России форс-мажором или недостатком личной мотивации.

Станцией назначения этой ломки, полагает Я., является (в русле общегосударственной тенденции) англосаксонское самосознание, чей идол – результат.

Дальнейшего обсуждения не последовало, не впервой этому Кнессету поднимать бокалы за англосаксонскую бодрость души.

N++; ОПАСЕНИЯ ЗА АМЕРИКУ

– Так все же, что будет со всем миром и с самой Америкой и, если дух WASP даже из нее испарится? – снова задает А. свой изуверский вопрос.

.....
(Материалы заседания засекречены до 2057-го года).

АСПЕКТЫ ЗРЕЛОЙ ЛЮБВИ

– И это что же – такая толстая книга, и в ней – ни слова... – слышим знакомый голос.

– ...ни слова о чувственной любви? – спрашиваем с упреждением господина Е.

– Ну да, о ней.

– Будет, будет и чувственная любовь, сейчас же начнем. Эй, там, в оркестровой яме, готовьтесь к празднику, на сцене декорации... Комнаты... Номер... Гостиница... Дом... Неважно... Лучшее из того, что сумели найти в государстве, прилегшем на бок у моря. Яркий свет на сцене горит, а в зале и тусклый гаснет. На ложе восходит живая мечта в одеянье из теплого ветра.

– И что, эта ваша мечта – только в теплом ветре? А в гневе она что, никогда не бывает? И кукиши никогда не показывает?

– Кукиши не показывает, а в гневе бывает. Тогда глаза ее пылают жарче влюбленных сердец. Ты ведь знаешь, наверное, как прекрасна бывает женщина в гневе. Вот только в гневе она уходит от нас, скрывается... Ведь она не тигрица в неволе, чтобы демонстрировать нам свою ярость.

Стоп, Стоп. Стоп. Собираем билеты у всех пришедших в строгих костюмах и платьях с вырезами для бриллиантов, возвратим им деньги за спектакль, который

мы намерены теперь сыграть только для самих себя. Мы убираем со сцены и часть декораций. Зрители ушли, а мы остались, осталась и она, а еще слышна, но теперь уже издали, музыка. Само собой, само собой – Брамс, третья симфония, теперь уже без фортепьяно. Музыканты остались.

И кто же это в номере с декорациями? Да это вы. Ну да, вы. С кем? С ней, все с той же. Вот она, сидит на белом ложе с разбросанными подушками, одеялами в беспорядке, поджав под себя ногу... Вы себе, себе рассказываете, чтобы самому же и вспомнить потом, и сравнить. Эта черточка на лице ее год назад была и короче, и мельче. Так, может быть, и не лучше, но теперь она больше воспоминаний хранит. Воспоминания эти – озеро, над которым все время идут дожди. Не повторится ничто, даже складки этой легкой ткани на ней не лягут так же, не откроют-прикроют того же. И эта улыбка, с которой смотрят на вашу нерешительность сегодняшнюю (что это за огорошенность нашла на вас?), и она, эта улыбка, в точности так же освещена не будет зажженными для памяти вашей огнями. Вы сумели бы нарисовать ее губы именно в этой улыбке? А глаза вот в этой насмешке? И тонкие руки ее разве так же завтра выйдут из рукавов? И ведь вы еще ни одной складочки на этом легком убранстве ее не нарушили. Вы еще не решили, к какой оборке раньше притронуться. Отметили для себя, чем глаза ее, от туши отмытые теплой водой, отличаются от парадного их наряда? Ага, говорите вы, как теребимое ветром платье в неярких цветах от ее же черных и строгих костюмов. Так вы теперь прислушались к собственной жизни? Вы определенно становитесь нам интересны. А ей вы об этом расскажете? Как? Какими словами?

Но не пора ли взмахнуть дирижеру палочкой, чтобы взлетели смычки и надули щеки, как бульдоги, флейтисты? Чтобы все разом пришло в беспорядок – и складки на одежде, и подушки, и одеяла, и чтобы все летело к черту, и чтобы замереть в неверии, что вот! сейчас!..

– А что это там стоит в углу, вроде несгораемого шкапчика?

– Это, видимо, все-таки номер гостиничный, значит, в нем – минибар, а за дверцей теснятся гномики-коньячки и малютки-водочки, и конфеты, наверное, есть.

– Открывай, открывай быстрее. А это... любовь... потом, потом!

СЕКС, РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Собственно секс – это средняя оглушающая фаза более широкого явления, включающего пресекс и афтерсекс. Собственно секс подобен напрягающему нервы детективу в литературе или всеобщему взрыву в симфонии, когда все музыканты исполнены высочайшего подъема и воодушевления, словно они на митинге национал-социалистической партии. Щеки кларнетистов и тромбонистов раздуты, и, кажется, головы их вот-вот оторвутся от туловища и взлетят в воздух. Скрипачи, напротив, сосредоточенно трудятся на помосте и в скорости и усердии превосходят онанирующих зайчиков. Объекты внимания высокой культуры – обычно именно пресекс и афтерсекс, потому что в изображении собственно секса слишком легко сбиться на порнографию и ожидание обычно превосходит результат, что в свою очередь ведет к недовольству и душевной опустошенности. Описание же пресекса – само по себе ожидание и подъем, афтерсекса – глубочайшее погружение и сосредоточенность. Литературу пресекса охотно вбивают в головы школьников добросовестные учителя под всевозможными романтическими приправами. Если же вернуться к нашим кумирам, госпоже Е. и господину Е., то в произведениях их собственно секс ассоциируется у нас с вертикалью. Господин Е. в описании его, как и полагается мужчине, отличается скромностью и стыдливостью. Он устремляется в бледную высь, и в его мечтательном полусознании звучит музыка хлюпающих недр. Свой долгий предсексуальный путь к вершине он совершает в вагоне поезда, вкушая коктейли и предаваясь глубочайшим размышлениям. У госпожи Е. вертикаль снабжена стрелочкой, как размерная линия на механическом чертеже. И эта стрелочка смотрит вниз, в глубины разверзшейся бездны. Готовясь к сексу по госпоже Е., лучше всего начать с общения с животными, домашними или дикими. Но Австрия, видимо, лишь прицепной вагон Германии, и закравшийся в ее пресекс арийский дух тоже не на собственной тяге – не приведет он к окончательному решению, – не попадет розовый фламинго под суковатую палку, вырвется из рук, убежит недотопленная в ручье визгливая кошка.

А что же наши герои? В. пассивен, котеночек, как обычно, безумствует, Б. заражает мечтательностью, Я. раскрывает перед Баронессой свиток с перечнем милых подробностей, составивших на сегодняшний день ее образ в его сознании, сама Баронесса сдержанна, в словах особенно.

Тема афтерсекса – сложнее. Так, после неудачного секса настоятельно рекомендуется чтение Достоевского. Господин Е. до афтерсекса так и не добрался, он и на станцию секса не попал. Госпожа Е. пианистку выводит на улицы Вены с кухонным ножом разыскивать своего возлюбленного.

Эмоциональный вакуум, возникающий после любви, словно воронка омота, требует бурлящего наполнения. Лучшее, что можно ему (вакууму) скормить, – нечто материально прекрасное. Подарки женщинам никогда не были примитивным намеком на будущие встречи или предстоящее расставание, а только сменой одного волнующего действия другим, контрастным и острым. Ведь только в музыке, едва закончив одно волнующее безумное действие, можно плавно начинать следующее. Физическая природа человеческого тела сложнее музыки, она требует отдыха, передышки, смены впечатлений, которые должны быть заполнены надлежащей красоты содержанием. Хорошо бы в этой воображаемой нами точке времени появиться бриллиантовому колье, шелкам и виссонам...

– Хотя бы мороженому, – слышим голос. – На плоской деревянной палочке. Но чтобы палочка – гладкая, из плотного дерева и без заноз! Обязательно без заноз!

КУПАНИЕ В ГЕНИСАРЕТСКОМ ОЗЕРЕ

Осенние праздники приходятся на сентябрь-октябрь. О, еврейские праздники! Это вам не былой Новый Год, который – ночное веселье. Или 1 Мая, которое – пирушка после прогулки-демонстрации свежим весенним утром с транспарантами “Слава труду!”, портретами вождей на длинных палках, игривым выкриком в микрофон с трибуны “Да здравствуют славные советские женщины!”, на который отзываются демонстранты громовым “Ура!”, но потом замечают справедливости ради, что всякие женщины бывают славными, и не только советские. Женщинам же еврейским – больше всего в радость Судный день из-за обязательности диеты. Но на Песах, весной, им полагается съесть калорийные клецки в супе, нейтрализовать вредное действие которых, может быть, поможет им чтение пасхальных наставлений. Только День независимости для выходца из Российской Империи – день со стержнем, платиновый имплантант, на котором он может закрепить протез вновь обретенного чувства национального достоинства. Во всех остальных еврейских праздниках – привкус чего-то, не нами названного “хаосом иудейским”, в котором присутствует, тем не менее, скрупулезность, характерная для еврейской религии. Например, время начала Нового Года можно попытаться выяснить из газет, но оно разное для разных городов (рекомендуется сверить сведения в нескольких газетах, чтобы не стать жертвой досадной опечатки или обычной журналистской небрежности). Если сердце требует привычной точности (пепел боя курантов стучит вам в грудь), то можно выяснить меридианы муниципалитетов городов, для которых время наступления Нового Года указано в газете (для начетчиков – меридиан, проходящий через центр кресла мэра в его кабинете), затем – координаты места, где вы встречаете праздник (центр праздничного стола). Теперь методом пропорции можно вычислить миг, когда следует... поднять бокалы с шампанским? Нет – макнуть яблоко в мед! Сердцу этого действия мало, но вкус приятен, и если яблоко в меду запить шампанским, и сделать это в точно вычисленный момент, то, смеем утверждать, вас ждет не убыток праздничных ощущений, а наоборот, – прибавка в роскоши новогодних восторгов.

А на Генисаретском озере, куда члены Кнессета прибыли, чтобы провести новогоднюю ночь в палатках, в эту пору года, ранней осенью, обычно еще жарко, но к вечеру неизменно поднимается настойчивый ветер. Позже опускается темнота на рядом поднимающиеся скалы Голанских высот, а на противоположном берегу начинает светиться Тверия. Она светится не блеском Рима и не славой его Императора, одолжившего городу свое имя. Иной экстремист скажет, что так ее и нужно осматривать туристам – ночью, с другого берега. Тьма, плеск воды, отраженная в ней Тверия, легкий карамельный запах, оставшийся на теле от серных купален, которые компания тоже посетила сегодня, эфир легенд – смягчают и склоняют к миролюбию. Время разжечь костер и при свете его приглядеться к соседям.

В мини-Америке еврейского государства, разбитого на более мелкие еврейские этно-культурные анклавчики, межанклавные беседы редко бывают безоглядно открытыми. В телевизионном хороводе на темы политики и жизни, которые сходятся и расходятся, сходятся и расходятся, старая ашкеназская светская элита встречается со специально подготовленными для целей внешнего сношения обладателями витых пейсов, к которым наспех прилажена старая песенка “и тот, кто с пейсом по жизни шагает...” и для которых наш Великий Шутник изобрел специальный туалет с двумя унитазами – один для мясной, другой для молочной пищи. Во встрече непременно участвует и новый истеблишмент восточного происхождения. Вместе они выглядят ужасно теплой еврейской компанией, где все участвующие в беседе пикируются и кричат друг на друга увлеченно, самозабвенно, и кажется, главной заботой их является – как бы им, не дай Бог, и впрямь не поссориться. Приглядевшись, все же видишь, что это хорошо притертые разные части. Передача закончится, телекамеры разведут по углам студии, а люди

разойдутся по углам для людей. Новых выходцев из Российской Империи среди них, как правило, все еще нет. В этом есть и определенное удобство. Сидя по другую сторону телевизора, они как будто смотрят из-за зеркального стекла, обмениваются между собой одобрителными замечаниями, комментариями, насмешками, сами оставаясь невидимыми, а значит, неуязвимыми. Если кто-то все же приглашен, с ним повышенно предупредительны, колючие вопросы не забрасывают ему за воротник, гадкий голубь фамиллярности, не признающий никаких дистанций, не садится к нему на плечо, к спине его не припечатывают добродушную восточную “чапху” и даже, о знак величайшего неравенства, – его не перебивают в беседе. Новичок! А значит, и спросу с него большого нет. Спешить некуда.

И к русскому языку, с которым не думают расставаться вновь прибывшие, коренные жители вполне привыкли. В стране, где бьет неиссякаемый родник раздражения вялотекущими войной и террором, видимо, легко справиться с неудобством, вызываемым чужой речью, без стеснения разгуливающей по улицам, хай-тековским коридорам и вот сейчас устроившейся у костра на Генисаретском озере. Ее на удивление легко терпят коренные жители и уж тем более не пугаются, как, говорят, пугает нынче жителей Британии обилие польской речи (“не слышно, чтобы они пугались языка Соседей, его они пугаются испугаться”, – шутит Б.).

У соседнего костра испрошена забытая соль, в обмен предложена шутка, которая на время должна успокоить людей, поглядывающих с опасением на выложенные у костра бутылки и пытающихся угадать их градусность. Разнонаправленные иронии по поводу культурного питания, словно две встречные лодки на озере, потершись бортами, проплывают навстречу друг другу.

Члены Кнессета уже давно не новые репатрианты, они скорее уже относятся к категории старожилов, то есть тех, кто изжил старые иллюзии, пережил, теперь уже тоже старые, разочарования и хоть и постарел сам, но жив и в данный момент шевелит хворостинкой угли костра на Генисаретском озере. Слава богу, никто не фотографирует, думает Я., как на встрече сотрудников фирмы, в которой он начинал свою “трудовую карьеру”. Глядя на эти фотографии, где он сам и люди, которых он знал молодыми, теперь частично усохли, частично, наоборот, раздулись и все поседели и словно посерели, он говорит Баронессе, что эта группка на фотографии вызывает у него грусть и словно напрашивается, чтобы к ней подогнали передвижную газовую камеру. Баронесса замечает ему в ответ, что ее стала беспокоить в последнее время его раскованность в подборе образов для сравнений. Игры с политкорректностью так же небезопасны, как игры с огнем и Исламом. Если он и впрямь собирается что-то писать, она лично проследит, чтобы в текст не закралась опечатка, и чтобы слово Ислам было везде написано с большой буквы, даже в ивритском переводе, хотя в иврите вообще нет заглавных букв. А лучше это слово и вообще не писать. Нет слова, и нет проблем, легко интерпретирует она Вождя Народов.

А для старожилов Зеленого Дивана общение с уроженцами страны не составляет никакого труда. Они легко найдут нужные слова, переведут интонацию в положение Drive (буква D на коробке передач в вашей японской машине), отметят особенности сегодняшней погоды, сверят ее с политикой Еврейского Государства, ругнут тех, кто эту еврейскую погоду делает. Ругнут мягче, чем это делают тележурналисты, не признающие за еврейскими олимпийцами никаких человеческих качеств, или, наоборот, припечатывают еще хуже: так, как журналисты себе позволить не могут. В общем, эта кампания умеет сплести тонкую паутинку человеческих отношений с окружением и по ней быстро передвигаться в обе стороны, создавая впечатление безобидности. Да, они уже не новички здесь, они уже давно не делят окружающих, как новые репатрианты, на наших, “русских”, и на “них”. “Они” в самом общем виде – это те, кто не хранит в памяти дату начала Великой Отечественной войны (1941). Они говорят на иврите и иногда пытаются заговорить по-английски (еще чего!), а войну начинают двумя годами раньше (1939), когда Российская Империя Большевиков, говорят они, делила Восточную Европу с Третьим Рейхом. Знания о Еврейском Государстве, в котором живет новый репатриант, он черпает порой из телевизионных программ Российской Империи, порой – из того, что пишут о нем писатели, наезжающие оттуда же. Я. с интересом заглядывает в литературные отпечатки этих посещений. Он сообщает Б., что репортажи русских гостей описывают то, что видели, избегая обобщений. Евреи, полуевреи и евреи на четверть, напротив, с обобщений начинают, ими же заканчивают, опираясь на природную скорострельность и ощущение сопричастности. Нелегко новому репатрианту различить детали в окружающем его новом мире, особенно, когда он смотрит на него сквозь очки, заплывающие его трудностями и обидами. Все “они” как будто на одно лицо, одинаковые, сытые, если и жалующиеся на жизнь, то только чтобы замаскировать истинное довольство своим положением. А ведь этот новый репатриант там, в Российской Империи, ни за что не спутал бы русского с грузином, например, тотчас отличил бы москвича: “чего приехал? На берегу ка-а-

амешки, ра-а-акушки собирать? Мы к вам раньше за колбасой ездили, а теперь – за деньгами, а скоро и за буквой “а” приезжать будем”.

Ничего, и он, этот новенький, станет когда-нибудь старожилом, и его вновь прибывшие заподозрят в глухоте и надменности. И он вскоре будет понимать, кто есть кто в этой стране. Поймет, например, что партия Экс-Социалистов, основа Лагеря Вечного Мира, – это партия предпринимателей, желающих защитить достигнутое. Она и была когда-то исключительно партией рабочих, крестьян и солдат, но с тех пор прошло много времени, бывшие рабочие открыли собственное дело, иногда даже продают его за многие миллионы, крестьяне устали, состарились, наняли тайландцев, солдаты стали полковниками. Нечего делать в такой партии вновь прибывшему. Женщины при виде его зевают, служащая в банке зевает дважды, один раз как женщина, другой – как служащая банка. Непривычно ему и пихаться грудью на заседаниях Центра Партии Горячих Патриотов. “Русских” там не видно, во всяком случае, по телевизору, даже если приблизиться к его экрану вплотную. Ходили, правда, слухи, что их бородатый лидер привел однажды на заседание триста своих казаков для единогласного голосования, но казачьи сотни были геройски отбиты. Но “русская” поддержка движению Патриотов ощущается сильно. Сказывается ли здесь ностальгия (“К топору зовите Русь!”), а может быть, тут больше неприязни к этим, – разводящим мягкими ручками с их змеистыми речами о мире (“хоть по морде, ублюдок?”). Личность главара “русских” внушает безотчетный страх уроженцам Еврейского Государства. Его взгляд с экрана телевизора гарантирует им удушение быстрым, без боли и страха. Слово специально, чтобы еще больше запутать их своей непонятностью, у него два имени. Одно – мужское, а другое – женское, да еще и французское. Уж лучше бы он взял себе двойную фамилию, например Рихард-Вагнер.

Тем временем ветер на озере стих. Гладь и божья благодать... Как покойна поверхность воды! Как тих воздух! Искупаемся перед решительным натиском на шашлыки и спиртные напитки! И после – тоже, но уже с надувными матрасами, чтобы легче вернуться берег. Или лучше не надо – матрасы вымокнут и не просохнут до ночи, да и жизни лучше побережь, чтобы самим и узнать, что же будет с нами дальше.

ПРОШЛОЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРЕЙСКОГО КАННИБАЛИЗМА

Всеобщая еврейская история подразделяется на досионно-сионистскую, сионо-сионистскую, а постсионно-сионистской не бывает! Досионо-сионистская история делится на библейскую и пустую. Пустая история – это такая, в которой не было ни библейской, ни сионо-сионистской. Что делали евреи в пустой истории? Маялись. Сами маялись, донимали других и подвергались побоям. Правда, во время пустой истории евреи учились. Они учились по библейской истории, а также у других народов. О библейской части истории рассказывает сама Библия, о сионо-сионизме у всякого когда-либо интересовавшегося им человека сложилось свое, совершенно определенное мнение. Мы вовсе не так самонадеянны, как кажется, и не претендуем его изменить, мы только хотим осветить его, скорее для самих себя, в несколько ином, мягком и обыденном, культурологически-кулинарном свете.

Сионо-сионистская история начинается с Пионеров-первопроходцев. Пионеры-первопроходцы питались идеями, панированными в компосте. Пионеры-первопроходцы по определению – пришельцы. От прочих первопроходцев из пустой истории они отличаются тем, что они пионеры, которые пришли не на новое место, а на забытое старое. У пионеров не было никакой пищи, помимо пищи идейной. Они дробили камни, строили дороги, пахали землю и питались идеями в компосте.

Пионеров съели Волчата. Волчата были детьми Пионеров, первыми уроженцами земли Авраама, Исаака и Иакова в новое (сионно-сионистское) время. Они сидели по ночам у костров с Пионерами, слушали их рассказы и готовили себя к Прорыву, который должны совершить. А Пионеры сквозь искры костра, сквозь легкий дымок, любовались этим новым еврейским выводком. Волчата не подвели. Они перековали орала на мечи. В гордой погоне и юном беге, в высоком прыжке и беззаветной отваге основали они Еврейское Государство. Ничто не дается даром. У Волчат образовалась Грыжа.

Волчат съели Дети Вудстока. Они были детьми Волчат с Грыжей. Они были детьми Волчат и Грыжи. Но предпочитали называть себя Детями Вудстока. Горячие Патриоты охотнее назвали бы их “йалдей акилэ”, детьми Грыжи. Время шло. Время неумолимо. Время бросать гранаты и время собирать \$.\$. На штыках не усидеть. Придется лучше в телевизионной студии, редакции газеты или в банковском офисе. А еще хорошо снимать фильмы и сочинять песни протеста. Они искренне жаждали мира, они стремились понять Соседей. Они громко сказали всему Миру: “Мы их понимаем”. “Угу, – отвечали им Патриоты, – и они вас понимают отлично. Лучезарный лик ваш, однако, заслоняет им ваша же упитанная задница, которая так и просится...” Со

снисхождением обретенной мудрости глядели на Патриотов Дети Вудстока. Они ласково шутили над провинциальным энтузиазмом Пионеров и над воинственным пылом Волчат. Они расширяли горизонты до общечеловеческих ценностей. Они взвесили все в целом и каждую часть по отдельности. Они со всем тщанием изучили пропорции и, ничего не утаив, нам сообщили о них.

Пионеры смотрели в Даль, они видели Вершины. Волчатам некогда было смотреть в Зеркало. Дети Вудстока соединялись сердцами с Миром.

За причудами Пионеров следили в бинокли, Волчата стояли на пьедесталах, Дети Вудстока слились с горизонтом.

А тем временем в страну хлынули... вот говорят, дамы и господа, леди и джентльмены, товарищи и товарищи, а мы скажем – жаботинки и жаботфорты. Как и их великий сводный предок, сам Жаботинский, они говорили по-русски, но в отличие от него, этого языка им было вполне достаточно. Они пришли без денег и с подозрными трубами, как и полагается приходиться из Российской Империи. Они не всегда толком знали, что они хотят вспахать и что посеять. Они даже не всегда были уверены, не ошиблись ли они континентом. Опять же, в отличие от их пламенного вождя, в них меньше пламенности и больше практицизма, есть претензия на элегантность, но не хватает на нее средств. А он, Жаботинский, с одной стороны был Владимир (как Мономах и Ильич), а с другой – Зеев, то есть еврейский волк небольшого роста и непугающей лягушачьей наружности. Но писал и говорил он всегда о вещах титанических – о Самсоне-Назорее, о двух берегах великой реки Иордан. Потому и у его сводных потомков тоже размах титанический. Им либо немедленно оплеух навешать Соседям, либо уехать в Америку, на меньшее они никак не согласны. Они разбрелись по стране и осели перед цветными телевизорами на разноцветных диванах. Иногда они садятся в машины и катаются по стране. Они заезжают на север и на юг, они фотографируются у Большого Семисвечника перед Большим Кнессетом. Бог знает какой борщ варится в их коллективном мыслительном чане! Шурясь, смотрят они на Большой Кнессет. Они здесь. И если на них посмотреть с одной стороны, то вроде бы они – фарс-инкарнация Пионеров, если же посмотреть с другой стороны, то ведь во всяком фарсе есть что-то от явления, его породившего.

Пионеры питались идеями в панировочном компосте. Пионеров съели Волчата. Волчат съели Дети Вудстока. Детей Вудстока съедят жаботинки и жаботфорты?

В нас прорастают те, кого мы съели, и те, кого съели те, кого съели мы. Съеденное нами прорастает в нас. Исторический каннибализм – основа основ современного сионо-сионизма.

ПОРТРЕТ ВЕЛИКОЙ ВОЛНЫ

Я. решил поделиться секретом нового увлечения, литературного, со своим ближайшим другом мужского пола (все-таки, первейший его друг – Баронесса). Он показал Б. миниатюрку “Портрет Великой Волны”. Собственно, “показал” означает: прочел вслух. А поскольку читать вслух Я. не мастер, то голос его порой доносился, словно из пустой зеленой бутылки, а порой истончался, будто он подвывал, прижигая себе ранку.

“ Я.

Портрет Великой Волны.

Со своими братьями, русскими евреями, занесенными великой волной 90-х, я по-настоящему познакомился только здесь, в Еврейском Государстве. Потому что там, в России (как говорим мы сейчас), или там, в Союзе (как говорили мы прежде), их приходилось выковыривать как таракана из булки или случалось наткнуться на них как на пса в подъезде. И вот, сложилась у меня здесь некая классификация русских (советских) евреев”.

При слове “классификация” Б. взглянул на Я., но продолжил слушать.

“Так вот, я, никогда не бывавший в Ташкенте, по прошествии многих лет, проведенных в Еврейском Государстве, первое место без раздумий отдаю нынче ташкентским евреям. Потому что меня лично они ничем не раздражают, хотя, казалось бы, уже сам по себе этот факт, – причина для раздражения. Но нет. Я бы даже сказал, что они родственны в чем-то евреям питерским и отличаются от последних тем, что с них будто сбита спесь начитанной прислуги, которая в евреях питерском так отлична от барской спеси еврея московского. Своего родного брата, еврея украинского, я тут же узнаю по немедленному желанию его пнуть и по особой, въедливой смеси хамства с шлемазливостью (я и сам такой). С удивлением обнаружил я, что еврей кишиневский даже одесского превосходит в развязности, а жизнерадостность его вообще не знает границ. Еврей черновицкий наивен, и это немного чувствуется даже в книгах Аппельфельда, которые очень люблю. Особый вид – бакинский еврей. Таковых здесь немного из-за их высокой сцепляемости с

русской жизнью, но даже по тем немногим, что имеются в наличии, по их независимой осанке, чувствуется, что их положение в Баку было выше даже положения армян. О евреях белорусских сказать ничего не могу, видимо, они легко сливаются с любым фоном. Хотя вот был же у них Шагал. Еврей прибалтийский в Еврейском Государстве изучает русский язык, и за это очень хочется погладить его по головке. О евреях бухарских я в России никогда не слышал, считая их литературным дополнением к бухарскому халату, удачной выдумкой Ильфа и Петрова. Правда, однажды в севастопольском троллейбусе пожилой узбек в медалях долго глядел на меня, а потом спросил: “Еврей?” “Да”, – ответил я ошалело. “У нас тоже такие есть”, – сказал он удовлетворенно. Но, может быть, он имел в виду ташкентских евреев, а не бухарских? Этого я уже никогда не узнаю. В любом случае удовлетворенность его была мне приятна. О евреях грузинских скажешь что-нибудь – обидишь, обойдешь молчанием, – обидишь еще больше. Поэтому я молчанием не обхожу, но и не высказываюсь”.

Я закончил чтение и взглянул на Б. Б. неожиданно обиделся и заявил, что насчет украинских евреев все верно, остальное – перехлест.

– Ну да, – сказал Я. с вызовом, – я еврей украинский. Когда в детстве меня посылали на математическую олимпиаду в областной город или я играл за свой город в шахматы, моими соперниками были еврейские дети из Житомира, Бердичева и Коростеня. Только в таких местах рождаются Я., как в России в Рязанской губернии только и мог родиться поэт Есенин.

N++; ЩЕКОТЛИВАЯ ТЕМА И НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ

– А вот скажите, – спросил Я. – любовь по шкале приоритетов стоит выше национальной идеи?

– Выше, – ответил Б.

– А комфортно ли национальное государство для смешанных семей? – спросил Я. – Для их детей?

– Детей? – переспросили Котеночек с Баронессой почти в один голос и будто подняли крылья, чтобы взять под защиту детей. Я. же показалось, что в этом вопросе у них одно крыло на двоих.

Но и мужчины, у которых, инстинкт защиты детей хоть и не так силен, как желание оградить своих женщин от других мужчин, как-то сразу скили. А. свел брови и стал похож на пыльное чучело филина в школьном музее краеведения. И будто разбежались все в разные стороны. А куда бежать? Вокруг – Еврейское Государство, за ним – либо Соседи, либо море. Нырятьщиками без кислородных баллонов в подводном гроте, ищут они пятно света, ведущее к воздуху. Б. только промывал что-то, так и не выстроив развернутой словесной фаланги, долженствующей доказать вне всяких сомнений, подобно дуэльному выстрелу, широту взглядов Кнессета и лично Б. интеллектуальную чистоту. Я., кажется, хочет стряхнуть с рукава паука, которого сам же на рукав посадил. Ощущается желание сбежать поскорее от этой темы. Но мазохист Я. (нет ли тут родства душ с пианисткой и ее наклонностями?) – продолжает:

– Интересно, что акклиматизация вновь прибывших частично зависит от пола – нееврейские жены, как мне кажется, от дискомфорта вообще не страдают. Они осматриваются, берут в руки условный строительный инструмент и начинают возводить новую жизнь безо всяких рефлексий. У мужчин чаще можно заметить потерянный взгляд, пока не зацепятся за что-нибудь прочное – работу, новых друзей. Но и те и другие легче переносят материальные тяготы и неудобства вставания в чуждый им грунт, чем их еврейские партнеры. Видимо, потому, что не ожидают немедленной награды за свой подвиг. Но, в общем, с нашей волной все обошлось, по моим наблюдениям, довольно прилично. Во всяком случае, мрачный прогноз Достоевского о том, как восемьдесят миллионов евреев сгноили бы три миллиона русских, сложись такая пропорция, явно не оправдался. Хотя пропорция, будто назло Достоевскому, именно такая и сложилась.

Ревнивый счет к Достоевскому, кажется, очень задевает Я. Он всем своим видом, будто, грозитя удавиться за душевный комфорт соплеменников Ф.М., лишь бы улыбнуться надменно его мрачному лику. А без Достоевского? – спрашивает он себя. И без Достоевского тоже, отвечает, и в ответе его несложно уловить раздражение. Тут ловушка, чувствует он. Тут камень, без которого все здание рухнет. Тут слезинка ребенка, которая, вот хер вам, грубостью прикрывает он растерянность, – по его вине не прольется.

– В акклиматизации был использован местный ресурс, – сказал Б. – У России имеется нефть, в ЮАР – алмазы, а наше главное богатство – Соседи. Их враждебность объединяет нас. Надо отдать должное телевизионщикам, они от критики в адрес Российской Империи или от нападков на ее потомков здесь бегут, как черт от ладана.

– Ага, – смеется Я., – значит, ты симпатизируешь политкорректности?

– В статьях “черно-пантерного” крыла русскоязычной прессы утверждают, – продолжает Б., улынувшись, – что русофобией полны ивритские газеты. В русофобии этой, правда, не отличает практически евреев из Российской Империи от этнических русских, но газет я не читаю и подозреваю – это бойкие перья с двух сторон разогревают друг друга.

– А я, как до приезда сюда, так и после, не вижу в многокультурности и многоцветье никаких проблем, скорее наоборот, – Котеночек возвращает скользнувшую было в сторону беседу к ее первоначальной теме, и в голосе ее при желании можно услышать вызов.

Тут неловкость снова вернулась в Кнессет Зеленого Дивана. Котеночек своими словами и своим присутствием напомнила членам Кнессета об отсутствующем В. Он отсутствует не по болезни или по делам, он на сборах резервистов, дежурит на каком-то объекте на Голанских высотах. Еще неизвестно, стали бы они при нем обсуждать эту тему, чтобы ненароком не задеть его любимую бабушку Феодору Михайловну. Господи, думают они, что же за минное поле этот национальный вопрос? Ты от него убегаешь, а он находит тебя на другом берегу. Неужели, только сидя на унитаза в тесном сортире, упираясь плечами в стены и носом в дверь, может окончательно расслабиться человек, не опасаясь задеть другого? Видимо, так. Или уж снести и стены, и дверь и срать у всех на виду, – разошлась безудержно совесть Кнессета Зеленого Дивана? – Так лучше?

Хамсин терпимости накатывает на Кнессет. Они молчат. Как реализовать им свое желание жить в национальном комфорте, никого не задев?

Тут воспоминание посетило Я. – их было трое командировочных в номере гостиницы. Тогда еще, в Российской Империи. Однажды, когда он вошел в комнату после прогулки по городу, между двумя его соседями стояла бутылка вина и велась, как понял Я., беседа о евреях. Один из них сделал попытку включить Я. в разговор. Беседа, судя по тону, была доброжелательной. Я. сказал, что сейчас вернется, только заглянет в ванную комнату помыть руки. Когда он выходил из нее, он успел услышать обрывок фразы второго соседа, которому вино уже замедлило реакцию, и потому он не закончил фразу вовремя, до его, Я., появления в комнате.

– ...оставь, они не любят, когда говорят об этом.

Я. присел к ним, беседа шла уже на другие темы.

МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ

Самоотверженность идиотична, как поэт, защищающий грудью больного фюрера в его последнем убежище. Единственная человеческая жизнь поэта положена на чашу весов, потому что на чаше второй – его привычка принадлежать великому. Это великое было смыслом его личного бытия. Без этого руки его будут плясать, как руки фюрера, и ложка супа прольется на его пиджак, как пролилась она на лацкан костюма фюрера из его трясущихся рук. Поэт знает, что его самоотверженность – только наркотик, но без него обесмыслится жизнь. Потому через миг его светлые волосы развеются по бордюру, а солдатский сапог встанет ему на лицо. Не для того, чтобы его унижить, а потому, что так прямее идти вперед. Солдат знает, что мгновение под обстрелом важнее того, наступил ли он на открытый глаз. Потому что поэт мертв, а солдат еще нет. Либо он укроется за колонной и вытрет каблук, либо, может быть, упадет и забьется в обнимку с поэтом в предсмертной пляске. Этот выбор навязан ему высоким чувством поэта, которому не фюрер – бог, а идея величия воли – богиня. Ведь все люди умрут по списку судьбы. Важнее те саги, что останутся после них. Поэт не из тех, кто ел мясо и делал вид, что не знает, как именно убивают животных, назначенных человеку в пищу. Если вы не отказываетесь от мяса, вы обязаны убивать, убедил он себя однажды. Пишущий романы может вплетать сомнения в ткань своих перипетий. Поэзия не падает отрубленной головой в корзину, только пока у нее есть крылья, влекущие ее ввысь. Он хотел рефлексии, хотел заполнять полными строками тетрадь в клеточку от скрепки до белого поля и от красной черты полей до изгиба тетради, но он лежит теперь с одним вытекшим глазом, а глазом невредимым даже поэту трудно увидеть небо, если поэт мертв.

Писатель прожил жизнь в поиске, чужое великое не брало его под свой алый плащ. Он с искренним чувством и нежностью вписывал свою жидовскую морду в дворцовый ансамбль и в русский пейзаж, желая того, чтобы вписанность эту замечали лишь те, кто способен ее оценить. Он любил поэзию и жаждал цельности, но даже если сорвет свою голову, надев ее на шпиль Петропавловской крепости, не избегнет он мнения, что другие головы шпилью приличествуют больше его головы. Если среди колосьев русского поля мелькнет его зад, художник возьмет в руки кисть и добавит на картине колосьев. Он презирает величие и цельность, но

упорно ищет эквивалентную им субстанцию. Иногда ему хочется сунуть палец себе в самую задницу и мазнуть им величие, чтобы наконец ощутить цельность. У него два глаза целы и оба печальны. Он не рассчитывает на выбор между поцелуем и розой. Если сравнить его с мертвым одноглазым поэтом, он выглядит несчастнее потому, что все еще жив и размышляет о том, что лучше – прыгнуть с высоких лесов на пол собора или заснуть на льду широкой реки. Никто не жалуется ему облегающий выстрел в затылок, время которого прошло и которого он не услышал бы.

Дулая многозначительность нагромождения слов не отменяет простоты уже сказанного. Небо светлее моря, бегущие по нему облака легче кораблей, чья внутренность должна быть легка, как облако, и ощутимо больше вытесненной кораблем воды, в свою очередь навалившейся на сушу ровно настолько, насколько корабль погружен в море. Сцилла и Харибда так же тверды духом, как три тысячелетия долой. Сцилле доктора запретили глотать моряков, оставив ей только рыбную пищу. В пасть Харибде, измученной поглощенной ею морской водой, швыряет Сцилла календари, подаренные ей ее страховым агентом.

Не попросить ли нам членов Кнессета Зеленого Дивана, уже обсуждавших однажды творчество писательницы Эльфриды Елинек, прокомментировать эту темную главу.

“Пожалуйста! – отзывается Кнессет. – Можно. Почему бы нет”.

N++; О ГЛАВЕ “МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ”

- Автор играет словами. Ему самому это нравится, вот и оставьте его в покое,
- говорит Я. – А может быть, и еще кому-нибудь это покажется занимательным...
- Нет, нет, – возражает А., – текст полон глубокого смысла. Давайте разберем его слово за словом, строка за строкой.
- Предложение за предложением, – поправила его Баронесса.
- Подъем за подъемом, – предложила Котеночек.
- Манерность за манерностью, – уколоч Б.
- Да, – сказал В.
- А. начинает.
- Автор сообщает миру о трагедии духа, выраженной в противопоставлении образов немецкого поэта-нациста...
- Шиллера своего времени, – вставляет Котеночек.
- ...захваченного идеей величия (в данном случае – его Родины), – продолжает А., – и рефлексирующего еврея-писателя, живущего то ли в Санкт-Петербурге и не имеющего дачи в Комарово, то ли в Москве и навещающего порой Переделкино.
- Ух, как здорово от Комарово отправиться компанией в ночной поход на лыжах через лес! – вдруг заявляет Б. – Лыжня накатана, тишина просто звенит под луной, деревья кажутся черными. Потом остановка на отдых, костер на снегу...
- Арава, вади, солнце, горный велосипед, пот ручьями... – отвечает ему Я.
- Желание поэта писать прозу элегантно передано автором как стремление писать от скрепки тетради до красной черты тетрадных полей. Такие детали очень оживляют текст, – говорит Котеночек.
- Я вижу в этой красной черте также символ кантовского нравственного императива, – утверждает Б.
- Но ведь поэт прав, – игнорирует А. иронию, заключенную в замечании Б., – если ты поэт и ешь мясо, ты не должен передоверять мяснику грязную работу убийцы животных. Это аморально. Аморальнее, чем убивать самому.
- Поэт мертв. Разобрались с ним, – подводит итог В. – А теперь – писатель.
- Худощавый еврей-писатель с грустным взглядом, чей хилый зад, мелькнувший где-то в Подмоскowie, русский художник зарисовывает золотистыми пшеничными колосьями а ля Левитан. Какой сильный образ! – восклицает Котеночек.
- А почему ему так грустно? – спрашивает Баронесса сочувственно. – Суицидные мысли...
- Все дело в шпиле Петропавловской крепости, – отвечает Б., – писатель знаком с русской историей, с русской национальной амбицией и понимает, что на этот шпиль должна быть насажена или голова достойного России врага, не мельче Америки или Китая, или (что может быть достойнее!) своя собственная. Голова еврея с хилым задом – это насмешка, кузнечик, подцепленный острием шпаги.
- А мне его жалко, – говорит Баронесса. – Ну, пусть себе любит шпилем Адмиралтейства.
- Или очаровательной покатостью брусчатки на Красной площади, – добавляет Б.
- Пусть, – соглашается В.
- Покончив с этими двумя, – объясняет Котеночек, – автор сначала взмывает в небеса мощным литературным аккордом, в котором слова мешаются с кораблями, и затем, сложив крылья, камнем летит в глубины греческой мифологии, завершая

главу древнейшим символом опасного прохода, проходить через который приходится символу человечества – Одиссею-Блуму – между двумя ужасными скалами.

– А причем здесь календари и страховой агент? – спрашивает А.

– О! Это – постмодернизм. Это от Елинек, – отвечает Б.

Я. угрюмо молчит.

N++; СЕСТРЫ, ЕВРОПА, ВОСТОК

– Наши отношения с Дальним Востоком, с Китаем, например, и Японией, лишены эмоциональной окраски, в них нет двухтысячелетней истории любви и ненависти, напрасных и ненапрасных подозрений, оплеванной верности, – сказал Я., – то есть всего того, что составляет семейный эпос. Евреи – неотъемлемая часть истории Запада.

– Его незаживающая язва, – добавил Б.

– И это, – засмеялся Я. – Ты, кажется, расстроен чем-то сегодня?

– Да, – ответил Б., – гримасой истории: две с половиной тысячи лет назад триста спартанцев перекрыли в Фермопильском проходе дорогу персам. А триста британских евреев сегодня, забыв о персах, подписали обращение, осуждающее Еврейское Государство. Британские евреи возмущены коллективным наказанием палестинского народа и арестами представителей демократически избранного правительства. Речь идет о правительстве, которое их собственная страна вместе со всей Европой официально признали террористическим. Всего полвека назад такие же демократически избранные правительства были повешены или расстреляны в Германии, Японии, Италии и Франции, а отличающиеся особым гуманизмом правители Острова Пингвинов своему пытавшемуся отравиться премьеру промыли желудок и лишь затем расстреляли. Триста британских евреев опоздали родиться, чтобы грудью встать на пути у незаконной высадки в Нормандии, не дать свершиться коллективному наказанию в Дрездене. Но нынче триста еврейских героев стоят начеку: “Прохожий, возвести миру – живы триста евреев!”

– Ну, не стоит так уж воспламеняться по поводу деклараций прекраснотушия, – заметил Я. задумчиво. Евреи, между прочим, среди родоначальников и виртуозов этого жанра. Порядочным людям возражать трудно и неприлично. Да и небезопасно: готовность людей доброй воли выставить во имя всеобщего примирения на витрину истории свою улыбку рядом с усмешкой патентованного убийцы вполне сочетается у них со способностью к бескомпромиссной вражде, жестоким бойкотам, обструкциям и остракизмам в отношении идейных оппонентов – скучных консерваторов во фраках и рубашках с не обгаренными кровью белыми манжетами.

– Скажи, – вдруг обратился к нему А., – ты считаешь, что у Старшей Сестры есть шанс сделать на Востоке то, что ей удалось совершить в Европе после Второй мировой войны?

– А в Европе удалось? – в свою очередь спросил Б.

Кнессет печально хмыкнул.

– На Востоке, надо полагать, удастся в гораздо меньшей степени. Но ведь я – всего лишь еврей, – с неожиданным смирением заметил Б., – они WASP, они упрямые, как знать... Уж во всяком случае, если они берут порой на себя этот сизифов труд, платят за него собственными деньгами и кровью, – у кого есть право читать им мораль и давать советы?

– И что же делать с Востоком? – спросил А.

Кнессет Зеленого Дивана, кажется, решил пополнить оскудевший после иракской войны банк идей о путях преобразования Востока.

– Не знаю, может быть, то, что делают в случае карантина, – разоружить, изолировать и ждать, пока время не излечит, – не слишком уверенно ответил Б., – а впрочем, задай свой вопрос Старшей Сестре, – добавил он, – на то она и Старшая Сестра.

– Исцеление Востока возможно только его собственными силами, – сказал Я., – в результате катарсиса. Катарсис же наступит, и дрогнет азиатский патриархат только в результате победы женщины Востока, а чтобы это приблизить – с мужчинами Востока нужно перестать сюсюкать, а отнять у них бритвы и поднять их на смех.

– У меня идея, – предложил добрейший В.

– Какая? – настороженно спросила Баронесса.

– Шелковый антракт, – сказал В.

– Это еще что?

– А вот разделить Восток на две части – мужчин и женщин. Женщин поселить в Азии, а мужчин – в Африке, и позволить им возобновить процесс размножения лишь тогда, когда откажутся от насилия...

– Ну и ну, а если такая мысль придет кому-нибудь в отношении евреев? – сказала Баронесса и ласково посмотрела на В.

– Ужасно, – вообразил Б., – но не поможет – еврей размножается словом.

За глупую шутку В. получает желтую карточку. Еще до всякой утечки в прессу Кнессет заранее приносит свои извинения всем тем, кого она могла бы задеть. Ты ненормальный, отчитывают они его шепотом “off the record”, – хочешь, как датчане со своими карикатурами на Мухаммеда, получить миллиард оскаленных зубов и тысячеглотковое подвывание европейских шакалов? Ты разве не знаком с результатами опроса среди сотрудников ВРС (British Politicorrect Corporation)? Ради смеха, высказались они, можно бросить в мусорную корзину Библию, Тору, Англиканские святыни, все, кроме К., книги, полное название которой нельзя произнести неверному.

– Да ведь они, эти сотрудники, таким мнением миллиард человек отправили назад в пампасы. Они этого что, не понимают? – продолжает разыгрывать из себя дурачка В.

Теперь он уже разве что подзатыльников не получает от Кнессета.

– Шелковый антракт – это слишком, – говорит ему А. с серьезностью гаагского суда. – Я предлагаю применить генетическое оружие.

– А это что? – воскликнула Баронесса.

– Изменить генетику Востока так, чтобы все там стали пацифистами.

– Как в Германии?

– Нет, в Германии пацифизм дисциплинарный, на Востоке это не подействует. Восток спасет пацифизм генетический, передающийся по наследству.

– Здорово! – воскликнул Б. – В трюмах грузовых судов, в рыбачьих лодках, в рефрижераторах для перевозки продуктов нелегально будут пробираться в Европу и в Еврейское Государство люди Востока с одной целью – поцеловать христианина, облобызать еврея. Священный Джихад Всеобщей Любви захлестнет планету. Громадные толпы будут собираться в городах Востока, размахивая звездно-полосатыми и бело-голубыми флагами. И всюду транспаранты: “Мы вас любим”, “Живите вечно” и слезы, слезы любви, море слез и цветов.

На глазах Кнессета Гуманного Порыва тоже – едва ли не слезы умиления. Генетическое оружие получает полное одобрение Кнессета.

– Аминь! – выпили они за новый виток гонки вооружений.

– А нельзя ли привить чего-нибудь и Острову Пингвинов? – загорелся идеей Б.

– Нет, – ответил А., – дети Пастера уже привили себе генетический вишизм. Говорят, наслышавшись о нашем зодчестве в Уганде, академия Острова Пингвинов объявила конкурс на скульптурную аллегория миролюбия – Пьер Лаваль, разрушающий гильотину.

– Не будем такими пессимистами, – сказал оптимист Я., – ведь случилось уже, и житель Острова Пингвинов, стоя перед зеркалом, вперял в него обличающий взгляд, направляя указующий перст и говорил: “Я обвиняю”.

– “Что было, то будет”, – произнесший эту фразу В. – из породы оптимистов.

– Возможно, – сказала осторожная Баронесса.

МЫСЛИ О ТОМ, КАК НЕСХОЖИ ГОСПОЖА Е. С ГОСПОДИНОМ Е.

Понятное дело, речь идет не о каких-то там неизвестных вам супругах Е., но о наших старых знакомых. Мы ведь с самого начала поставили вас в известность, что в культуре важна преемственность. Мы по радио прослушали целую лекцию о том, как важен для этнокультурной общности общий тезаурус ассоциативных понятий. После нее никаких сомнений в этом у нас не осталось, хотя и раньше не было. Надо отметить только, что для того, чтобы прослушать лекцию, нужно прежде всего включить радио, а чтобы включить радио – сесть за руль. Автомобильные пробки – культурный родник современного мира.

Господина Е., между прочим, при жизни никто не называл господином. Он тягал кабели в аэропорту Шереметьево, писал поэму, но ему и в голову не пришло ни разу назвать себя господином, и никто вокруг господином его так никогда и не назвал. Он не оставил нам и рецепт такого коктейля, который побудил бы его героев назвать его господином, а представителей известной национальности – евреями. Это мы проверили надежным компьютерным способом. Чтобы не запутаться с падежами и окончаниями, мы послали в поиск “евре” и таковое обнаружили сначала на перегоне Кусково-Новогиреево в качестве “своевременн...”, а потом между Электроуглями и 43-м километром все еще “невредим”. Заинтересовавшись, поискали мы и слово “жид”, и помимо его совершенно естественного расположения в сочетании “жидовская морда” особенно часто нашли его в слове “ожидаемый”. Для изучающих мистику и каббалу – соблазнительная задачка.

Очень разные это люди и писатели – господин Е. и госпожа Е. У господина Е. стиль иронический, а постмодернизм умеренный, госпожа Е., напротив, больше пишет о женщинах.

В общем, они отличаются, как вагон его поезда отличается от вагона ее трамвая. Вы составьте мысленно один состав из его поезда и ее трамвая. Выйдет из этого одно огуленное молчание. В немом изумлении будут они глядеть друг на друга. И вовсе не из-за одного только языкового барьера и старой фронтовой линии. Так, в вагоне господина Е. у людей глаза выпуклые, которые господин Е. любит. А в трамвае госпожи Е. у всех друг к другу претензии, а сама госпожа Е. даже нам не предлагает их полюбить.

А теперь набейте автобус делегатами конференции центра Партии Горячих Патриотов, и автобус этот вставьте в состав между вагоном трамвая госпожи Е. и вагоном поезда господина Е. Молчание при этом немедленно испарится, а озадаченность обозначится. В общем и целом вы получите при этом мыслимую модель многокультурного общества.

– Да мы уж давно поняли, что многокультурное общество вам не по душе, – говорите вы. – А что же вы взамен предлагаете?

– Да ведь мы вам только об этом и твердим, – откуда ни возьмись появляется и всплескивает руками Кнессет Зеленого Дивана, – мы предлагаем сообщество красивых и дружелюбных культур с размытыми и протекаемыми границами. В этом нет никакой идеологии и никакой агрессии. Это простое соображение комфорта, родственного комфорту семейному. Ведь и семьи так любят ходить друг к другу в гости.

– Знаем, знаем, кто в эти протекаемые границы протекает первым. Вольно вам рассуждать, – говорите вы, – а вот слабо вам соблазнить своих собственных сородичей и единоверцев этим вашим национализмом с человеческой мордой? А знаете ли вы, какой был самый популярный анекдот в Америке в 1948 году, когда это самое ваше государство образовалось?

– Знаем, – говорим мы. – Но если хотите, расскажите еще раз, мы ртов никому не затыкаем (не затыкайте и незатыкаемы будете – это наш святой принцип).

– Самый популярный анекдот в Америке 48-го года: “Евреи едут в Еврейское Государство”.

– Ну что нам с вами делать, читатель, если вы вечно правы?

– А уж коль вы сегодня расположены выслушивать наши замечания, то мы вам по-дружески шепнем на ухо, что прямое декларирование ваших идей противоречит законам изящной словесности.

– О боже, как вы беспощадны сегодня. Да ведь вы сами и спросили, что мы предлагаем вместо многокультурного общества.

– А вы не соблазняйтесь, не соблазняйтесь. Мы вас напрямую спрашиваем, а вы нас обиняками, обиняками куда вам нужно подталкивайте.

– Молчим, молчим. За вами, наш собеседник, всегда последнее слово.

– А вот теперь вы к нам бессовестно подлизываетесь.

–

– А это зря, вы не в прямом эфире – у вас есть время остыть, подумать и высказать что-нибудь вполне оригинальное.

А тут еще Веничка снова является Я. и говорит ему под руку.

– Это что же это у тебя получается? – вопрошает он. – Меня ты понимаешь и учительницу музыки обхаживаешь, а вот к своему Пастернаку – любви в тебе нет? Я тебе вот что скажу: вы ведь коньяк пьете маленькими рюмочками, и виски у вас в стакане на доньшке, да еще с ликером Drambuie для сладости. И у вас там зрелая любовь с воздушными выебонами, а вот в своей национальной идее вы, кажется мне, не так уж тверды, и Жидовское Государство ваше – не таково в наличии, каким оно в ваших снах сухих вам пригрезилось.

– Провалиться тебе, пьянь с коленцами! Что ты ухмыляешься, Дон Жуан из Лобни, сфинкс непроблевавшийся? Разве ты не знаешь, что нет совершенства без изъяна? Разве блудница твоя не пьет дрянью стаканами, недрами не хлюпает? Разве жизнь не есть то, чего тебе хочется, а не тот суррогат, что у тебя в стакане? Разве мир толкают те, что щупают пальчиками перед тем, как присвоить? Где ты видел, чтобы те, которые все понимают правильно, самой лучшей бабы добились? Разве половины нужно возжаждать, чтобы вырвать три четверти? Разве госпожа Е. и господин Е. (Я. забыл, кажется, с кем спорит) не тем похожи, что каждой буквочкой хотят невозможного? Не оттого ли я вокруг их писаний орбиты вычерчиваю, что писания эти шипят в черных котлах кипящей смолой в холодное туманное утро?

– Ладно... разобиделся, добавь чуть дизиктола (там, у тебя в кладовке) в этот ваш Blue Label из Duty free и выпьем... какая еще смола? Смола – в аду. А что твоя Баронесса думает по поводу смысла жизни? – интересуется Веничка, выпив.

Я. тоже рюмочку в рот опрокидывает, но как ни старается, а чуть-чуть, самую малость, морщится, в ответ на что Веничка чуть-чуть, самую малость, ухмыляется. Я. не призывает Баронессу к ответу, она, скорее всего, от прямого ответа уклонится и скажет что-нибудь в шутку. Чтобы предположить все же ее ответ, Я.

непрерывно должен взором мысленным узреть лицо ее. Он и зрит. А узрев, изрекает:

– Не надо противопоставлять – жизнь есть то, что она есть на самом деле плюс то, чего мы хотим от нее.

N++; ОТ СОЦИАЛИЗМА К МНОГОКУЛЬТУРНОМУ ОБЩЕСТВУ

Хоть и совсем неактуальна тема социализма в Еврейском Государстве, о нем порой вспоминают с нежностью. Без пламенного порыва его и искренней самоотверженности не было бы, наверное, и самого государства.

– Грустное это дело – социализм, – вздыхает Кнессет.

– Несоциализм хорош, когда трудности позади, – неожиданно вставляет А., вспомнив свои метлу и совок.

Вспоминают и Я. с Баронессой о том, как шутили они над собой в те первоначальные времена безработицы после приезда, когда рассказывали друг другу о том, как зреет в них пролетарская ярость, растет чувство классовой ненависти. Как-то Баронесса устроилась на резку салатов в Бней-Браке. Оттуда она принесла восхищенный рассказ о пожилой арабке, голыми руками достающей овощи из кипящего масла. Знакомый с детства пафос пролетарского интернационализма жарким огнем кузницы, где собрались революционеры-подпольщики, хлестнул из ее рассказа. На третий день ее поставили на чистку рыбы. Четвертого дня не было. Баронесса на работу не вышла.

– А почему ты тогда сбежала? – спросил Я., смеясь.

– Трудно было, – Баронесса скорчила виноватую рожицу, и все рассмеялись.

Б. представляет справку об истории социального эксперимента.

– Были разные голоса вначале, – говорит он. – “Не так уж это ново, – говорил один голос, – загляните хотя бы в монастыри, там есть и бедность, и аскетизм, и дисциплина, и иерархия жестче, чем та, к которой вы привыкли”. Рабочее дело породило убожество везде, где оно победило. Чтобы оценить действенность дезодоранта, стоит применить его утром только с одной стороны, а вечером протестировать обе. Две Германии и две Кореи словно созданы были Провидением по Социальным Вопросам для чистоты научного эксперимента. Сентенцию Бисмарка о том, что идею социализма неплохо было бы опробовать на какой-нибудь стране, которую не жалко, часто с мазохистским упоением вспоминали в Российской Империи времен Перестройки. Но Провидение, не желая уступать в чувстве юмора “железному канцлеру”, самый чистый эксперимент на его стране и поставило.

– А как же Скандинавия? – спрашивает Котеночек?

– А что Скандинавия? – отвечает Я. – В Скандинавии – социальная Скандинавия, а не скандинавский социализм. Это так же, как с религией, – любая идеология, напеленная на национальное тело, принимает контуры этого тела.

На этом исчерпывается социальная тема в уважаемом Кнессете.

– Эксперимент с коммунизмом можно считать завершенным, и вот, умудренный опытом, я говорю: “Пробуйте многокультурное общество на какой-нибудь стране, которую не жалко”, – сказал Б. и оживился.

– А как же с Америкой? – это, конечно, А.

– Да пошел ты со своей Америкой, – бессильно злится Кнессет. – Америка такой же предел возможностей многокультурности, как Скандинавия – предел возможностей социал-демократии.

– Наши социалисты раньше делились идеями и деньгами, – замечает Я., – нынешние, как и европейские, – только идеями.

– Если будете экспериментировать с многокультурным социумом, – предупреждает Б. и Европу, и Старшую Сестру, – не забудьте послать ко всем чертям своих евреев, если они, как обычно, встанут в авангарде всего прогрессивного. Мы не хотим отвечать за них, как не хотим отвечать за евреев – ветеранов Великой Социальной Битвы. Метите их, куда хотите, хотя бы и к нам – мы их детей воспитаем по-своему.

– Ох уж эти люди доброй воли, – сокрушается Б., качая головой, – я недавно узнал о белой американке – защитнице прав цветных. Она ставит жестокие эксперименты, чтобы показать уязвимость цветных и бронированную нечувствительность белых, она доводит афроамериканцев до слезливой жалости к самим себе, а белых заставляет посыпать голову пеплом. Миловидной белой женщине, пытавшейся пошутить в этой атмосфере Инквизиции по-американски, достается ее жесткий взгляд и колючая фраза: “Если хотите, чтобы вас принимали всерьез, не будьте “милочкой”. “Милочкой” вы будете до сорока, а потом – старой каргой”.

– Как же определить этот либеральный энтузиазм? – спрашивает А.

– Религиозный либерализм?

– Либеральная Инквизиция?

– Изнасилование в либеральной позиции?
 – Либеральный террор?
 – Я уже говорил, что не верю в антисемитизм. Я не верю и в расизм, – вступил Я. – Я сошлюсь на кадры снятого здесь документального фильма. В нем две эфиопские девочки в форме Еврейской Армии рассказывают о себе. Их спрашивают, как они представляли себе в Эфиопии приезд в Еврейское Государство. Одна сказала, что думала, будто в Еврейском Государстве она будет жить вечно. А другая сказала, что ее мечта была и того смешнее – она думала, что, приехав сюда, станет белой. Нормальный человек не может быть расистом. Когда мне кажется, что меня заносит, я всегда ввожу себе это воспоминание как противоядие внутривенно. Помогает сразу.
 Как всегда, когда его охватывает волнение, Я. переходит на язык Си, как его бабушка всегда в таких случаях переходила на идиш. И он вставляет в свою речь функцию, которая, похоже, и будет единственным в своем роде произведением, в котором политкорректность сочетается с искренностью.

```
НетРасизму (не_принимает_аргументов)
{
  если ( вы == ДУБИНА или вы == КОЛОДА)
  {
    признания этих девочек не тронут вас;
  }
}
```

Теперь настала очередь Б. насмеяться.
 – Как и коммунизм, теория многокультурного общества круто замешена на фанатизме, а фанатизм всегда побеждает, – говорит он. – В нем больше энергии. фанатизм – неотъемлемое свойство человека. Отними его у него, и ты человека разрушишь, обесмыслив его существование. Человек, лишенный фанатизма, – мертвый человек, и идея отнять его у него – сама по себе только еще один вид фанатизма. Вот и тебе за твои попытки найти точку равновесия либералы откусят нос, а националисты обгложут задницу, – предрекает он гипотетическое будущее то ли самого Я., то ли его стремления к разумным пропорциям.
 – Дорого бы я дал, чтобы измерить точно долю лицемерия в либеральном фанатизме, – произнес Я. – “лицемерие и есть культура”, – сказала недавно молоденькая девушка с киноэкрана в одном фильме Острова Пингвинов. Вернее, сказал сценарист, стремясь вызвать умудренно-понимающую улыбку зрителя. Человека от животного отличает умение лгать, – добавляет Я.
 – А мне нравится, как “почернела” и “поцветнела” Европа за последние годы. В ней стало гораздо веселее, – заявила Котеночек, и все в очередной раз отметили, что в Кнессете Зеленого Дивана завелась европейская оппозиция. – Это необратимый процесс. И Европа всего лишь повторяет то, что уже столетиями делает любимая вами Америка. И приняв это как неизбежность, она открывает двери своего дома настежь (дома-то у нее, похоже, давно не было, по-женски почувствовала ей Баронесса, надо бы как-то подтолкнуть В.).
 – Ну почему же неотвратно, необратимо? – не соглашается Б. – Япония об этой неотвратимости знать не знает, и “новый” Китай тоже. И если в Китае резервы рабсилы еще велики, то ведь в Японии они давно исчерпаны, и ничего, живут же там люди. А Америка (“Да хранит ее Господь!” – шутливо и суеверно вставляет Б.) в эксперименте уже триста лет, а эксперимент и сегодня не выглядит завершенным. Я недавно узнал об американской индустрии отдыха, что еще в шестидесятых годах во многих местах массового отдыха евреям и афроамериканцам без обиняков объявлялось, что их в этих местах не ждут, и потому существовали еврейские и темнокожие этнические лагуны отдыха. Потом эти ограничения были уничтожены законодательным образом, места эти стали хиреть, но повзрослевшие и состарившиеся с тех пор отдыхающие (и евреи, и афроамериканцы) вспоминают о них с нескрываемой ностальгией.

N++; ЭСТЕТИКА БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО КОНФЛИКТА

“Смугленькие и те, и другие, зачем драться?” – сказала Баронессе и Я. о ближневосточном конфликте соседка по дому перед их отъездом в Еврейское Государство. Она никогда не пропускает репортажей оттуда, сказала она, ведь туда устремились ее милые соседи, к которым она успела привыкнуть с тех пор, как построили этот квартал кооперативных домов.

– Мое неприятие еврейского движения “Мир наступит завтра” носит вовсе не идеологический, а эстетический характер, – объявляет Я. – Их способ самовыражения смущает меня своей карикатурной провинциальностью, выдающей обрезки европейской моды за местный топ-модерн. Мне, ей-богу, милее ультра-патриоты, так похожие своей неподвижностью и уродством на забавных игуан, которых я видел в лобби эйлатской гостиницы. Таких же упорных (у самца игуаны – два члена).

– И ни одной ловкой руки, – вставила Котеночек.

– Правда, – продолжил Я., – вот в них есть эта милая простота, это ретро, вызывающее нежность к ним, а еще – протест против стеклянного колпака, за которым их держат. И заметь, среди рафинированных интеллектуалов несравненно выше процент этих типов с заоблачным эго и зеркально-нежным нарциссизмом, для которых самозабвенная песнь о социальном и наднациональном Эдеме служит, видимо, такой же отдушиной, как сексуальные фантазии украшают жизнь тихой добropорядочной женщины.

– Согласен, – заявляет Б. Еще бы, ведь для Я. -> Б. -> это его второе я. Вот и симпатизируют они одной и той же женщине (как жаль, что мы встретились только здесь, я познакомил бы его со своей сестрой, вынашивает коварные мысли Б.), Я. же втайне немного симпатизирует пианисткам.

– Жаботинского лишь по ошибке принимают за политика, – увлекается Б., – а он никаким политиком не был, он был эстетом. Причина ошибки его эстетического учения состоит в том, что он, как и все мы, был только полуазиатом и потому считал, что войны закончатся, когда Соседи поймут, что они не смогут решить вопрос силой. А эстетическая правда заключается в том, что когда Соседи поймут, что силой вопроса они не решат, вот тогда только настоящая война и начнется. Война фантазии против свободы. Тут еще неизвестно, чем кончится.

– Свобода не всегда удачно играет на выезде, – применяет Я. футбольную терминологию. – Но, защищая свой дом, свобода всегда побеждает.

– Нет, нет, мы не хотим соглашаться с такой эстетикой, – говорят европейцы. – Нужно строить мосты, а не стены.

– Европа пытается приготовить Востоку кофе, – иронично замечает Я.

– Стройте, – отвечает Б. гипотетическим европейцам. – Вложение денег в строительство стен в Европе скоро станет очень выгодным бизнесом, – замечает он на ухо Баронессе.

– Вы были совсем другими всего лишь несколько лет назад. У вас была тогда другая эстетика, с которой мы соглашались, – продолжают нить европейцы.

– Наша эстетика не изменилась, – отвечает им Б., – она на том же месте. Это жизнь переехала. Вы что-нибудь слышали о Сирийско-Африканском разломе? Он проходит в наших местах под Мертвым морем и Иорданом. Две гигантские плиты земной коры медленно движутся в разных направлениях. Я не помню точно, в каких направлениях происходит это движение, но кто-то из нас рано или поздно наедет на Европу – либо мы, либо Восток. В ваши представления об эстетике Соседей необходимо внести коррективы, – продолжает жестокий Б. наскокивать на европейцев. – Согласно этим представлениям их эстетика выглядит не то ребяческой, не то дегенеративной. Ни то, ни другое! Она просто пропитана фантазиями, вам непонятными. Вот, например, они палят в воздух из автоматов Калашникова, когда им задерживают зарплату. Эта круглая мысль – палять в воздух при задержке зарплаты – ведь никак не укладывается в ваши квадратные европейские головы? Верно? Разве в небе, куда они палят, есть кто-то, кто выдаст им зарплату, спрашиваете вы. И ведь патроны тоже стоят денег. И между прочим, это частью деньги, которые вы дали им на рис и кофе. Так было всегда. Мы ведь уже говорили вам о профессоре Егере и его “Древней истории”. Профессор писал в донацистские времена, то есть нацистская стройность мысли и постнацистская ее запутанность были ему одинаково чужды. Ни грандиозные идеи, ни тяжелые воспоминания не обременяли его сознания. Он, конечно, сочувствовал арийцам, семитов же считал склонными к крайней жестокости, но наделенными богатым воображением. Не будем иронизировать по поводу обобщений достойного профессора с высоты нашей исторической осведомленности, еще неизвестно, как посмеются над нами наши потомки.

– И что же? Значит, вечная склока? Разве можно так жить? – спрашивают велеречивого Б. оторопевшие европейцы.

– Можно, – отвечает Б. – У нас в Европе когда-то были отменные тренеры.

ירושלים (ИЕРУСАЛИМ)

“Город Мира” – так переводят его название рекламные проспекты, литературный продукт с наследственной склонностью к воодушевлению и преувеличениям. Трудно

выдумать большую пошлость об этом городе. Вечны идущие в нем войны. Эка невидаль, скажете вы, мало ли на свете было, есть и будет воюющих городов! Правда. Но этот город славен тем, что, ведя внешние войны, он никогда не прекращает войн внутренних.

Здесь когда-то с умудренными старцами спорили заносчивые юнцы, добившиеся своего и начавшие войну за выход из-под руки Рима. Здесь перед лицом неминуемого краха все те же юнцы спорили с Богом, в ярости резали они и евреев, чтобы больше было еврейскому Богу, чтобы заступился он за Иерусалим.

А совсем недавно праздновало Еврейское Государство День Иерусалима. По этому поводу устроил в нем Вседержитель грандиозный потоп. Потоп же (по своей уже воле) вынырнул из люков ливневой канализации, поставив на ребра массивные чугунные крышки, и поднял водяные столбы, высотой равные росту жены Лота и шириной в диаметр люка. Он затопил Соседские кварталы, и телекомментатор увидел в этом указующий перст небес, порицающий муниципальные власти за пренебрежение инфраструктурой в Соседской половине города.

Но сегодня погода чудесна, команда Кнессета Зеленого Дивана паркует машины на кривом позвоночнике проспекта Пророков, недалеко от больницы “Бикур Холим”, где медицинской сестрой была сестра Баронессовой бабушки, покинувшая Российскую Империю еще в двадцатых годах. Была бы она жива – и ее пенсию профукали бы, наверное, попечители старой больницы. Вот стоят перед нею вовремя не ушедшие на вечный покой ее ветераны. Они не жгут автомобильных покрышек, но и ретирады не знают. В Иерусалиме никто никогда не отступит. Поэтому город никогда не устроится пышным ансамблем по примеру Парижа или Санкт-Петербурга, и дома в нем не встанут ни шеренгой, ни квадратным каре, ни дугой. Потому что каждый дом здесь – в ежедневной готовности ввязаться в драку с домом напротив.

Компания движется к пешеходной зоне, где так тихо всегда по субботам и работает только пришлый “Макдональдс” и где нет сейчас цветов на местах терактов (почему цветы и кровь так любят друг друга? кровь просит цветов? цветы мечтают о крови?). Вот гостиница, которую взрывали наши горячие головы назло англичанам.

– Не лучше ли было взорвать это вышку напротив, странную смесь восточной стройности минаретов с британской практичной спортивностью? – говорит Б.

Они спускаются к парку, откуда смотрят на отстроенные турками стены Старого Города.

– Что из того, что турки, разве не те же турки отстраивали города в Германии? – это тоже Б.

Дальше – спуск к мельнице, прогулка по улочкам, где звучит английская речь. Еще вниз – вдоль Бассейна Султана, и теперь вверх – к Старому Городу. Снова вниз – к Стене, к той самой Стене. У кого-то сохранились дворцы, а здесь – только Стена, но ей обещано строить – вряд ли дворцы (ведь здесь нет королей и по-настоящему никогда и не было, а тех, которые заводились, – побивали камнями). А если не дворцы, то что?

– Что построится, то и построится, – говорит все тот же решительный Б.

Они приходят и в Храм Гроба Господня. Здесь веру, как физическое пространство, поделили греки, армяне, католики, эфиопы. Каждый из них расскажет вам на ухо как минимум о трех чудесах, безусловно свидетельствующих о том, что именно их версии особо покровительствует Предвечный. Здесь царствует дух. Это очень непохоже на собор Святого Петра в Риме, где скорее царствует красота и невозможно поверить, что представления о ней могут быть превращены в камень и свет теми же руками, что разделявают курицу на стеклянной доске, на которой нож не оставляет царапин. Члены Кнессета Зеленого Дивана глядят на все вокруг, понимая впрочем, что не глаза здесь главный инструмент постижения.

Осмотреть боковой придел им вежливо, но решительно препятствует женщина – экскурсовод польской группы. Здесь частная молитва, объясняет она. С коммунизмом у них в Польше покончено, и теперь они имеют полное право группой, всем вместе, общаться с Богом. Верить вообще лучше группой. Одинокая вера так же тяжела, как безверие. Члены Кнессета Зеленого Дивана послушно останавливаются перед польским шлагбаумом, но в душе Б. словно вращаются тяжелые жернова, и словесная мука, результат их работы, представляет собой обращенную к полякам надменную речь, которая однако не покидает пределов телесной оболочки Б.

– Представьте, что сегодня, такого-то марта такого-то 2000 + n-го года, где-нибудь на полуострове Таймыр зарождается некая новая народность X. И вот через тысячу лет в каком-нибудь месяце февраля 3000 + n-го года эта народность решает, что поляки ничего не смыслят в католицизме. А вот их католицизм, католицизм народности X, которому уже тысяча лет, – это и есть настоящий, правильный католицизм. И может быть, они будут правы? Полторы тысячи лет до прихода Иисуса сталкивались здесь убеждения людей о подходах к Богу. Эти убеждения терзали друг друга, пока не успокоились, не постарели, не обросли

седьми бородами и лоснящимися лапсердаками. Этот стол накрыт нами. И нам выбирать, какие блюда с него вкушать, а какие отвергнуть, утверждает Б. Сам он с этого стола не берет ничего.

“Типичная еврейская спесь, так много уже вам навредившая”, – скажет иностранный врач, если приложит стетоскоп к телу Б., чтобы прослушать хрипы его монолога.

– Не судите, доктор, – добродушно говорит Я. И добавляет загадочные слова: – “Он всего лишь хочет сказать, что не вернутся ни Шейлок, ни Тина”.

Я. смотрит на друга с иронией. Неисправимый боец! И почему он не поселился в Иерусалиме, а расположился у моря? А так ли уж он уверен, что не правы люди из British Politicorrect Corporation, зачем во все это ввязываться, не лучше ли уважительно и понимающе кивать всем, и особенно самым свирепым?

ЭПИЗОД С МУРАВЬЕМ

Б. заметил совсем миниатюрного муравья, поднимающегося по приземистой бутылке Drambuie к ее сладкому ликерному горлышку. Он, не думая, прижал его к коричневому стеклу бутылки. Муравей был так мал, что его останков Б. не разглядел на бутылке. Он вспомнил рассказ Т., который услышал в телепрограмме из Российской Империи. Упомянув о муравье, которому она помогла соломинкой перенести непосильный груз, она из этой точки проложила элегантную дорожку к божественному. Этот муравей, предположила она, после того случая потерял покой, бросил работать, слонялся ошеломленный по муравейнику, рассказывая всем муравьям, готовым оставить ненадолго свою ношу, о случившемся с ним чуде. Одни верили, другие поднимали его на смех, утверждая справедливо, что, сколько живут, столько и таскают тяжести на своих горбах. Мы в какой-то мере, возможно, муравьи в непонятных нам божественных предначертаниях, следовало из ее короткой притчи, рассказанной без напора.

Ну вот, подумал о себе с тоской Б. Она помогла муравьишке, внесла в жизнь муравейника глубокую религиозную мысль, с которой, возможно, начнется Великая Муравьиная Эволюция или Великая Цивилизация Муравьев. А я бездумно прихлопнул невинное существо. Он вспомнил, как слушала его молчаливая пианистка-жена звуки морского приобия.

– Что вы делаете с муравьями в саду? – спросил он Я.

Что-то особенное, склоняющее к воспоминаниям, было, видимо, в плотном воздухе вечернего сада, что вызвало в Я. воспоминание о том, как раскладывали они с Баронессой привезенные на грузовике с подъемным краном готовые квадраты травы из кибуца у моря и легонько утаптывали их на распушенной красной земле, привезенной до этого другим грузовиком и разровненной миниатюрным бульдозером с нарисованной на его боку треугольной кошачьей мордочкой.

– Садовник велел нам весной и осенью смешивать удобрения для травы с десятипроцентным дизиктолом и развеивать по траве, – ответил Я., – в этом году я, кажется, забыл это сделать.

Интересно, задумался Б., как же на самом деле сложилась судьба муравейника, в чью судьбу вмешалась воля Т. Может быть, муравейник разделен с тех пор на тех, кто уверовал в Т. и ждет, когда она придет к ним во второй раз и принесет несчетное количество хлебных крошек и дохлых мух, на тех, кто сомневается, на тех, кто спорит о том, как выглядит эта самая Т., верен ли ее канонический лик – гигантский муравей с пронизательным взглядом больших темных глаз. Больше всего шансов узнать истину было у одного муравья, поднимавшегося на стеклянную коричневую гору на запах ликера Drambuie, потому что гора стояла на стеклянном столике перед телевизором, в котором действительно можно увидеть Т. Увы, на его пути встала моя воля, сокрушительная и бездумная, кается Б. Если этот муравейник был в лесу, то муравьям повезло, продолжает все же рассуждать он, тогда Т. вряд ли наткнется на них во второй раз, и муравьи сохранят свою веру в чистоте и неприкосновенности. Если же речь шла о муравейнике в ее саду, то вполне может прийти садовник и посыпать муравейник серо-зеленым порошком десятипроцентного дизиктола. Встречи с богами чреватые непредсказуемыми последствиями, думает Б., вот древние греки это хорошо понимали.

ВОПРОС БАРОНЕССЫ

Баронесса застаёт Я. на кухне, где он подбирает совком и метлой недавно потравленного с помощью неисчерпаемого баллончика К300 взрослого крылатого таракана, ещё не вполне погибшего, заодно с набежавшими уже и суетящимися вокруг него мелкими муравьишками. Он готовится вынести их на улицу в мусорный бак. Если бы не муравьи, одного таракана он, наверно, отправил бы в ведро на кухне под раковиной.

– Вот тебе и Германия, брат! – говорит он таракану.

– Почему в своей книге ты не употребляешь обычных имен? – спросила у Я. Баронесса.

– Я не люблю человеческих имен, – ответил он почти инстинктивно.

– Почему?

Ответ последовал лишь после того, как в лице Я. обозначилась и исчезла кислинка, сжались и расслабились его губы.

– У человека не может быть имени, как нет имени у Бога или Вселенной.

N++; О РЕЛИГИИ

– Окаменелости, – стреляет Б. в очередной раз в ортодоксальный иудаизм. И даже не берет на себя труд объяснить.

– Они рожают детей, – вступается Баронесса.

– Пусть рожают, – Б. купается в волнах своей агрессивности, – но пусть платят соответствующий налог.

– Чем? – смеется Баронесса, – У них же ничего нет.

– Детьми, – в свете багряного заката Б. выглядит стопроцентным ацтеком. – Половину детей пусть отдают для светского воспитания.

– Но они же рождаются в иудейской вере, – с жалостью говорит Баронесса.

– Поправимо. – Б. оптимистичен. – Мы тоже родились с марксистскими убеждениями.

– Сбегут, – говорит А.

– Куда? Кому они нужны, кроме нас? – спрашивает Б. – Разве что сердобольная Германия их примет.

– Оставь немцев в покое, – говорит Я. – Это поколение безвинно. И, кстати, не читает нам фальшивых проповедей.

– Ты ведь, кажется, никогда не был в Германии? – уточнил Б.

– И не буду, – буркнул Я., – это другое дело. Между прочим, стоит разобраться с еще одной немаловажной деталью. – Весь вид Я. демонстрирует, что в своей жесткости, которая вот-вот должна прорваться наружу, он намерен перещеголять самого Б. – В нацистской Европе один совестливый еврейский мальчик страдал от сознания того, что столько важных и занятых взрослых так стараются его найти и убить, а он до сих пор прячется и жив. Выжив, став известным и опытным взрослым, он летал самолетами и, глядя вниз через иллюминатор, думал о том, как велика планета, но тогда, когда он был маленьким, не было на ней клочка земли, готового принять и укрыть его. Но разве канадцы и австралийцы должны были спасти его? Разве не родители всех этих пошедших на растопку младенцев обязаны были просчитывать ходы и ситуации будущего? Разве не подлость делать вид, будто все дело в немцах? И в канадцах с австралийцами? Тот, кто момент извержения вулкана встретил в доме, построенном им у подножия горы, из которой сочится лава, в ожидании Мессии, который уведет его от огня и пепла, тот – только жертва, заслуживающая одного лишь сострадания?

Ему никто не ответил. Б. меняет тему, возвращая ее в законное русло повестки дня Кнессета Зеленого Дивана. Он жалуется на то, что в этом мире никто не проявляет политкорректности к страдающим от безверия атеистам и агностикам.

– Любопытно, что Бог, рассердившись на людей, может наказывать их самым жестоким образом, – говорит Я., – они же продолжают любить его и верить ему. Значит ли это, что верующие люди много добрее Бога?

– Мне кажется, для многих и многих религия – это способ оправдать свою врожденную доброту, – заметила Баронесса.

– Для которой без Бога они не находят оправдания, – подхватил ее мысль Я.

– А я думаю, – провозглашает Б., – что вера означает отказ человека от своей божественной сущности. Я думаю, – повторяет он, – там, на небесах, Бог восседает в компании атеистов. Ведь правда, что за удовольствие ему, создавшему людей по образу своему и подобию, якшаться с рабами и лицемерами? Ведь либо раб, либо по образу Его и подобию?

– Если уж вера и фанатизм всегда побеждают благодаря заключенной в них энергии, – говорит Я., – то что-то ведь есть и в осмеянной вере в человека и лелеемый им прогресс, в возможность достигнуть физического бессмертия. Разве это правильно, что умирает человек и остаются брошенные им медяки на столе?

И снова выпрямляется Я., как будто АФРО- и ЧУРКО-СИОНИЗМЫ уже давно стали воплощенной действительностью и настало время двигаться дальше, гораздо дальше! Члены Кнессета признают за Я. право высказать что-нибудь в высшей степени патетическое, к чему, тем не менее, они готовы отнестись всерьез.

– Никто не доказал, – говорит Я., – что вечная жизнь и вечная молодость недостижимы.

С ним Баронесса, отмечает Б., что мне делать с вечной жизнью?

– Может быть, Человек с его упорством, – продолжил Я. ровным тоном, – способен прийти к бессмертию. И пусть тогда наши отдаленные потомки, осуществившие главную цель человечества, поставят нам памятник в Уганде с короткой надписью

СМЕРТНЫМ БОГАМ ОТ БЕССМЕРТНЫХ ПОТОМКОВ

Кнессет растерянно молчит. Он не уверен, что такие заявления он должен принимать всерьез, как не уверен в том, разыгрывает их сейчас Я. или и вправду высказывает какие-то затаенные мечты, которые ведь и более практичных и сухих людей посещают. И что делают эти сухие и рациональные люди с подобными мыслями? Улыбаются им в темной спальне перед сном?

Я. сжал губы, и лицо его стало непривычно жестким. Баронесса посмотрела на него с беспокойством. А. снова побледнел. В. смотрел, как гаснет и зажигается зеленое двоеточие на электронных часах, отсчитывая секунды его жизни. Выражение лица Котеночка было совершенно замкнутым. Б. думал о Пианистке, где она сейчас?

ПРОСТО СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕР

Они собираются поужинать вне дома, и Я., устроившись на кровати, наблюдает за сборами жены, мини-спектаклем, который он видел не раз, но который, надеется он, и сегодня будет в чем-то нов, как это случается, когда уверенные в себе актеры развлекают себя и зрителей импровизациями в каждом следующем представлении той же пьесы.

Сборы сегодня будут неторопливы и от будничной утренней процедуры, быстрой и точной, будут отличаться большей тщательностью. Не будут пропущены подтягивание губ, состроенные зеркалу грозные рожицы. “А рожицы зачем? – спрашивает себя Я. – Глаза, губы получены ею однажды и на всю жизнь, и она давно знает, что они умеют делать. Скорее, это проверка, ведь и актеры, должно быть, порой испытывают сомнения в своем мастерстве”. А еще будет чуть вытянута шея и повернута голова, чтобы примерить одну серьгу и обе отложить в сторону. Ведь еще в молодости он уговорил ее не прокалывать уши – вдруг она зацепится за что-нибудь? Порой, чуть сужая глаза и скашивая их, она проверяет, наблюдают ли за ней. Нужно обладать определенной смелостью, чтобы терпимо относиться к такому наблюдению. Она хмурится, не зная, что делать с прической, его совет перейти на короткую стрижку пока не принят. Без дела остаются флаконы духов, Баронесса ценит неподправленную чистоту. Она осторожно, с опасением косится на него, это момент, когда ее усилия могут быть внезапно разрушены. Когда же будет надето платье и произведен окончательный осмотр, она окажется в броне своей собранности.

Но пора и ему собираться, напоминает Баронесса, и Я. вскакивает, направляясь в ванную комнату, которую он спроектировал просторной, скупо разбросав по углам и стенам необходимые предметы так, чтобы каждый из них мог смело провозглашать свое право на занимаемое им место.

По опыту он знает, что, принимаясь за бритье, не следует думать ни о чем постороннем. Если же появилось необычное ощущение холодка и пощипывание, значит, снова зубная паста пошла в ход не по назначению вместо крема для бритья. Задумчивой коровой обзывает себя Я. вслух, но оборачиваясь к улыбающейся Баронессе, просит ее не запоминать формулировку. “Этой ошибки легко не заметить, – думает Я., – новые безопасные бритвы очень остры. В телерекламе показано, что у них целых три лезвия: первое поднимает щетину, второе ее срезает, третье производит зачистку, как командос в гнезде террористов. Красив рекламный поворот мужской головы на мощной шее. Но внимание приковано к пене и бритве. Пожалуй, не возникает отвращения к глянцевому красавцу с бицепсами. Разумно. Бицепсы в рекламе адресованы женщинам, покупающим новый бритвенный станок в подарок мужчине. Ведь для того, чтобы бриться, не нужны бицепсы. Бицепсы нужны для того, чтобы рекламировать бритвенные станки и соблазнять женщин”.

Ну вот – опять его понесло в рассуждения во время бритья! Я. установил, что погружение в подводный грот размышлений чаще всего происходит с ним, когда

бритвенный станок проделывает широкую дорогу в мыльной пене. Это похоже на снятое с высоты движение что-то тяжелое тянущего за собой трактора, проезжающего по белому полю после первого скупого снежка, когда температура колеблется возле нуля, и широкая темная полоса остается там, где прошла подрагивающая не от зябкой погоды, а от лихорадки собственного мотора машина. Если съемка велась с вертолета, думает Я., почему же не слышен его раздражающий стрекот, а только приятный далекий гул трактора? Ага, звук, видимо, вообще записывали не во время съемки, а наложили на изображение позже, направив микрофон на рокот трактора с расстояния в сотню метров, для чего трактор вывели из ангара и завели мотор на опушке деревни. Черт! Научится он когда-нибудь бриться, не думая? Но сегодня все обошлось, тюбики не перепутаны. Последний взгляд в зеркало – не осталось ли плохо пробритых островков.

– Смотри, у меня глаза сереют, – кричит он Баронессе в спальню, – я думал, цвет глаз передается только по наследству.

Убедившись, что его слышат, он добавляет уже тише: “Глубоко ты, однако, вошла в мою жизнь. А начинала так неуверенно и неловко – на снегу, в австрийских сапожках на скользкой подошве. Духи “Красная Москва”. Горькая календула на лице”.

Пора одеваться. Нужно быть кретином, чтобы при женщине надевать рубашку раньше брюк. Но лучше не делать этого даже тогда, когда в комнате никого больше нет, по той же причине, по которой инструктор вождения требует включать предупредительный сигнал на повороте, даже если вокруг нет ни одной машины и ни одного пешехода. Момент, за которым обычно наблюдают женщины, – завязывание галстука, этого рудимента бархатных камзолов, надутых фонарями полосатых бриджей и шелковых чулок, натянутых на ноги, заключенные в туфли с бантами. Случайно ли галстук выжил как копчик, оставшийся от хвоста? Но в Еврейском Государстве не выжил и он, став атрибутом официанта или портье в гостинице. “А зря – это единственное сохранившееся украшение мужского костюма служит связкой мира функционального с миром эстетическим. Эстетическое же превосходство иногда может стоять военного. Ведь битвы выигрываются лишь тогда, когда противник подавлен морально”, – говорит себе Я., в принципе знающий, что назойливое рутинерство ему к лицу не больше, чем любой женщине – накинутая на плечи облезлая лисица.

Но они теперь готовы, Баронесса проверяет содержимое сумочки, а Я. подхватывает со столика поблескивающий сталью брелок, на котором в связке помимо ключа зажигания – ключи от их дома и почтового ящика. Погода тем временем совсем испортилась, но они не меняют планов и под защитой зонтов вскакивают в машину, направляясь в сторону Тель-Авива. Лес Бен-Шемен, через который они проезжают, обычно такой прирученный и безобидный, наполненный скамейками для ленивых горожан, оккупирующих его по выходным дням, сегодня стал вдруг темен и мрачен под хлещущим дождем с молниями и ветром. То напрягаясь и наклоняясь в сторону дороги, выдувает он из ложбины одним длинным потоком воздух, будто измеряет объем легких в призывной комиссии, то дрожа от попадания молнии, словно сжимается, стремясь обратиться в мох. Гром, знает он, ему нипочем, но от грома вибрирует земля, и с нею – трясется вцепившийся в каменистую почву лес. Туча, зависшая над ним, выглядит такой плотно-тяжелой и выпуклой, что, кажется, скрывает под собой гору, подножие которой где-то рядом, в этом лесу. Но никакой горы под тучами нет, точно известно водителю и его спутнице. Машина, иногда натываясь на пересекающий дорогу невидимый тонкий и прозрачный поток дождевой воды, словно вздрагивает и выгибает спину, как котенок над мышью. Долю секунды она в смятении, будто спрашивает, что ей делать дальше, но потом успокаивается и обретает верный курс. Они обычно молчат в машине, слушая новости и музыку, терпя рекламу. В Тель-Авиве дождь слабеет, и когда они въезжают на набережную, солнце, изготовившееся к вечернему спектаклю с закатными эффектами, из-за не разрушительно наплывающих друг на друга облаков мирно подсвечивает и мокрый асфальт, и застывший влажный песок, и взлохмаченное море.

Они устраиваются в открытом ресторанчике на берегу моря, и пока Баронесса пристраивает сумочку на спинке стула, Я. уже заказывает девушке, студентке по виду, креветок в соусе из масла и вина. Он осведомляется о винах и останавливается на белом вине Голанских высот.

На обычные темы говорено дома и с друзьями, а сейчас самое время помолчать, ощущая экстрат того, что их соединяет, отчего они сидят здесь и, пока не принесли вино, следят за тем, как ветер управляет облаками в ожидании тель-авивского заката, когда многие гуляющие на набережной остановятся, приезжие туристы приготовят камеры и будут следить за тем, как не быстро, но и не медленно тонет солнце. Солнце теперь не раскаленно-белое, а светло-малиновое, но вода все равно должна бы кипеть вокруг него. Но нет, море спокойно, никакого цунами оно не пошлет на берег, понимая, что на набережной в это время должны

стоять спокойствие и вечерняя слабость. Море исполняет свою роль не хуже девушки, которая уже несет вино, а вскоре принесет и креветок на огромных блюдах. Розовые креветки, золотистый соус и бирюзовое море образуют главные цветочные мотивы этого вечера.

Они знают почти наверняка, что происходит или не происходит обычно на набережной, на всем ее протяжении, вплоть до Старого Яффо. В Мигдаль а-Опера, где скульптором обнаженные тела обречены на вечное падение вниз головами, ярко и насыщенно людьми, которые в отличие от бронзовых людей не потеряли ориентации и не только твердо стоят на ногах, но и движутся – сами или на эскалаторах или поднимаются-опускаются в прозрачном стеклянном лифте. В центре зала перевернутая бронзовая пара напрасно пыталась когда-то упасть на белый рояль, на котором играл музыкант в концертном фраке, – рояль убрали, пианист не приходит. Впрочем, если бы рояль остался и пианист пришел, им нечего было бы опасаться, – на пути летящей бронзовой пары – странный механизм, похожий на тот, который помог астрономам осознать, что Земля не центр вселенной, она вертится вокруг и вместе с Солнцем во вселенной, как официант с подносом вокруг столиков в ресторане. А эта падающая пара, знала ли она, что падает на Герцлию-Флавию, которая тоже не пуп Земли? Ноги и руки падающего мужчины вытянуты в направлении, откуда он падает, то есть к небу. Каким-то образом он не повредил при падении прозрачный купол, собранный в квадраты и ромбы. Губы мужчины уткнулись в круглый стержень, пронзающий тело обнаженной женщины, которая, видимо, упала на стержень секундой раньше. Этот стержень посетители Мигдаль а-Опера не должны замечать, ведь на самом деле его как будто нет – он крепежная деталь в скульптурной группе. Как водится с бронзовыми статуями, женщина от падения на металл несколько не пострадала, а откинувшись в неге, принимает с запрокинутой головой мужской поцелуй, предназначенный, понимают посетители, вовсе не металлическому стержню, а женскому телу.

У входа в Мигдаль а-Опера подпрыгивает незамысловатый фонтан, а на сам вход упали еще двое. Они тоже застыли в бронзе в момент падения. Они не пришли, как приходят все народы на свои будущие земли, а упали на нее с неба вместе с аккордеонами, на которых, видимо, играли в полете. Напротив, под решетчатými деревянными беседками, молодой и неопытный миссионер-американец трудную задачу убеждения взвалил на свои юные плечи. Он пытается останавливать прохожих и объяснять им связь между красотой заката и божественной волей. Недалеко от него кришнаитки в легких цветных платьях синхронно движутся в танце, потряхивают бубнами и поют так плавно и мягко, как поет меланхоличная вечность. На набережной нет символов иудейской веры, и апологеты ее редко появляются здесь, но сама набережная, видимо, что-то символизирует для Я. и Баронессы, иначе зачем они пришли именно сюда и теперь смотрят на море, закат и людей на набережной?

Тем временем неподалеку от их дома, на холмике с хвойной рощей, зародился ветерок. Он пролетел поверх садов, минуя дома. Не замеченный жителями, просочился сквозь ряд лимонных сосен, охваченных бугенвиллеями, коснулся фиолетовых ветвей куста Авраама, колыхнул белую портьеру полуоткрытой стеклянной двери в сад, завихрился на зеленом диване, скользнул по лестнице на второй этаж, смахнул пылинки с цветов на картине у изголовья. Воспользовавшись открытыми настежь дверями комнат, совершил полный обход и, никого не найдя, через балконную дверь упорхнул на улицу. Там, с высоты полета, стоящие с двух сторон узкой улицы автомобили показались ему похожими на молнию с крупными зубцами, расстегнутую на спине холма. Удовлетворив любопытство, ветерок угас, как угасает все в мире. Из Модии-Илита донеслась сирена, сообщая о начале субботы. Над рощицей на холме давно уже догорел красный пожар невысокого неба. На Герцлию-Флавию опускалась средиземноморская ночь.